

ДРУЖБА НАРОДОВ



- *Равиль Бухараев*
Тень Тамерлана
Булгарская поэма
- *Андрей Житинкин*
Житинский
Маленький роман из длиннот
- *Александр Хургин*
Рассказы
- *Алексей Малащенко*
«Взлетные огни аэродромов...»
- *Андрей Столяров*
Герой нашего времени



11'2014

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzhiba/
LiVEJOURNAL: http://druzhiba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.09.2014.
Подписано в печать 22.10.2014.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 7165. Цена свободная.

Дружба народов

11'2014

Редакционная коллегия

Главный редактор Александр
ЭБАНОИДЗЕ

Лев
АННИНСКИЙ

Леонид
БАХНОВ

Ирина
ДОРОНИНА

Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Ответственный секретарь Сергей
НАДЕЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Резо
ГАБРИАДЗЕ

Алла
ГЕРБЕР

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Александр
КЛЯЧИН

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Равиль БУХАРАЕВ. Тень Тамерлана. Булгарская поэма.	
Вступительная заметка и публикация Лидии Григорьевой	3
Андрей ЖИТИНКИН. Житинский. Маленький роман из длиннот	7
Наталья МАМЛИНА. О сомнительных душах своих. Стихи	34
Александр ХУРГИН. Рассказы разной длины	36
Александр СНЕГИРЁВ. Строчка в октябре. Рассказ	46
Владимир ШПАКОВ. Песни китов. Роман. Окончание	55
Третий открытый Чемпионат Балтии по русской поэзии — 2014.	
Михаэль ШЕРБ; Михаил ЮДОВСКИЙ; Анна МАРКИНА; Ирина РЕМИЗОВА	125
Ганна ШЕВЧЕНКО. Рассказы	132
Виталий НАУМЕНКО. Смертельный номер. Рассказ	140
Дэвид Герберт ЛОУРЕНС. Баварские горечавки. Стихи. С английского.	
Перевод Андрея Пустогарова	150
Олег ЛЫШЕГА. Паунд и Лоуренс	157
Дмитрий КАЛМЫКОВ. Лот. Рассказ	162

Золотые страницы «ДН»

Александр РЕВИЧ. Стихи и переводы	171
Владимир БЭЭКМАН; Матс ТРААТ. Стихи. С эстонского.	
Перевод Александра Ревича	179
Евгений ЕРМОЛИН. Ад где-то рядом. (Виталий Сёмин. Нагрудный знак «OST»)	180

Нация и мир

Александр МАЛАШЕНКО. Взлетные огни аэродромов... ..	187
---	------------

Публицистика

Андрей СТОЛЯРОВ. Герой нашего времени	200
---	------------

Книжный развал

Ольга БАЛЛА. Звероуловлен буду	215
Елена САФРОНОВА. Одеяло, нож, ласточка	220
Виктория ЛЕБЕДЕВА. Вавилон должен быть разрушен	224
Лев АННИНСКИЙ. Свет и семя	226
Елена МОВЧАН. Изысканность и простота	231

Эхо

Горячий мир. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	235
Summary	240

Равиль Бухараев

Тень Тамерлана

Булгарская поэма

«Услышав, как звучат цветы...»

Это лишь отрывок из большой исторической поэмы молодого казанского поэта Равиля Бухараева. Я не оговорила. Ему был всего двадцать один год, когда он написал (1972) это историческое полотно — со многими героями, с точными временными реалиями, с цитатами из великого Тамерлана — главного героя, со ссылками на христианские и исламские источники, с диалогами и прекрасными лирическими отступлениями о любви к дарованной Всевышним отчизне. Он даже не пытался опубликовать эту поэму в советские времена, понимая, что ее духовные ориентиры идут вразрез с господствующей идеологией тотального атеизма. Но Равиль Бухараев, молодой и талантливый поэт, сам в ту пору недавно вышедший из комсомольского возраста, по какому-то непонятному сторонним наитию уже тогда обратил свои взоры не только в глубь веков, но и в небесную высь. Примеры раннего мастерства в овладении большой поэтической формой не так уж и многочисленны. Наиболее характерный и неоспоримый пример в русской литературе — Михаил Лермонтов, в английской — Джордж Байрон. Поэма «Тень Тамерлана» написана мастерски, словно бы рукой зрелого, состоявшегося поэта. А это, безусловно, зависит не только от меры отпущенного таланта, но и от осознания того — зачем тебе этот талант дарован.

Лидия ГРИГОРЬЕВА

Страшась глухой ночной поры,
пел дервиш о садах Коканда,
о тёмных розах Бухары
и минаретах Самарканда...

Ему, у чёрного шатра
усевшись на кошмах и шкурах,
внимали воины Тимура
в неверных отблесках костра.

Вблизи река блистала мгlisto;
в шатре, средь чуткой тишины,
печально звякали мониста
пленённой болгарской княжны...
.....

Кругом мятежная земля...
За каждым деревом — измена,
из горьких пепелищ, из тлена
встаёт, оружием звеня...
Гюрзы отравленное жало,
мавераннахрские пески —
ничто пред ужасом кинжала,
перед объятьями тоски!
И да минует нас удар!
Велик Аллах! Ведь я — не воин;
я ратной славы недостоин,
поэт, смиренный каландар...

Как был я молод и упрям,
когда в презрении к миру, сдуру
на службу отдал свой калам
суровому к врагам Тимуру,
войне и шелесту знамён...
Теперь я стар и умудрён.
Постиг я, что оставил рано
и круг учёных мудрецов,
и толкование Корана,
и смысл стихов Отца отцов,
и дервишей благочестивых,
которым страсти нипочём...
Увы, средь войска неучтивых
я стал певцом и толмачом...

Аллах, Аллах! Все люди правы.
Я в битвах наблюдал не раз,
как злобных воинов оравы
мирились — сотворить намаз,
и вновь рубиться начинали...

О кровь! О робкий дух певца!

Нет! Укрепи меня в печали
всевышней волею Творца,
возьми все знания мои,
сомнительный мой дар поэта, —
спаси, о Знающий!

«Все мои действия я направлял к общей пользе и никому не причинял никакой неприятности. Смысл Корана, что слуги Божьи должны выполнять только Его повеления, был мною усвоен...»

Тимур Тамерлан

.....
По тальниковому побережью
к реке, где хлюпала вода,
по-лосьи, рысьи, по-медвежьи
шёл бородатый Лебеда.

Ах, воля! Голод и дубинка
многопригодная в руке...
Лешачьей узкою тропинкой
шёл человек к большой реке,
легко неся большое тело;
сквозь космы грязные на лбу
клеймо багровое горело,
какое ставится рабу...

В то время боли и дурмана,
когда копались псы в золе,
и тень хромого Тамерлана,
как ночь, лежала на земле,
в дремучих чащах Черемшана
являться стали *шурале*...

По всей Булгарии лесистой,
утратив горький смысл борьбы,
гонимы ветром, словно листья,
скитались беглые рабы...

.....
Страна моя!

В то время боли повседневной
среди убийства и огня
была ты яростной — и гневной,
была в отваге удалой,
была в тревоге уязвимой,
воинственной — как край любой,
и как любой — миролюбивой!

Тебя конём топтал и жёг
Булат-Тимур, убийца вольный,
хан Тохтамыш — степной божок,
а ныне — старец богомольный,
позор и слава мусульман,
укрывший и позор и славу
зелёным знаменем Ислама
ревнитель веры — Тамерлан!

.....

И зазвучала память: голос,
шелками вышитый халат,
и шум подворья, хлебный колос
под сапогами князя, гвалт
прислуги, суета и ржанье
холёных сытых лошадей,
и звон стремян, и нет названья
всему, что зазвучало в ней!

*Господи, что за дело мне до памяти, да и души человеческой! Глянь с небес сквозь
чёрный дым — пахарь золу за плугом топчет, плуг баба растрёпанная тянет... Кто
из них об душе ближней думает? О ртах помыслы их — в голодной избе малые
ребятишки рты разевают, как
чёрные галчата! Купец по лесу едет — трясётся, ратный человек коня погоняет,
князь в хоромах сидит — о чём думают они? Прости прегрешенья мои, страшно
время моё, слаб я, Господи! Один я... Очи Матери Твоей Пречистой копытом
продавлены, камень колени жжёт...*

.....

Булгария, страна печали,
твои деревья и кусты
в сторожкой тишине молчали,
лишь ветви тёмные качались,
как лошадиные хвосты...

Люблю тебя в рассветный миг,
когда над белыми лугами,
как над пушистыми снегами
звенит орлиный первый крик,
и тает дымка под лучами,
и в этом трепетном молчаньи,
услышав, как звучат цветы,
касаясь солнца лепестками,
такой же ясной чистоты
прошу душе моей!

Веками
я слышу бессловесный зов,
неодолимый и глубокий,
твоих рассветных облаков,
твоих кустов, твоей осоки,
твоей вскипающей реки...

Люблю тебя, моя отчизна,
и, рабству тела вопреки,
в душе — напев свободной жизни,
напев твой вечный — Аллюки!

Публикация Лидии ГРИГОРЬЕВОЙ

Андрей Житинкин

ЖИТИНСКИЙ

Маленький роман из длиннот

Все мы подопытные кролики в лаборатории
Бога. Человечество — его незаконченная работа.

Теннесси Уильямс

I

От дикого истошного воя он вздрогнул.

Деревенский дурка, даун без шеи и талии с глазами-пуговичками и перышками вместо волос, совершал свой крестный ход. Навязав на длинную палку старый чулок и какие-то цветные тряпочки, дурка с радостным воем обходил давно заброшенную развалившуюся церквушку.

Эта маленькая церквушка в Глебовском давно зацепила внимание Житинского. Издали казалось, что часть луковки оторвалась от своего корешка-купола и парит сама по себе. Дело в том, что прогнивший металл купола давно был изъеден дождями и развеян по ветру, но пик луковки, самый ее кончик с покосившимся ржавым крестом, уцелел и держался на паутине арматуры, незаметной издали.

Житинский остановился на некотором безопасном расстоянии, чтобы не выдать себя и не «спугнуть картинку», и стал с любопытством наблюдать за обрядом дурачка, кружившим вокруг церквушки. Тот, как оказалось, не просто был, а что-то немотно распевал, ведомое ему одному, раскачивая в такт астральным звукам свою пеструю палку.

Странно, — подумал Житинский, — откуда в этой туманной голове, родившейся много позже разрушения Храма, этот тусклый молитвенный свет?

Андрей Альбертович Житинкин — театральный режиссер-постановщик, лауреат международных премий, народный артист России. Родился в 1960 г. Закончил с отличием актерский (1982) и режиссерский (1988) факультеты Высшего театрального училища им. Б. Шуккина. Поставил около семидесяти спектаклей в Москве, Петербурге, Магнитогорске, Челябинске, Тель-Авиве, Бостоне, Кракове, Париже и других городах ближнего и дальнего зарубежья. Лауреат международных театральных фестивалей: «Оризонти» (Италия), «Современный андеграунд» (Франция), «Перспектива» (Израиль) и др. Награжден Серебряной медалью Вацлава Нижинского (Франция). Член Правления Гильдии режиссеров России. Автор поэтического сборника «99», книги «Плейбой московской сцены» (М., 2003). Живет в Москве. В «ДН» публикуется впервые.

Можно было как угодно относиться к сотрясанию воздуха, производимого дауном, но отрицать некую выморочную священнодействующую функцию этого мычания было нельзя. Больная уродливая картошка в затхлом подвале дает свои бледные чахлые ростки, как и здоровая. Откуда это у него в голове? — Показать и объяснить никто не мог. Телевизор? — Тоже исключено. Кантовался дурачок по сеновалам, а подкармливала его вся деревня. И, тем не менее, щелкнуло ведь в затиненном мозгу, что это не просто дом, пусть и разрушенный, не просто хлев или просто стены, а некая необычная, не бытовая «точка», соединяющая с чем-то высшим.

Все-таки русский народ по своей натуре язычник. Поэтому всегда была так притягательна стихия анархии, бунта. Любой раскол вызывал восторг. Русский человек ходил в церковь, но верил в леших и домовых. Обожал богохульства юродивых и блаженных.

Тьма тьмущая русских мыслителей и философов — тоже следствие этого. Пытались обуздать стихию. Осмыслить и вразумить. Ан нет. Крякнув от удовольствия, русский мужичок разрушил храмы и водрузил на Красную площадь — площадь Крови — мумию Идола для ежедневного поклонения. Философов выслали и передавили, а оставшихся священников откомандировали в ГУЛАГ. Но всякий Идол доживает и до своего развенчания. Сожгли билеты с его ликом, сбросили монументы и внимают экстрасенсам и колдунам. Все. Круг замкнулся...

А Гришка Распутин? — Типичный язычник. Хитрый, как черт. Он был нужен императрице, чтобы предугадывать ее же желания и внушать ее волю Николаю. Иначе не могла — «немка». (Хотя какая Алике немка?) Шла война с Германией. Поговаривали о шпионстве. Роптал народ, масса слухов... Мужичок усек и вовсю включился в игру. То, что Алике боялась произнести вслух — говорил он. Как наитие. Как глас Божий. Чисто физически, наверно, Распутин обладал биополем. Обыкновенная экстрасенсорика. «Заговаривал боль Алешеньке» — мануальная терапия. А интересно, если бы не ухнули Гришку, уже многожды продырявленного, в прорубь, пошел бы он за Алике и Алешенькой в Ипатьевский? — Думается, пошел бы. Именно в силу язычества своего. И опять бы ополоумели расстрельщики, как ополоумел Юсупов и К°, когда пули не брали Распутина. Хотя в Ипатьевском, когда Юровский со товарищи расстреливали Николая и его семью, красноармейцы и так ополоумели. Еще бы — пули отскакивали от великих княжен. Дело в том, что на них были провололочные корсеты. От страха стали стрелять беспорядочно. Возникла свалка. Когда выносили трупы на носилках из шинелей, чтобы побросать в машину, одна из княжен приподнялась, закрыла лицо и заплакала. Добивали штыками в дрожащих руках...

А теперь вот дурка с тряпочкой сурдинит возле Храма что-то свое с неожиданными inferнальными вскриками, как филин. Может, это внебрачный сын самого Юровского? — А что, ведь снимал же он где-то здесь поблизости партийную дачу как белая кость нового времени за свои красные заслуги. Чудненькая получилась бы метафора...

Так думал Житинский, глядя на местного дурачка дачного местечка Глебовское. От восторга и возбуждения у того потекли сопли, которых он не замечал и никак не утирал. Солнце настроилось на закат. Ветер усилился. Сопли, не успевая отлетать, засахаривались на дебильном лице.

— Ну, это уже перебор, — сказал сам себе Житинский, развернулся и медленно зашагал, продолжая размышлять, по постепенно влажнеющей от росы тропинке к своей даче.

Раньше я думал, что человек искусства себе не принадлежит. Действительно, встал как идиот, как вкопанный. Смотреть на другого идиота. Но, если принять во внимание, что не от ЕГО хотения означены в этом мире приход и уход, то тогда получается, что любой человек сам себе не принадлежит. А раз это так, то имеет ли смысл добиваться персональных славы и счастья. И что назвать счастьем в этом неподконтрольном и ускользающем мире? — Работа— Любовь— Вера— Дети? — Ничего такого у этого юродивого нет, и, тем не менее, он счастлив. Что же остается — за вычетом — Вдохновение? Род теургии. Мистической просодии. То, что отрывает на некоторое время от этой земли. Вот когда человек действительно себе не принадлежит, бессознательно творя то, что связывает со всем сущим, когда человек просто крохотный канал, капилляр в бесконечной непознаваемой губке мироздания...

Эк куда занесло. Пожалуй, с этого надо будет завтра начать репетицию.

II

Репетиция началась с того, что не началась. Как всегда опаздывала прима театра, народная непонятно каких народов артистка. Помреж нервно покуривал, уже заранее втянув голову в плечи в предощущении скандала. Его нервный блеющий смех раздражал Житинского, но сделать ничего было нельзя — помрежей не выбирают. Можно было выбирать артистов, смешивая палитру, добиваясь оттенков, а помреж он и есть помреж. Самый дорогой как раз без оттенков — просто исполнительный. Отпустил актеров покурить.

Интересно, какое оправдание своему опозданию выдумает сегодня? — Виртуознее ее по этой части в труппе актрисы не было. Ах, черт, раньше в голову не пришло. Можно было бы незаметно сунуть в карман портативный магнитофон и записывать все ее оправдания, а потом издать антологию, например, под названием «Мания народной артистки N.» или еще лучше — «Мания мании». Хотя с другой стороны, актер без мании — все равно что цветок без запаха. Конечно, есть такие цветы, но какие-то они пресноватые. А что, это мысль. Можно бы для журнала специального написать статью «Талант как мания». Только вот вопрос — для искусствоведческого журнала или психиатрического? Наверное, у всех великих свои мании. Ведь подтирала же Ахматова резинкой горбинку носа на своем изображении. Карандашный портрет Тышлера. Хотела поменьше. А одна знаменитая балерина все время встречала гостей голой. Правда, это плохо кончилось. Однажды в таком виде отправилась за молоком, и ее сдали в психушку. Хотя эксгибиционизм — святая святых в актерской деятельности. Так что это, пожалуй, не мания. Любопытно, а какая же у меня мания? — Или это видно только со стороны? — И Житинский надолго задумался...

Вспомнились детские страхи. Когда выпадали молочные зубы. Боялся одного: что во сне выпавший зуб застрянет в горле, и я неминуемо задохнусь. Или еще — тоже связанное со сном. Страх, что во сне меня подменит цыганка и положит в кроватку другого мальчика. С лицом таким же, как у меня. Только

это уже буду не я. Родители утром проснутся, и ничего не будут знать об этом ужасном преступлении. — Житинский улыбнулся. — Если посмотреть на эту детскую путаницу глазами философа, то невольно приходишь к идее двойников. Идея двойников первична хотя бы уже потому, что в каждом обыденном человеке сидит духовный человек. Она сублиминально — с раннего детства — пронизывала все мое существо. Но разве это мания?

Был еще страх недоразвитости отдельных членов. Например, все пропорции нормальные, а ручки маленькие. Не выросли. Или ножки. Или еще того хуже — пенис. Периодически проверял, все ли растет. Бывало, замучивал школьного врача, чтобы тот произвел не только стандартные замеры роста грудной клетки для медицинской карточки, но и ног, предплечий, ступней и т.д. Кроме, конечно, сокровенного. Это измерялось дома, перед сном. Канцелярской линейкой за семь копеек. Да, это, пожалуй, не мания, а клиника... Правда, еще Чехов обмолвился, что актер — это не профессия, это диагноз. А режиссер? — По-моему, приговор. Или хакаки в рапиде...

Вернулись актеры. Ого! Темы, обсуждавшиеся в «лавкоме» (актерской курилке с лавочками), близкие:

— Периодически ловят маньяков. И что поразительно — все с высшим образованием.

— Да, гойевское «сон разума рождает чудовищ» — устарело. Разбуженный разум рождает чудовищ...

— Он голубой?

— Нет. Просто бесцветный.

— Тогда соглашайся. Режиссер — дерьмо, но роль-то классная. Сам что-нибудь наваляешь.

— Да. Но монтировать-то все равно будет это «дерьмо». К тому же сценарий Лимонова. Вот он точно из голубых.

— Причем сознательных. Упали тиражи книг — Эдичка поперся в Россию, чтобы его трахнул какой-нибудь омоневец. И ведь трахнул... дубинкой по голове. А тиражи пошли в гору...

Житинский обожал эти обрывки. Обрывки чужих диалогов. Если не сказать больше — коллекционировал их, достраивая потом на досуге «начало» — в транспорте, в очередях, в ожидании аудитории, чтобы убить время.

Еще он всегда поражался простой вещи. Человек ушел с одним запахом — вернулся с другим. Актеры вернулись после перерыва с новыми запахами табака, кофе, одеколона и еще чёрте чего. И уж совершенно невозможно было понять умом: когда человек покидал этот мир навсегда, а запахи его оставались. В одежде, в подушках, в вещах. Люди уходят, а запахи их остаются. Это одна из самых мистических вещей на этом свете...

Ну, где же эта тварь? — Эта разнородная (или разнородная) тварь? — Сейчас прикатит, как ясное солнышко, сунет свой любимый черный «Мог» в зубы, сядет нога на ногу и начнет скулить, чтобы ей принесли кофе, потом пива, потом чаю, потом вообще отпустили на обед. Фирменное актерское блюдо — «понты в сметане». Даже Райх себе такого не позволяла, хотя и была замужем за режиссером, к которому шла на репетицию. А, может быть, потому и не позволяла, что была замужем? — И ей не грозил ранний климакс? — Или потому, что это был Мейерхольд? — Вообще своим чудовищным финалом

Мейерхольд искупил весь конформизм и все прегрешения. Может быть, поэтому, хотя уже все предчувствовал, не поддался уговорам Михаила Чехова остаться на Западе? — Тот впрямую пророчил гибель. Мастер грустно улыбался всепонимающей улыбкой. В наше время новым мученическим светом высветлены Мастер и его Галатея — Райх. Голый гениальный режиссер после ужасных избиений с переломанным бедром. Лицом вниз на вонючем полу Лубянки, и Зинаида Райх с выколотыми глазами — жертвоприношение по-советски. Жалко, безумно жалко, что не осталось Евангелия от Мейерхольда. От Чехова осталось. От Станиславского осталось. А Мастер кроме биомеханики, которая была, скорее всего, шуткой или завиральной полемической запендей или высочайшим блефом, своей системы не оставил. Жалко. Может быть, в сочинениях Константина Сергеевича и был какой-то ремесленный метод, но как книги — они бездарны. Надо все время, как Мюнхгаузен, вытаскивать себя за волосы из быта, из контекста. Как сказал один грандиозный поляк уже нашего времени, искусство не отображение жизни, а ответная реакция. Мейерхольд «отвечал», Чехов «отвечал», Таиров «отвечал», Вахтангов «отвечал» (потому и были не жильцы), а Станиславский с Немировичем «отображали» — как и legion последних с желтенькими плевочками Сталинских премий на шерстяных лацканах...

Что-то пауза затянулась. Вернее, затянула уже не только Житинского, но и враз заскучавших артистов. Образовалось мертвое время, которое некуда было употребить. Именно этого вакуума, неприклеенности к чему-либо или кому-либо больше всего на свете и боится артист. Даже мне перемывать косточки, язвительно перешептываясь, надоело. Только две стажерки-лесбиянки с синими коленками хихикали о чем-то своем, о женском. Или мужском?..

Житинский предложил актерам высказаться о существовании ролей и устало прикрыл глаза под шумок эмоциональной и сбивчивой актерской ахинеи:

— Моя формула не входит в твою...

— Каждый борется со своим хаосом сам...

— Все дело в отыгрывании...

— Моя смерть — мое личное время...

Сейчас обязательно кто-нибудь что-нибудь вставит из Евангелия. Ну, точно:

— Какою мерой меряете, такую и отмеряется вам...

— Надежды нету — надежда есть...

Очередной трюизм — цитаты из Евангелия. Ни одна статья, рецензия, интервью без этого не обходятся. Есть своего рода мода на цитаты. Еще недавно это был Ницше-Фрейд, потом Бердяев-Розанов и т.д....

А вот сейчас обязательно заведут пластинку о потере духовности. Ну, вот, уже кто-то трепетно вякает:

— Не плоть, а дух растлился в наши дни...

Хоть Тютчева-то бы не трогали. Ведь элементарно, что его дни — это не наши дни. А отсутствие духовности беспокоило еще древних греков. Боже, скучно-то как. Бюллетень что ли взять? — Житинский умышленно исчезал дня на два-на три, беря бюллетень и останавливая репетиции — чтобы не убить артистов. Хотя если заболел по-настоящему, то наоборот ставил репетиции и утром и вечером, подчиняясь негласному закону — изживать болезнь искусством.

Надо было как-то выходить из ситуации. Но скандала не хотелось.

Житинский придерживался четкого правила: скандал хорош только на сцене, а не за кулисами. Вообще на сегодняшний день сочинить классный скандал надо еще уметь. Ажиотаж и шумиха вокруг премьеры, муссирующей нечто запретное — любимый трюк Житинского. Существовала целая система «приколов», позволяющих протащить действительно серьезное и элитарное и свернуть обывателю мозги или посеять хотя бы некую экзистенциальную панику в его душе. Единственный смысл именно в бесполезности жизни, так же как и театра. Это открытие Житинский сделал уже очень давно и поэтому всегда, когда ему нужен был тайм-аут или просто момент публичного одиночества, он предлагал актерам потрендеть о смыслах пьесы, спектакля, ролей, образов и т.д....

Бессмысленность театра, как и бессмысленность самой жизни — в бытийном аспекте очевидна и весьма доказуема. Другое дело — философский мазохизм, заставляющий вновь и вновь искать ответ, зачем этим все-таки нужно заниматься, и этот мазохизм сродни прустовскому. Ах, этот прокрустовый Пруст. Пруст — это не только поток сознания, не только поток мучающегося сознания. Это поток сознания, мучающего самое себя. В конце концов, только мой личный мазохизм может быть интересен. Ведь любил же Пруст повторять: сегодня я хорошо знаю субъективную истину. Тут все важно. Именно сегодня (завтра все будет по-другому). Именно я. И если речь идет об истине, то именно субъективной. Все остальное — наркотики. Заговаривание еще дородовой боли. Сладкой боли зачатия — или еще раньше — боли, когда влага разумности (интеллектуальное семя) окропило бесчувственную материю. У каждого свой наркотик. У кого — буквальный (алкоголь, травка, транквилизаторы), у кого — творимый (работа, любовь, вера, дети). Дети как спасение от одиночества. И что такое жизнь как не цепь экспериментов на своем организме. Это — если говорить о субъективном. А если подумать об объективном и принять во внимание объективно другие субъекты, то жизнь — сплошной поиск компромисса во взаимных эгоизмах. Вот как сейчас, когда эта гребаная знаменитость, эта звезда с нафталиновым блеском, уже целый час заставляет себя ждать, а я не устраиваю скандала и не ухожу с репетиции. Наверное, потому что потом в запасе у меня будет хотя бы один ход, сотворенный на зыбком чувстве вины. Ход, позволяющий какое-то время погладить ее против шерсти, протаскивая свое. Правда, это местная анестезия. Совсем ненадолго. Но потом можно будет включить следующий пункт из системы приколов маэстро Житинского...

— Только не волнуйтесь. Пожалуйста, не волнуйтесь, — кто-то тормозил его за плечо. Житинский открыл глаза и увидел невменяемого помрежа.

— Что случилось?

— Она не приедет на репетицию.

— Почему?

— Она умерла. Сейчас взломали дверь. Она умерла, а ее собака сошла с ума. Собака никого не подпускает к телу. Наверное, будут стрелять...

Господи! Прости мя грешного! То, что целый час сверлило мозг и отдавалось раздражением в печени, уже сутки как было телом. Ее больше нет. Ушла действительно Великая Актриса. Уровень мучений был пропорционален Таланту. Художник всегда обременяет мир собой. Даже после смерти. Быть раздражителем! Началом Памяти!..

III

Змей обольстил сначала женщину, а та уже в свою очередь — мужчину. Даже великая Марлен Дитрих начинала с пикантного корсажа, черных чулок с подвязками и кружевных панталон, брошенных прямо в трясущееся старческое лицо одного завсегдатая ресторана. Это потом она стала недостижимой, презирающей бреющееся племя. А начинала, как все. И что такое полуприкрытые веки Греты Гарбо, как не метафора соблазна? — «Голубой ангел»... Ангел с душою дьявола. Реальное воплощение вечной антиномии: эгоцентризм Бога — плюрализм Антихриста. Морализаторство христианства... Вообще морализаторство любой религии. Не подавляет ли это личность? — Не лучше ли — свобода от всего в угоду великой несвободе от себя, своего Я? И потом — морализаторство, праведничество — это так скучно.

В праведниках есть что-то подозрительное. Видимо, то, что они сами всегда знают, что они праведники. Какой высокий игровой заряд был заложен в борьбе именно с неверными! Например, чтобы выяснить, являетесь ли вы ведьмой, и получить соответствующее удостоверение, надо было ехать в голландский город Оуд Ватер («Старая вода»). Именно здесь женщин, заподозренных в связи с нечистой силой и бесами, вначале жестоко пытали, а затем сжигали на костре. Определить связь несчастной с нечистой силой помогали весы. Если женщина весила не более 49,5 кг вместе с помелом (что, по мнению знатоков, давало ей возможность вылететь в печную трубу), тотчас же следовал приговор: «Ведьма!», и жертву вели на костер. По данным голландских специалистов, начиная с XV века, было сожжено более миллиона женщин. В XVI веке император Карл I издал указ, согласно которому взвешивание должно было производиться только в Оуде Ватер, там же происходило и судилище. Последняя ведьма была сожжена в конце XVIII века. А жаль. Пара тысяч, а то и больше, уже накопилась за это время. Вообще дефиниция женщина-дьявол (Булгаков), женщина-черт (Гоголь) более устойчивая, чем дьявол-мужчина. Хотя в русском — это слова мужского рода, женщины и тут решили не отставать, присваивая, как брюки, данный менталитет. Да, давненько их не сжигали... особенно отличились, переплюнули всех представительницы изящного. Нет более безнравственных людей, чем люди искусства. Профессия, что ли, обязывает? — Житинский вспомнил, как в студенческие годы его потянуло блевать, когда будущая актриса, младше курсом, желая получить роль, ввалилась к нему в общагу с фразой:

— Я пришла тебя осексуалить...

Или другая история, которая приключилась с ним, когда он был еще зеленым первокурсником, румяным, и ничего не соображал. Его пригласила в гости к себе домой почтенная дама-профессор, педагог по зарубежному театру и литературе. Ну, в гости так в гости. Тем более, что весной ей же надо было сдавать экзамен, и поддерживать хорошие отношения было осознанной необходимостью. Правда, немного насторожило:

— У меня такая начитанная дочь!..

Начитанная дочь. Напитанная ночь. И маменьке невмочь... Чай, печенье-варенье, все как полагается. Только не покидало чувство, что знакомство-то неспроста. Мапочка очень быстро оставила их одних, а сама испарилась в какую-то библиотеку. Дочь не сводит своих брусничных глаз с полопавшимися

сосудиками с молодого человека, будущего режиссера. Мужчиной пахнет. Неожиданно вне всякой логики, в середине разговора, она начала тереть ткань своего платья на плече. Потом на локте. И так до бесконечности с убыстрением темпа. А разговор о высоком:

— Эзра Паунд говорила о русских: чтобы их читать — надо хорошо выпить...

— Есть какие-то стойкие пары в природе искусства: Толстой—Достоевский, Хемингуэй—Фицджеральд...

И вдруг — хрясь! Ткань поползла. Дочка плотоядно разрывала ткань на себе зажатými в судороге пальцами. Пришлось давать деру, не дожидаясь мамочки. Уже позже, когда отматывал киноленту назад, всплыл и странный профессорский поцелуй. Прощаясь с мамочкой, поцеловал ее символически, а профессорша интенсивно развила легкий поцелуй в глубокий. А когда навел справки и выяснилось, что дочь, оказывается, известная шизофреничка — все сложилось в дьявольскую картину. Ее крепкая мамаша жаждала зятя любой ценой. И Житинский был уже не первым кроликом в этой грандиозной афере. Слава Богу, припадок начался раньше, чем следовало, и все разъяснилось само собой. А ведь внешне — кровь с молоком и грудь третий номер, только глазки брусничные сигнализировали что-то неприятное наблюдательному режиссерскому мозжечку. Хорошо еще, что не повесилась при нем. Господи, прости!.. Тогда все равно оказался бы повязан с любвеобильной мамашей.

Правда, у ближайшего приятеля с режиссерского факультета вышло еще глупее. Дело было уже на выпуске. Он — иногородний, из провинции, а в московский театр брали только с московской пропиской, ну, и пришлось все устроить за бабки через фиктивный брак. Все было по-честному — друг друга ни разу не видели. А в ЗАГСе втрескалась она в него по уши. Причем как-то молниеносно. Начала преследовать. И вот плюет новоиспеченный московский режиссер на все спектакли, бежит из Москвы. Она за ним — идет охота... Стоп. Как же это пьеса американская называлась, где главный герой в страхе убегал от женщин, видя в них охотниц за его яйцами? — Сейчас не вспомнить. Жаль, надо бы перечитать...

Но больше всего раздражало, когда завкафедрой режиссуры, главный академического театра, «дед» — как его все называли, удовлетворял свою любовь к актрисе (обладание) через репетицию сексуальной сцены с другим партнером. Репетиции становились бесконечными, приобретая характер навязчивого бреда. (Видимо, его мужское начало не имело конца.) Что-то похожее было, наверно, у де Сада — этого бумажного гурмана плоти. И уж последним пиком этой глубокой «работы над собой», перед самым снятием с главных, стал случай с первокурсницей, попавшей в автомобильную катастрофу. Провинциальная Верочка, и так не блиставшая интеллектом, после аварии совсем впала в детство, стала играть в куклы. В глазах всего училища «дед» совершил благородный поступок, предоставив ей кров и уход в своем доме. Но была одна мелочь, ведомая Житинскому, вошедшему как-то на репетицию к «деду» в его квартиру без стука. «Мелочь» эта состояла в том, что «дед» спал с полоумной Верочкой в самом прямом смысле этого слова. Может быть, Верочка, заваленная импортными куклами, не понимала уже всего этого, воспринимая как продолжение игры, но дед-то, дед-то! «Дед», который обожал возмущенно повторять на репетициях:

— Никто не видит разницы между похотью и страстью!

Так и стоит перед глазами синеватая в седой шерсти дедова шишка и маленький аленький (аленький цветочек) ротик Верочки, по-детски тыкающийся в этот некогда символ былого могущества...

Вспомнил и невольно поежился, как от холода, прямо в машине. Театральный шофер, физиологически рыжий Витюха, удивленно оглянулся (в машине было жарко и душно), но промолчал, списав это на нервы Житинского.

Да, день не задался. Смерть всегда меняет планы. Некрологи — Вечные Новости. Кстати, а какой будет у меня? — Хорошо, если бы так начинался: Ушел из жизни... безвременно одаренный... Тьфу-тьфу-тьфу...

Чтобы как-то «выскочить» из этого, Житинский взял служебную машину и рванул на Николину Гору к Яне. Она, конечно, его не ждет, и Житинский заранее предвкушал эффект от своего появления. Как неловко всплеснув руками, она выскочит из сада в смешном чаплиновском пиджаке. Вечно простуженное горло — замотанное, как у инфанта. Мальчишеская стрижка а' la Gavroch. Быстро перебирая стрекозиными ножками — длинными, членистыми — она побежит к нему навстречу, потом повиснет на шее, а он будет глупо улыбаться, что-то рассматривая в ее голове. Наслаждение доставляет ожидание того, о чем только догадываешься. Конечно, встреча может быть и другой, но предположительное видение съедает пространство, а Житинский обожал играть с пространством, чтобы перехитрить время. Вообще, важнее не пространственные, а духовные перемещения, вот подлинный сюжет. И Житинский прикрыл глаза, представляя себе, как Яна бережно и очень сексуально трогает бутоны нераспустившихся роз на ощупь или кормит белую кошку, белым молоком вытекающую из-под ворот, или пьет чай на веранде, забравшись в старое кресло. Сколько иногда подтекста в простом помешивании чайной ложечкой! Он принимал все в этом существе: и перистые облачка на коже (пропадал пигмент), и следование поразительному принципу животных — не делать лишних движений. И какую-то не по возрасту застенчивость. Кажется, когда-то Иммануил Кант силился определить нацию одним словом. Наверно, подлинно русский менталитет раскрывается через слова «застенчивость», «стыд»... Житинскому нравилось, как она застенчиво пьет маленькими глоточками; смеется, оставляя эхо; вечно подтрунивает над собой и своей пежиной (Яна была облучена и потеря пигмента — только следствие, только верхушка страшного айсберга). В этой жизни нет ничего страшней самой жизни. Жизнь страшнее любого вымысла, и самое трагичное или ужасное всегда рядом — только протяни руку.

Они познакомились случайно. В электричке. Однажды Житинский увидел женщину, высунувшую голову в окно электрички навстречу ветру. Женщина смеялась, заткнув пальцами уши. В вагоне полно народу, все принимали ее за сумасшедшую, а ей просто никто не был нужен, она была счастлива своим внутренним миром. Ветер открывал голое тело — только крохотный кусочек. Минимум информации рождал максимум надежды. Это было красиво и эротично. Все-таки прав дедушка Фрейд, утверждавший, что понятие «красивого» коренится в сексуальном возбуждении. Женщина оказалась Яной, и с этого момента понеслась колесница их бешеного романа.

Первый раз они растворились друг в друге в дождь. От сырой одежды стало парить. И одежде было отказано. Им не хватало друг друга. Они нашли лошадей и голые на таких же обнаженных лошадях (без уздечек и седел) мчались в потоках воды неизвестно куда. Лошади тоже парили от езды, казалось, только

зубы не были вспотевшими. Это был экстаз, невыразимое блаженство растворенности во всем и вся. Не было ни законов, ни правил, никакой мало-мальски сносной системы координат. Они растворялись в стогах, на песке, в траурных маках. Он, как коренной горожанин, привыкший воспринимать природу только порциями, попал под обвал, был вывернут и переиначен. Какая реинкарнация?! Он прожил несколько жизней в то лето, словно наглотался пригоршнями глютациона (так названа субстанция, тормозящая старение клеток). Глю-та-ци-он — то, что с долей глюков, это несомненно. Они пили жизнь жадно, никого и ничего не боясь. Она шутливо прозвала его живописцем. Пили жизнь, чтобы потом долго-долго кормить память. Она внушила, причем подсознательно, очень простое и понятное, как дыхание, — сделать себя точкой, от которой «пойдет» все, и посмотреть, что будет. А искусство — это только попытка поиска рамки для совершённого (или совершенного?) мгновения, и Сартр первый догадался об этом. Но только в силах самого Человека это мгновение сотворить или хотя бы обозначить, потому что только один предмет по-настоящему интересен человеку — сам Человек, как открыл еще Паскаль. Наверно, я на самом деле умею только одно — коллекционировать людей. Причем высший пилотаж состоит в полной растворенности в объекте. Может быть, это — режиссерское перевоплощение, в отличие от актерских перевоплощений по обязанности. Перевоплощение до самоотрешенности, вплоть до отождествления с дождем ресничек на поле страничек. (Яна теряла реснички в тех книгах, которые читала. Первые пигментные пятна оккупировали веки...)

За несколько метров до цели Житинский отпустил рыжего Витюху и выскочил из душевой машины, воруя ноздрями влажный дачный воздух. Накрапывал теплый дождик. На черном асфальте атели незаживающие царапинки дождевых червей. Быстро миновав вечерний пруд с запахом мыла (дачники мылись), он в два прыжка одолел садовую дорожку и крыльцо. Странно, что не было яниной кошки — только рыбы головы на ступеньках. Коммунистические глаза... Рыбы головы...

Дверь легко отворилась. В полумраке бутоном свалившейся розы белела свалившаяся постель. Щелкнул выключателем — на постели записка:

— Ждала весь день. Что-то подсказало, что что-то случилось. Сорвалась к тебе в город. Яна.

Житинский метнулся к стулу, повинувшись суеверной привычке поймать оставшееся тепло, потом к чайнику — тот почти остыл. Не снимая мокрого плаща, с чайником в руках, он сел прямо на постель и вдруг по-детски разрыдался, с соплями и всхлипами...

IV

— На грани невозможного — всего за 20 рублей! Муки плоти — за 30 рублей, 45 кроссвордов и книга о попугайчиках! — орала в электричке противным голосом какая-то тетка в маразме и парике.

Уже ночью на последней электричке возвращался Житинский к своей Благоверной на дачу в Глебовское. Их брак тлел уже много лет, хотя они давно распались, не успев состариться. Его раздражало, что в любовных играх с ним Оля вела себя прилежной ученицей (не придерешься), но сдающей нелюбимый

предмет. Он догадывался, что ее, наверное, тоже многое в нем раздражало, так как частенько с долей обиженной укоризны из ее уст вылетала коронная фраза:

— Ты готов мыслью обслуживать любой предмет...

С некоторых пор он не стал оставлять своих координат в течение дня и довольно виртуозно линял на обочину от ее прямых вопросов.

Оля смеялась над его привычками, никак не могла их запомнить и взять в толк. Например, Житинский вырубал звук телевизора на спортивных новостях и рекламе — боялся ненужных цифр и телефонов. Читая, он любил прикрывать угол страницы плотной бумажкой, чтобы не отвлекаться на номера. Зловещие цифры гипнотизировали. Подмывало отодвинуть или приподнять листочек и удостовериться, что ехидные цифры на месте. И этот, полный мучений, процесс умилял ее больше всего, вызывая саркастический зуд. У Оли таких проблем не было. Читая, она обожала вставлять в ухо узеньким концом пластмассовую ручку и вращать ею до ощущения щекошливой приятности. Правда, увлекаясь, забывала иногда вынимать ручку из уха. И тогда Житинский невольно вздрагивал, натываясь глазами на эту картинку. Издали казалось: мундштук-склеротик не нашел рта.

Вечером в постели она обдавала его дыханием дня. О, сколько всего он вычислял по этому дыханию! Он мгновенно считывал все ее проблемы, но никогда ни единым жестом и словом не обмолвился о них, делая вид, что вечно «не в курсе». Лучше казаться в глазах своей Благоверной странным, чем просто идиотом. С нею было легко молчать. Бывали минуты, когда ему казалось, что он забывает, как звучит его голос! Уже давно он приходил к ней в постель с простым желанием выспаться. И, лежа с закрытыми глазами, в который раз прокручивал многое из их совместного бытия.

Начало романа. Они в темном видеозале. Заклеенный нос пэтэушника. Смех дебила, застигнутого за неприличным...

Второй день свадьбы. Они в ролях жениха и невесты — невыспавшиеся, набывчившие, смотрят на ползающих, как мухи, гостей. Все вдруг стали чужими друг другу — даже молодожены. В глазах один немой вопрос: где бы опохмелиться?..

Кладбище. Они мечутся в панике между одинаковых плит. Она потеряла могилу бабушки...

Фотосалон. Они делают снимок для родителей. Дико раздражало, что при фотографировании надо непременно смотреть в глазок объектива...

ЖЭК. Они получают ордер. Затюрханная, давно немытая, пепельная женщина с кипой свернутых знамен, выпрашивает взятку...

ЗАГС. Они проходят пошлейшую процедуру — «советский обряд имянаречения...»

Юбилей родителей. Они за шикарным столом. Во время праздничного обеда с улицы ворвался похоронный марш. Все вскочили, форточки стали закрывать, кого-то вырвало...

И как апофеоз этого бреда — прошлогодняя картинка под Глебовским, когда они собирали грибы:

Лес. Трава. В траве нездешне белеют брошенные унитазы...

Какой сюрреализм?!.. Дали обрыдался бы от восторга, увидев, как мы живем. Хотя давным-давно Аввакум Петров, первый наш настоящий прозаик, уже поставил соответствующий диагноз: «Мы уроды Христа ради»...

Почему именно с Ольгой случились самые бездарные вещи в его жизни? — Чья это прихоть и какой здесь умысел? — Причем, чем дальше — тем круче. Сплошная псевдоморфоза. Или действительно, развитие равнозначно участи, как сказал бы Томас Манн? — Тогда за какие такие грехи ему уготована именно эта участь?

Художник творит, саморазрушаясь, расходуя себя: интеллект, психофизику, биоэнергетику. Ольга нормальна. Она бессознательно направлена на понятное и общепринятое. Она все время созидает себя. Отсюда эти вечные косметические салоны, аэробика, шэйпинги, бодибилдинги... Господи, нашла бы себе какого-нибудь культуриста, что ли. О чем это я? — Она частенько роняла, что и его одного ей как-то многовато. Вот собака — другое дело. Любимое занятие на даче — загорать обнаженной с медовой маской на лице. Собака аккуратно слизывает мед языком, она вампирически улыбается... Какая-то фиеста пошлости! Она просто притягивает к себе все здоровое и заурядное. Растворяется, впитывает в себя, плывет по течению. Но уподобление — всегда субъективно, потому что предполагает момент выбора. Значит, все это «выбрано» ею. — Стоп. Тогда это уже не бессознательное влечение, а вполне осознанное и замотивированное. Хотя в случае с Ольгой самым точным было бы, пожалуй — замотивированная безмотивность.

Лиля Брик любила трех мужчин: Маяковского, Есенина, Параджанова. Казалось бы, ничего общего. Неправда — все «откалывали номера». Может быть, Ольгу органически воротит от моих «номеров» и закидонов? — Или она невольно чувствует мою неискренность? — Но тогда она должна была бы чувствовать, что эта неискренность — только следствие недоверия к самому себе, и весь мой цинизм достаточно наигран.

Настоящий художник всегда в некотором состоянии «заговаривания зубов», «навешивания лапши». Что это — суеверие? А, может быть, — имманентная потребность свободы. Главное — не раскрыться. И ложь наших лож — во благо. Режиссер, как и врач, не может всего сказать актеру. Или, если говорит правду, то обязательно просчитывает дозу. Порционная правда. Только так. В искусстве мало кто умеет терпеть. До сих пор перед глазами молодой самоубийца, актер-неврастеник, которому отказали от театра. Он падал в окно, вытаскивая за собой занавеску. После похорон — танцевали в черных смокингах из костюмерной... А цинизм... — Можно было бы целую диссертацию написать «Цинизм как защитная реакция» (на материале моего поколения). Время было такое. Время обреченности.

И «Иудин день», когда все целуются, смеются и радуются друг другу на сборе трупы, после отпуска, в день открытия сезона — священен. Это пир во время чумы, праздничная увертюра к будущему жестокому действию, где только косточки захрустят очередного «гения», ставшего жертвой. Ведь для человека искусства одиночество — это почти физическое самочувствие. А все эти актерские хохмы, приколы, прибаамбасы, розыгрыши и анекдоты — маска, тоненькая мембрана, прикрывающая жуткую черную дыру. Есть, безусловно, есть что-то, что заставляло во все века выпихивать фигляров с паперти. На первом же моем худсовете в театре один народный артист, достойный своего народа, другому народному (худрук) ласково сказал:

— Ногу подними!

— Чего тебе?

— Ничего... Копыто искал...

Чтобы как-то отвлечься и подавить в себе хвойный привкус одиночества, Житинский купил у настырной тетки с противным голосом «Муки плоти — за 30 рублей». Открыл наугад: «Он смотрел на нее, как изголодавшийся матрос на грудь сельской учительницы...» Так, понятно.

Захлопнул «Муки плоти» и, не раздумывая, вышвырнул их в открытое окно электрички, чем не на шутку напугал лысую старуху, сидевшую напротив. Это был даже не «одуванчик» с каким-нибудь подобием пушка на голове. Лысая, как говорят, коленкой, голова, одна сплошная шишка, блестела в свете электрических плафонов и, казалось, улыбалась миру. У старухи в сумочке лежала собачка, завернутая, как в пеленку, в полосатое махровое полотенце. Иногда собачка Ясиром Арафатом выглядывала из своего убежища, но большей частью мирно дрыхла.

Чтобы услышать голос старухи, Житинский осведомился о погоде.

— Абрико-о-совый пудель, — неожиданно пропела веселенькая бабушка. (Она явно была подшофе, чем сразу объяснились ее доброжелательность и оптимизм.)

Абрикосовый пудель... Абрикосовый пудель подавился абрикосовой косточкой... Житинский поудобнее откинулся на спинку сиденья и стал исподволь, незаметно, якобы через дрему, наблюдать за окружающими. Он позволял себе такие отключения, свято веря, что театр растворен во всем, а вечные вопросы, по остроумному замечанию Ницше, ходят по улицам. По терминологии Житинского это называлось «Театр окна». Можно часами смотреть на людей, которые не знают, что за ними наблюдают.

Итак, что подбросило «окно» на этот раз? — За лысой старухой, в следующем пролете лавок, восседал толстый мужчина в позе беременной женщины. Черный засаленный до антрацитного блеска пиджак едва сходил на животе. Рядом с ним (чаплиновская ситуация) притулился маленький пьяненький мужичонка. Почему-то все время причесывается, чем, естественно, раздражает соседа. (Может быть, это какой-то языческий инстинкт. Ведь есть же непонятная русская пословица: «а выпьет — и богат и лохмат».) Дальше несколько спин. Можно только догадываться, кому они принадлежат и совершенно спокойно нафантазировать любые взаимоотношения между ними. Кстати, надо попробовать сыграть спектакль, где все актеры все время общаются спиной со зрительным залом. Замечательная форма для Беккета и Ионеско. (Он давно хотел написать статью «Форма как шанс». Но все как-то не хватало времени.) Ближе к выходу молодая женщина с удовольствием наказывала дочку. Девочка заплакала, и мамаша с чувством выполненного долга уставилась в черное окно. Для меня нет страшнее той мизансцены, когда дети закрывают руками лицо. Убить бы эту Крупскую, так ведь тут же все вступятся за нее, а не за беззащитного ребенка.

Через проход, на той стороне, без умолку болтали длинноногие герлз. Длинноногейшие герлз... длинногейшие герлз... «Длинногейшие» — пожалуй, это уже не эпитет, а понятие, которым можно оперировать. А что, вошли ведь в мировую лексику и психоанализ «гоморритянки» Пруста, так же как и «нимфетки» Набокова...

За ними — глухонемые: он и она. «Переговариваются» беззвучно, беззвучно смеются, беззвучно разыгрывают друг друга, прячутся за сиденьями. А если это

любовь?.. Боже, до чего она выразительна! Все-таки актер мгновенно прикрывается словом, бронзовеет в нем. Лишить бы его этой роскоши и посмотреть, как будет выкручиваться. Наверняка появилась бы бездна новых возможностей, о которых он и не подозревал.

А как сексуально — трогать партнера на расстоянии. Не прикасаясь буквально. Может быть, действительно все дело в отыгрывании? — Ведь балет в чистом виде — это поток самоопределяющейся энергии, где «танцор» — животное, организованное музыкой. В театре слово мешает. А Вацлав Нижинский любой поступок человеческий трактовал как мысленный или психологический танец.

Еще любопытнее, чем секс у глухонемых, наверное, секс у лилипутов. Сколько тут вариантов! Сколько комбинаций! Причем, не только друг с другом, но и с предметами. Например, лилипут рассматривает огромный анатомический атлас с органами. Ползает по нему... Что он испытывает?

Житинский вспомнил знаменитую московскую проститутку, которая с профессиональной дотошностью погружала его — неопита — в тайны своего ремесла. Вероятно, ее самолюбию льстило, что студент-третьекурсник, будущий режиссер, «инженер человеческих душ» в этих вопросах оказался просто «мальчик». Например, она безошибочно определяла длину члена по носу объекта. Особая статья — форма ногтей на пальцах рук. Оказывается, это бесценные данные об объеме и «характере» того же органа. Самое смешное, что она встала в тупик от простейшего вопроса Житинского:

— Если у тебя такой нос и фигура и других не будет, то — что это значит?

Нет, обязательно надо будет попробовать написать сценарий о карликах в ситуации кровавых разборок на почве секса. Стоп. А почему бы не сыграть, скажем «Идиота» Достоевского силами лилипутов? — Ведь нигде же не упоминается рост Льва Николаевича Мышкина, или Парфена Рогожина, или Гани Иволгина или самой Настасьи Филипповны.

От этой мысли Житинский сладко зажмурился и по-американски вытянул затекшие ноги, положив их на краешек противоположного сиденья. Абрикосовый пудель Арафат с любопытством высунул голову из сумочки и звонко облаял вторжение на свою территорию — к крайнему неудовольствию лысой старухи.

Больше ничего интересного в полупустом вагоне ночной электрички не было, и Житинский перебросил «мяч внимания» (по Вахтангову) в темное пространство за окном. Совершенно невозможно было понять, где ехали, тем более динамик в электричке барахлил и не всегда объявлял остановки. Чаще всего «записанная» женщина жалобно блеяла, недвусмысленно предупреждая:

— Осто-ро-о-о-жно. Две-е-е-ри закрыва-а-а-ются. Осто-о-ро-о-о-жно...

Житинский тупо пытался рассмотреть что-нибудь в окне, но кроме молящихся на ветру деревьев, ничего не было видно. Вдруг на одной из остановок в свете полустанка он увидел странную картину. В футбольных воротах давно брошенного стадиона запуталась пятнистая корова. Она — уже почти беззвучно — мычала о помощи, не понимая происходящего и пугаясь наваливающейся темноты. Почему-то весь день мгновенно пробежал перед глазами: смерть Актрисы, машина с Витюхой, облом с Яной, и какой-то ком встал в горле, который никуда нельзя было протолкнуть.

V

— Все нормально. Жизнь прекрасна, хоть и невнятна! — сказал сам себе Житинский и отвернулся от тоскующей на ветру коровы. За это время в вагоне произошли некоторые изменения. Появилась «сладкая парочка» — двое голубых ладненько устроились в самом углу, где местными Робин Гудами были выбиты лампочки в плафонах. Ладошка первого между ног второго. Второй положил свою руку на шею первому так, что его собственная ладошка — незаметно для окружающих — оказывалась под пиджаком первого. Первый был страшно похож на знаменитого дирижера из филармонического оркестра, а второй на спившегося солиста Московской консерватории. «Дирижер» и «солист» что-то мурлыкали друг другу под шум колес и ветра.

— Осто-о-о-рожно... Осто-о-о-рожно... — снова проблеяла в динамике «записанная» женщина.

Казалось, если бы не СПИД и, самое главное, боязнь СПИДа, ничто никогда не могло бы разрушить их счастья. Так они ворковали, так они были нежны и внимательны друг к другу. Странно, в древнем Риме — термы: сплошное смешение и прелюбодеяние — и ничего. (Если почитать Светония Транквила, волосы встают дыбом.) Может быть, СПИД все-таки инопланетного происхождения? — Это хоть как-то объясняет то, что объяснить нельзя. Потому что никто и ничто не может запретить или остановить в наше жестокое время желание одного существа просто приткнуться к другому и долго-долго молчать, смешивая дыхание и биение пульса. Подлинное чувство всегда иррационально — с каким бы знаком оно ни было.

В приснопамятную же эпоху стагнации, когда голубых преследовали и сажали, наряду с трагичным случалось и много забавного. Так, известнейший гей Москвы, попадая с «поличным», в московских участках всегда прекрасно выкручивался, убивая милиционеров одной фразой:

— А Ленин тоже был голубой и красил брови...

Факт действительно имел место в сентябре 1917 года, когда Ленин побрился, выкрасил брови и надел седой парик в целях конспирации.

Кстати, нечто подобное отколол и сам Житинский на приемных экзаменах в киноинститут в пору своей хамоватой юности. Это было еще до Театрального, где он действовал уже поумней. А тогда в письменной работе по кинорежиссуре, посвященной, естественно, какому-то охренительному влиянию Красного Октября, он предложил параллельно смонтировать кадры революционной кинохроники (залп «Авроры», штурм Зимнего, речь Ленина и т.д.) с хроникой полового акта (пенис крупным планом). Залп «Авроры» — эрекция, штурм Зимнего — оргазм, речь Ленина — эякуляция и т.д. Приемная комиссия взбесилась и посоветовала ему как можно скорее пройти психиатрическую экспертизу. Хотя аргументы Житинского были аргументами вполне вменяемого человека. Действительно: красный цвет — символ революции — цвет крови и эротики (по восточной семантике). С каким-то сексуальным сладострастием, с фанатизмом эротического экстаза уничтожались несогласные. Большевицское причастие языческого порядка — очень важно как можно больше людей замазать кровью ближнего своего. Со слабым всхлипом рвалась девственная плева нравственности, обогащаясь липкой кровью коммунистических идеалов.

Поэтому и Мавзолей цвета запекшейся крови... Кто-то из аспирантов, тайно прочитавших абитуриентскую работу, многозначительно процедил:

— Это надо ксерить!..

И вскоре за спиной профессуры на лучшем ксероксе киноинститута сочинение Житинского отксерили и очень долго обсуждали в курилках и подсовывали новеньким студенткам и аспиранткам, вгоняя в краску и смущая их ортодоксальный покой...

Если же проанализировать сексуальную жизнь революционных вождей, то тут императорскому Риму можно стусеваться и объявить о банкротстве. И дело не в похотливой скользкой жабе Берии и мужском комплексе Сталина (рост 160 см, сухая рука), вымещавшемся на женщинах. Все эти, еще дореволюционные конспиративные квартиры и зарабатывание партийных денег — сплошной карнавал похоти. Оргия нон-стоп. (Цвет они все-таки выбрали точно: красный фонарь — красный стяг.) Дзержинский без бороды — партийное фото — обыкновенный упырь. Впрочем — то же ощущение и от конспиративного бритого («босого») Ленина и босого Троцкого. Эволюция революционных секспроблем достигла апогея в эпоху построения социализма. Ежов, которого называли кровавым карликом, уже трахал все, что двигалось. Ягода просто запутался, что для него вкуснее — мальчики или девочки. Тезис Калигулы, что секс волей-неволей начинает приобретать характер пытки, они поняли буквально. Чего только стоят бесконечные ночные допросы в бесконечных мвдешных застенках с обязательным раздеванием и подоженными или замороженными гениталиями жертв. (М.б., это нечто профессиональное? — У тореро в момент кульминации корриды тоже возникает эрекция.) Страшнее человека ничего нет. Вернее, так — страшнее человека зверя нет. Соловки: начальник лагеря Курилко склонял к сожительству заключенную — уборщицу императрицы Александры Федоровны. Та отказалась. Тогда — еще задолго до «шутков» эсэсовцев с Карбышевым — Курилко облил ее водой и заморозил в голом виде. Монаха, который посмел ее отпевать, кормили селедкой, а пить не давали. Расстреливать выводили через Святые ворота...

Видимо, в этом и есть высшая справедливость — так мучиться неотмоленному Ильичу за все свои преступления и прегрешения на Лобном месте под саркофагом цвета запекшейся крови. И Фадеев неотмоленный (бесплатный сыр только в мышеловках) стрелял себе в сердце, метясь в Дьявола — комплекс Калигулы, Ричарда III... Тени ими загубленных и убиенных не давали спокойно спать. Кто-то скажет, что в этой жестокости — защита от абсурдности мироздания. Но мне-то всегда абсурд был интересен только как некая разновидность экзистенциализма. Самое ужасное, что Ленин ведь никогда не был настоящим философом. Обществоведом — да. Политиком-пропагандистом — да. Но не философом. Вот почему так долго были запрещены имена русских философов рубежа веков. (Тем более безнравственно, что в России философия как наука только зарождалась.) Вот почему революции знамя несли слепые котята, быстро его потеряли и утонули один за другим в кровавом пруду. Коммунизм — это есть Советская власть плюс идиотизация всей страны. Фиктивная жизнь (кровь как основа всего) — фиктивная свобода совести...

Между тем, «сладкая парочка» продолжала что-то нашептывать друг другу, весьма интимное, в своем укромном уголке полупустой электрички. (Один на один — друг с другом.) И вдруг Житинскому показалось, что кто-то из них

запел. Что-то тихое-тихое и очень мелодичное. Житинский обвел глазами вагонное народонаселение, но ни лысая старуха, ни толстый мужик с мужичонкою, ни молодая мамаша с дочкой никак не реагировали на новую перкуссию пространства. Сомнений не было: второй, обвив ласковым выюнком первого, едва слышно вокализировал прямо в ухо первому. Горячее дыхание приятно щекотало ушную раковину, и первый блаженно и безмятежно улыбался. Ладонка первого все так же незаметно покоилась между ног второго.

Человек никогда не избавится от себя, как может он избавиться от собственного живого тела. Древние, кстати, это прекрасно понимали. И фаллос они боготворили. И Гераклу тринадцатый подвиг приписывали — это когда в одну ночь он удовлетворил пятьдесят женщин. По логике андрогинности четырнадцатый подвиг должен был быть «мужской», но греки вовремя остановились. (Зато римляне всю «достроили» этот миф и даже довели до плоти в своем цезаристском социуме.) Платон называл Эрос не иначе как Божественным. Древние не умели летать, но Эрос наделили крыльями, и не одно поколение отрывалось от этой скучной Земли на крыльях Эроса. Без эроса не мыслилась сама поэзия. Эрато — одна из девяти муз — Поэзия любви. Сократ рассказывает, как Диотима-пророчица поучала его тому, что Поэзия есть общая причина того, что из небытия переходит к бытию. Иррациональность настоящего чувства (полет), как и иррациональность настоящей поэзии (полет), — очевидны. Не случайно один из рыцарей русского Серебряного века, декадент Максимилиан Волошин, считал Эроса старшим сыном Хаоса. Хотя его современник, великий классик Антон Павлович Чехов, весьма остроумно долбал декадентов и их увлечение эротизмом увядания называл полной белибердой. Однажды Брюсов написал стихотворение из одной строчки:

— О, закрой свои бледные ноги!

Прочитав сей опус, Чехов ехидно заметил:

— Жулики они, а не декаденты, и ноги у них не бледные, а, как у всех, волосатые...

Театр во все времена был андрогинен. Рациональная античность и иррациональное Средневековье, казалось, навсегда закрыли настоящей женщине ход на сцену. Елизаветинский век, театр времен Шекспира и «Глобуса», мальчишеские подростки, играющие женские роли. Насколько, должно быть, эротично все это... Но женщины всегда упорно боролись за свои права — и в сфере театра тоже. Закончилось это не только проникновением на сцену, но и Сарой Бернар в роли Гамлета. Триумфа не было. Был скандал. А скандал для актрисы равнозначен успеху...

Некое движение вывело Житинского из мысленной комы. По проходу быстро двигались два милиционера в мышинных плащах и с черными фаллосами дубинок, выглядывавшими из-под них. Почему-то менты все время цеплялись к Житинскому в электричках с требованием не задирать ноги. Не обошлось и на этот раз. Но, увидев красную корочку Академического театра, почтительно отвянулись. Зато двое голубых не на шутку привлекли их бдительность. После проверки документов «солиста» и «дирижера» попросили встать и проследовать за явно гетеросексуальным патрулем...

Ну, что привязались? — Ведь совершенно очевидно, что ничего криминального эта «сладкая парочка» не совершила. Или чужое ненормативное счастье

всегда вызывало досаду и неприязнь окружающих во все времена? — Почему обязательно надо прятать то, что на миг отрывает тебя от всего остального?

В жизни Житинского был случай, который начисто изменил его отношение к проблемам так называемых секс-меньшинств. Еще на заре своей режиссерской карьеры он откровенно из-за денег махнул в провинцию, в глухую Сибирь, на постановку «Дамы с камелиями» Дюма-сына. Все было о'кей. Бани, пельмени, охота, преферанс до рассвета. Непонятно, правда, кому нужна была эта мелодрама и какого рожна здоровые, крепкие, пахнущие дегтем и кожей, мужики будут сопереживать любовным страданиям чахоточной куртизанки. Но заказ есть заказ, и в 20 репетиционных точек Житинский умудрился выпустить спектакль. Особых проблем не было. Маргариту Готье играла не очень красивая, но зато очень опытная, абсолютно прокуренная, заслуженная артистка. В роли Армана (вот с Арманом посложнее) дебютировал после театрального училища смазливый блондин с красивыми, загибающимися лапками, ресницами и не к месту срывающимся голосом. В основном Житинский его «прикрывал» как мог, внушая, что Арман — не красивый теленок, а «садист от любви». Даже — садомазохист, убийца Маргариты, убийца своей любви (чего стоит одна сцена в романе с разрыванием могилы Маргариты на кладбище!). Житинский уже «танцевал на проволоке», рассказывая о демоническом в любви, о мистическом в любви, определял образный смысл как протуберанец, ПТУРС любви, а не вовремя краснеющий блондин только хлопал глазами. Все театральные службы и все цеха сбегались за кулисы, чтобы посмотреть, как в очередной раз Житинский выскочит на площадку, чтобы показать неопытному сосунку, как надо играть сцены близости с пылающей от страсти Маргаритой. В голове уже не раз проносилась мысль о замене артиста, но дефицит времени и сжатые сроки давили на мозжечок сильнее, чем «гамбургский счет»...

Но успех все сглаживает, когда радостная кутерьма премьеры с бесконечными выходами на аплодисменты, живые цветы среди снега и вьюги, теплое шампанское, смешная общая фотография, когда уже в жопу пьяный завпост свалился прямо перед камерой, рассеяли некий неуют от дебютанта. Тем более, он сыграл финал. Правда, конечно, в основном постановочный финал, но все-таки сыграл. По замыслу Житинского Арман долго не верит, что Маргарита уже мертва, и какое-то время продолжает вести диалог, сидя у нее в ногах. И только случайное касание горячими губами ее холодной вялой руки выводит его из этого заблуждения. Он долго и иступленно, почти насилуя, целует труп Маргариты, а потом, понимая, что все напрасно, с животным воем катается по полу, потеряв ощущение пространства и времени. Вваливаются веселенькие пьяненькие гости с рождественскими подарками и колокольчиками. Долго приходят в себя. Наконец, осознав случившееся, медленно пятятся к выходу. И только негромкий скулеж Армана и одинокое позвякивание колокольчика в руках Прюданс возвещали миру о том, что душа Маргариты уже не здесь. Занавес...

Зацелованный всеми, с палитрой разноцветной помады на лице, подошел поздравить Житинского и спасенный дебютант, подарив очень неплохую репродукцию работы Дали «Великий мастурбатор». (Дали подсознания Дали.) Если бы знать, если бы только знать... В общем, все было трогательно, дурашливо и необязательно. Отмечать отправились к Главному, и человек тридцать, если не больше, сумели набиться в резиновый служебный рафик.

Житинский оказался рядом с Арманом, а так как сказать уже было нечего, и, чтобы как-то подбодрить актера на будущее (Житинский утром улетал, а актеру предстояло завтра вечером сыграть самый сложный второй спектакль), он взял его руку в свою и отечески и примирительно пожал на прощание. Но то ли из-за количества выпитого, то ли из-за общей тесноты (шпроты в банке были в лучшем положении), Арман руки Житинского не отпустил до самой остановки перед подъездом Главного. Ему бы, московскому пижону, догадаться, что это был знак. Ан нет — проехали... Короче — дело к ночи, как говорит молодежь. Когда уже все перепились, и Житинский зашел в совмещенный санузел, чтобы отлить, он затылком почувствовал пару глаз на своей спине. Это был Арман (голый в такой же голой пустой ванне), который недвусмысленно давал понять, что готов излить свою благодарность и дальше. Изливать благодарность... Пробурчав, что он бездарный мудака, которому надо лечиться, Житинский в бешенстве оттолкнул прилипчивые руки и вышел. Если бы знать, что любое неосторожное слово в воспаленном влюбленном мозгу вырастает до размеров фантомов Дали. Если бы знать...

Арман вскрыл себе вены в той же самой ванне бритвой Главного. Бритвой Главного после премьеры приглашенного Очередного. Если бы не общая обильная нужда, случилось бы непоправимое. Долгое время думали, что это розыгрыш, и это не кровь, а подкрашенный крахмал или клюквенный сок из реквизиторской, но когда дошло — все как-то враз протрезвели и обмякли. Утром, в самолете, Житинский вспоминал об этой ночи, не веря самому себе, что это было с ним. Когда набрали высоту, он провалился в долгожданный сон. Но и тут не было покоя. Ему приснились знакомые дети. Играющие в футбол. Дети играли в саду не мячами, а головами родителей... После этого он поставил «Калигулу»...

Тонкий, почти детский всхлип привлек внимание Житинского. Подозрительно оглядев абрикосового Арафата лысой бабушки и пьяненького мужичонку с расческой, Житинский поискал глазами, кому бы мог принадлежать этот звук. Молодая мамаша с дочкой уже вышли на какой-то из остановок, смотались куда-то и длиннейшие герлз. Ничего. Непонятно. И вдруг — вспышкой молнии — ударил по глазам кадр: окровавленный «солист» оставил красную полосу на тамбурном стекле, падая от удара. «Дирижер», забившись в угол, обеими руками прикрывал голову. Милиционеры дубинками избивали в тамбуре «сладкую парочку». Дверные стекла слабо пропускали «фонограмму» кровавого побоища, и оттого казалось, что это идет очередная мочилровка по телевизору с приглушенным звуком. Житинский посмотрел на толстого мужчину, но тот демонстративно что-то изучал в черном окне. Лысая бабушка давно уже видела седьмой сон. Сжав челюсти до желваков, Житинский пружинистой походкой вышел в тамбур:

— Кончайте базар! Что они вам сдела...

Два последовательных удара — по голове и в глаз — не дали ему возможности закончить фразу. Милиционеры переключились на него, выплескивая все накопившееся за день, в том числе и «американские» ноги фрэера в пестром шарфике и импортном плаще:

— Гнида! Куда лезешь?!

— Братцы! Вам же хуже будет...

Электричка остановилась, и «сладкая парочка» выпорхнула двумя подран-

ками в темноту. Выскочили на станцию и раскрасневшиеся, потные блюстители порядка, почему-то звонко хлопая свежееупотребленными дубинками по голенищам казенных сапог.

— Осто-о-о-о-рожно... Осто-о-о-о-рожно... в который раз устало пробле-
яла «записанная» женщина, и колеса мерно стали набирать свои обороты. После драки кулаками не машут. После клаки дураками не машут...

— Что же я за мудака-то такой! Первостатейный мудака, — выругался вслух Житинский, рассматривая в стекло шишку на лбу и фингал под глазом. Как теперь появиться в театре с таким «гримом»? А появиться придется — дня через два, наверно, будут похороны Актрисы. Ах ты, черт, и телевидение через неделю. Правда, там что-нибудь гримеры наколдуют или можно будет пристебаться, надев кепку и черные очки. А что сказать Благоверной? — Подрался с милицией — как-то не звучит. Да, поработали мужички, разрядились, как пашню вспахали. И довольные, после душа и двухсот грамм, поползут по постелям к теплым женам. Что же это все время русских заносит? — От «быстрой езды», что ли? — Если по Гоголю...

И вдруг Житинский улыбнулся своему экзотическому отражению в окне. Это была увертюра. Он захохотал взахлеб, надсаживая связки и легкие. День получил логическое завершение. Он не мог кончиться по-другому. Высший пилотаж: вымысел обретает правду вымысла. Не надо заливать мозги Благоверной, объясняя позднее возвращение — алиби на лице. (Или лицо было готово под алиби?) Чудилось и другое, какая-то пражизнь. Когда-то уже вот так ему разбивали глаз. Но кто и когда?..

Ангел — божественной запятой Чюрлениса — заглянул в тамбур и покачал головой:

— Я знаю, ты промолчал неправду...

VI

— Чем отличается сумасшедший от шизофреника?

— Сумасшедший знает, что $2 \times 2 = 4$, а шизофреника это раздражает...

Всю ночь Житинскому снился голос бездарной актрисы. Он разрастался, мешал дышать, грозился запеленать Житинского с головой, а потом вдруг неожиданно сворачивался, уменьшался до размеров родинки на кривоватой шее. Через минуту каторга повторялась. Уже под утро, вскочив с постели в холодном поту, как сопливый масленок, Житинский сказал Благоверной, что разболелся глаз и ему срочно нужно в Москву — и сел на первый проходящий поезд. Но, к несчастью, попала верхняя полка, поэтому в поезде тоже не спал. Мнилось, стоит только сомкнуть веки, и вагон тряханет так, что неминуемо свалишься на мирно спящего внизу дистрофика...

Город встретил дождем и самовоспламеняющимися лужами. В утренних сумерках огни реклам пустых магазинов вспыхивали с настырной периодичностью и отражались в асфальтовой воде. Голуби, прилипшие к окнам, с удивлением смотрели на человека в длинном плаще, который шел, не разбирая дороги, и давил рекламу новыми итальянскими ботинками от Valentino.

Открыв дверь, Житинский втянул носом нежилой воздух пустой квартиры

и почему-то не вошел, а сел на ступеньки каменной лестницы. Глаз уже не болел, но, казалось, с лица переместился внутрь организма и раздражал уставшие ткани.

— Как бы действительно не разболеться! — пронеслось в голове и замерло где-то на периферии сознания...

Ну, и чем же я занимаюсь всю жизнь? — Вот урыли бы навсегда эти подонки там, в тамбуре, и что бы осталось?! Книгу не написал, дерева не посадил, наследника не оставил (ребенок Благоверной не в счет). Хотя, может быть, и оставил где-нибудь на гастролях, но это известно одному лишь Богу. Чем же занимаюсь всю жизнь? — У художника полотна останутся, у артиста — фильмы, у музыканта — партитура, у поэта — стихи... А у меня? — Ведь от спектаклей-то не остается ни-че-го!.. Конечно, есть в этом ощущении преходящести какая-то витальная сила и вкус терпкости от дела, которым занимаешься. Но... Если быть честным до конца, до донышка: я, оказывается, всю свою жизнь занимаюсь просто воздухом. Воздухом! И всё... Останутся мифы, рассказы. Но... Проза, которую легко можно инсценировать — плохая проза. Спектакль, который легко можно пересказать — плохой спектакль...

Кстати, мифы при всей их устойчивости зачастую откровенное вранье. Например, монумент на месте дуэли Лермонтова — разве там он стрелялся? — Могила на Пятигорском кладбище тоже фальшивая. Однако это абсолютно не мешает миллионам людей приезжать туда и возлагать цветы неизвестно кому. Человечество привержено определенной форме, и не дай Бог, какому-нибудь еретику посягнуть на нее. В Библии ничего не говорится о наружном виде и чертах лица нашего Господа. По преданию, богословами записано сказание одного из очевидцев, видевших нерукотворный образ (то есть отпечатавшийся на холсте Божий лик) в XIV веке в Генуе. По другой версии, корабль крестоносцев, перевозивший нерукотворный образ из Константинополя в Венецию в 1204 году, затонул в Мраморном море. А что если Спаситель был вообще лысым? — Или толстым? — Ведь написал же Шекспир своего Гамлета на полноватого Бербеда, но Миф веками отдает эту роль герою-премьеру в труппе. А у Гамлета была одышка и слабые ноги, поэтому-то и было так сложно расправиться с сексапильным Клавдием. Все очень просто... Но это неинтересно. Миф предполагает каноническую форму, чтобы восторженный Розанов мог, закатывая глазки, сказать, что красота Христа ослепительна, и теперь вся античность с ее Венерами и Аполлонами не только померкнет, но даже погибнет на время...

Когда-то Гордон Крэг поставил «Страсти» Баха на фоне Апеннинских гор и синего итальянского неба. Это был пик его режиссерской карьеры. Он ощутил себя подобным Творцу. Но одновременно это был как бы и конец собственно театра, его незаемных выразительных средств. Театр не может конкурировать ни с природой, ни с искусствами, близкими ей. Собака прошла... мальчик пописал... Уже — кино. А в театре нет монтажа, в театре без атмосферы — никуда. Атмосферный прессинг — генетический код будущего мифа. Что еще остается? — Рецензии? — Я тебя умоляю... В рецензиях — концептуальная версификация, момент выпендрежа самих критиков. Обычно они не дают никакого представления об образном потоке и атмосфере. И сразу — нет чуда... Одна фраза, вернее всего два слова: босой Фигаро — мне скажут о спектакле больше, чем целая обойма ладненьких сентенций критика...

Еще недавно критики позволяли себе выносить (глагол-то какой!) оценки,

что в условиях режима было равносильно приговору. Помнится, на одном из первых обсуждений моих спектаклей в министерстве культуры какой-то пегий гений из пишущих кричал мутноватым дискантом прямо в ухо:

— Ваш дуализм вам выйдет боком!..

(Набоков как-то заметил, что если б ему сказали, что Флобер разоблачает нравы мелкой французской буржуазии, он и не прикоснулся бы к «Госпоже Бовари».)

А другая знаменитая критикесса, весьма блеклая дама в модных светлых штанах, вечно исчириканных шариковой ручкой, как заведенная тараторила:

— Что вы от них хотите? — Это же шпана подзаборная. Шпана, готовая всадить нож в спину Константину Сергеевичу. У них же нет ничего святого! Одно слово — шпана...

Он тогда внимательно смотрел на них и слушал, как дурак, какое-то время, пока не сообразил отключить в мозгу звук и оставить только «черные рты Боттичелли», то есть одну картинку. Многие тогда вели такую двойную жизнь на всевозможных собраниях, проработках, комиссиях, заседаниях, прениях, испарениях... Время научило прикидываться рассеянным, странным, чудаковатым, смешным, сумасшедшим, не от мира сего. (До настоящего безумия надо еще дослужиться!)...

Хотя в миру сумасшедшие преследовали его самого постоянно. Однажды он покупал апельсины в овощном, так именно к нему, хотя была огромная очередь, пристал какой-то шизофреник и долго доказывал, что это не апельсины, а «папельмузы». Свой свояка видит издали — что ли... Его поражала безумная насыщенность их существования и абсолютная замотивированность (опять же в их логике) поступков. Дурка в Глебовском абсолютно логичен. Другой дурка, московский, часто попадавшийся ему на Остоженке, где жила Яна, подтолкнул к мысли, что природа сумасшествия сексуальна (это он использовал потом в спектаклях). Обычно этот дурка, идя по улице, не только разговаривал сам с собой, что почти естественно для положения его суперпродуктивного мозга, но и сам себя наказывал, пребольно ударяя сильной неуправляемой рукой по своему же копчику. Правда, через минуту он сам себя прощал и начинал сладострастно поглаживать по тому же месту. Хотя, чему же тут удивляться?.. Для многих нормальных именно секс является спасением от шизофрении. А Теннесси Уильямс это просто закодировал в своих пьесах. Помню, как режиссер Эфрос в пору постановки «Лета и дыма» Уильямса, вздернув брови, удивленно констатировал в гостинной ВТО:

— Как много развелось пассивных сумасшедших!..

Очень боялся Мастер, что какой-нибудь тихий шизик легонечко толкнет его в метро под прибывающий поезд. И он не успеет дописать книгу. Кстати, вот Эфрос оставил после себя книги... Кажется, четыре или пять. Правда, они больше напоминают кладбище замыслов. (Даже реализованные замыслы в изложении в несколько раз эффектнее, чем само воплощение.) Но все же, все же, все же...

Житинский рывком встал и вошел в квартиру. Он быстро переходил из комнаты в комнату, включая везде свет и открывая форточки. Его начинало знобить, поэтому попутно в этой замысловатой траектории он раздевался, сбрасывая одежду прямо на пол.

Последней точкой была ванная, куда он вошел уже абсолютно обнаженным

и встал под горячий душ. Причиной столь резких пространственных перемещений было внутреннее желание мобилизоваться, не раскисать и не поддаваться болезни. Он решил именно сегодня, раз из-за похорон Актрисы на ближайшие дни отменились все репетиции, дописать давно заказанную ему статью для толстого театрального журнала. Он знал, что самые приличные идеи приходили ему в душе, поэтому покорно отдался во власть водного и мысленного потоков...

На чем я там остановился? — Впрочем, это уже неважно... По-моему, что-то о публике и критике... нечего лукавить — публика давно сама разобралась и идет туда, где интересно. Когда критика сетует, что один скандальный режиссер «соблазняет» зрительный зал, я недоуменно пожимаю плечами. Прекрасно, что хоть что-то делает с залом. Ведь ради этого, собственно, зритель и отдает свои кровные. А почему у другого современного популярного режиссера зал периодически вздрагивает на спектаклях? — То вдруг что-то взорвалось, то вдруг что-то оборвалось, то вдруг что-то откуда-то посыпалось... Зрителю не дают возможности расслабиться и уснуть над раскрытой программкой после трудового дня. Именно за это он и платит. И именно это — режиссура. Вообще настоящая режиссура — нарушение порядка. Причем — любого... Равно как и — раздражение режима. Причем, тоже любого... Так вот, в политике, обществе все время будут меняться лозунги — это закономерно, хотя от этого и грустно. В искусстве — движение вглубь беспредельно. У Гессе «башня из слоновой кости» превратилась в Касталийский орден. Идея чистого духа занимала человечество во все века. Здесь зарыта собака. Вернее — бессмертие... В конце концов, единственный смысл жизни — именно в бесполезности самой жизни, так же, как и театра... если это понять, становится легче жить, иначе можно спятить от мессианства. Надо просто сделать себя точкой, от которой «пойдет все», и посмотреть, что будет. Мне интересно только то, что происходит с сознанием. Самый интересный конфликт — конфликт человека с самим собой. И только в человеческом сознании время приобретает философский смысл. Время философское есть контаминация общего времени — «большого времени», как говорил Тарковский — и личного времени...

Сегодня интересно ставить не сюжет, а мифологему пьесы. Это как бы икона — очень древняя, с бездной последующих наслоений... Где-то что-то можно потерять — батюшки, XVIII век! А в другом уголке потеряли и вдруг — XVI. Меня всегда поражала — еще с детства — такая вещь, когда реставраторы умышленно на одной доске оставляли эти разные «протертые» кусочки. Можно было бы оставить самый первый, но и другие жалко: XVIII век, да уже и XIX — тоже на дороге не валяются. Главное только, чтобы сама «доска» была подлинной. Это я уже о театре... Полная глупость, когда критики, посмотрев моего «Калигулу», ищут какие-то аналогии с сегодняшними носителями власти или аллюзии со Сталиным или Гитлером. Во-первых, и Сталину, и Гитлеру до Калигулы — ой, как далеко. А во-вторых, история Калигулы — это уже определенная мифологема, просвечивающая во многих-многих слоях. Не случайно такая апологетика — то от нацизма, то от экзистенциализма. А ведь это все вариации одного мифа. Для меня же Калигула — философ (конечно, сумасшедший, как и любой гений), и сегодня, я думаю, самое честное — исследовать природу этого мифа и играть не резонанс, не «круги по воде», а свое отношение к нему. Зритель же вправе и не принять такого героя. И это прекрасно. Произошла духовная работа. Неприятие — это уже из области

эмоций, внутренней энергетики. Я обожаю милых пенсионеров в кружевах, которые после спектакля выходят с возгласами: «Какой мерзавец!» И равным образом отношусь к тинейджерам, которые на спектакле иногда смеются, вникая в виртуозный «стеб» Калигулы по отношению к патрициям. (...Кто все это будет читать?.. Кому нужен мой внутренний бред?)...

Житинский завернулся в белую простыню, налил коньяку и, закрывая все форточки, белым шейхом прошлепал к себе в кабинет. Там он надолго устоял у окна, сжимая в правой руке, как старый патриций, бокал с горячим янтарным напитком. Окно отпотело и казалось ноздреватым, как вспаханное поле. Дождь уже кончился, но неугомонный ветер гнал ворохи бумаги по пустым улицам и с удовольствием трепал белье, онанирующее на веревках... Это был новый район, еще необжитой, со сплошными перекрестками бездарных сквозняков. Где-то вдали серел купол местного крематория. И это соседство с Хароном невольно напоминало о Хроносе, и позволяло Житинскому шокировать новых знакомых, представляя свое жилище — «усадьба с видом на колумбарий».

Кстати, смешное есть выражение у монтировщика Лени: «одноразовые люди». Боже, как это верно...

Можно было бы от «публики» сделать плавный переход и поразмышлять о ритме адаптации зала и в этой связи на широком спектре рассмотреть театр как вечный рудимент цивилизации, но кому это нужно? — Зрители этих толстых журналов не читают, специалисты и так все знают, а художники — это те кошки, которые, как правило, гуляют сами по себе... Стоп. Кажется, в редакции что-то просили о проблеме актеров. Но проблемы-то нет как таковой. В нашем деле ничему научить нельзя и лучше всего действовать по принципу старого анекдота. Один врач спрашивает другого, глядя на пациента:

— Ну что, лечить будем или пусть живет?

Вот так и с хорошим актером. Пусть живет... А плохого тем более бессмысленно чему-либо учить. Плохих актеров не бывает. Актер или есть или его просто нет. Все решает проявление личности, как долго-долго проступающее сквозь одежду кровавое пятно... Если в глубине что-то кровоточит — спрятанное, неведомое для всех, такой человек мне уже интересен. А проявление личности — в случайности. Случай, «прокол» — вытряхивают из контекста... Кстати, очень важно внимание к контексту: второй план актерский, второй и третий сценические планы площадки, которые, чем подробнее выстроены, тем интереснее их взорвать. Чтобы обойти тупик — надо его обозначить. Хотя иногда фактура умышленно нагнетается (фильмы ужасов, боевики, вестерны), когда нет главного — потока сознания... Что делать, если приходится искать скрытый смысл там, где его нет?.. — Придумать! Но высший кайф в соединении тщательно проработанных модальностей пространства и сознания. Причем, если пользоваться музыкальной терминологией, театральная алеаторика — это отсутствие режиссерских белых ниток и спонтанная актерская импровизация. Но это в идеале. Это баснословная роскошь и редкость для постановщика. «Гамбургский счет»... А в основном — мучительные будни: как алеаторику потока сознания вытащить в спектакль, как найти сценический эквивалент?.. Надо только разрешить себе заниматься искусством. Просто разрешить и все. Но дальше начинается самое мучительное!.. Стигматизация духа...

Житинский свято верил, что во всякой хорошей мысли есть противомысль, поэтому не бросался сразу к столу записывать все то, что подначивало мозги. Он

попивал коньяк маленькими глоточками, с удовольствием опуская янтарики на темное дно голодного желудка и просто фонтанировал. Якобы ни о чем. На самом деле статья уже давно жила в нем, развивалась и замирала по своим законам в поисках выхода. Но Житинский выхода не давал, многократно прокручивая все это в голове с единственной целью — найти некую евангельскую лапидарность в этом потоке. В искусстве, к счастью, нет понятия вала... Поэтому если бы его поток смог вылиться в одну золотую фразу, он был бы счастлив. Но этого не получалось. А как было бы хорошо: фотография, имя, название и одна фраза.

— О, прикрой свои бледные ноги!..

За стеной все время падала крышка какого-то бака. Для народонаселения началось утро. Житинский куском простыни попытался протереть окно, чтобы лучше рассмотреть блин уличных часов в подтеках голубинового помета, но безрезультатно... Вторая рама была недосыгаема, и время только угадывалось (какая метафора!)... Поскольку в городской квартире летом и осенью они бывали только наездами, все домашние часы стояли, а свои ручные он впопыхах забыл на тумбочке Благоверной, на даче в Глебовском. Прелестно!.. На секунду включив телевизор и увидев горизонтальное распятие балерины в кадре, Житинский понял, что передачи уже начались и сейчас, следовательно, где-то около семи утра. Снова заболел глаз. За ним потянулась и голова... (Вальсирующее вчера пульсировало в виске!..) Житинский оторвался от ноздреватого окна и поплелся на кухню, чтобы сварить крепкий кофе и тем самым, может быть, снять головную боль.

Вдруг зазвонил телефон. (Сюжет начинается со слова вдруг...) Звонок был оглушительным для пустой квартиры, и Житинский, вздрогнув, бросил чайник прямо в раковине и, чертыхаясь, побежал в холл:

— Але...

— Здравствуй.

— Ты?! Откуда?..

— Не разбудила?

— Да что ты...

— Я почувствовала, что ты не на даче. Давно вернулся?

— Только что...

— У тебя что-то случилось?

— Да. Я «встал». Репетиции отменились...

— Почему?

— Актриса умерла...

— Господи... Когда это случилось?

— Вчера...

— Я так и знала.

— Яна, говори спокойно. Благоверная в Глебовском...

— Я почему-то ждала тебя вчера.

— Я знаю...

— Ты там был? — Прочел мою записку?

— Да. Мы разминулись на какой-то час...

— Это ужасно.

— Не дергайся. Я сейчас приеду...

— Это невозможно.

- Почему?..
- Только после пяти.
- Но почему?!..
- Я в больнице.
- Как?!..
- Да. Вечером мне стало хуже. Я не могла тебя найти. Я вызвала «скорую».
- Когда это случилось?
- Где-то ближе к полуночи.
- Сладкая парочка...
- Что? — Не поняла.
- Так... Это я себе. Я еду...
- Тебя не пропустят. Время свиданий с пяти.
- Ах, да. Ты говорила... Что тебе привезти?..
- Себя.
- А еще?!.
- Опять себя.
- Я серьезно...
- Я тоже.
- Яна, не дури. Что тебе нужно?!..
- Краюшку хлеба. Да каплю молока. Да это небо, да эти облака.
- Хлебников-то при чем?
- Я поняла, почему он носил свои стихи в наволочке.
- Почему?
- Чтобы не пробудились до срока. Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед.
- Но это уже Цветаева!..
- Это неважно. В поэзии нет собственности.
- Что тебе привезти?!!
- Кстати, он был не одинок.
- Кто?
- Хлебников. Федоров тоже хранил листочки со своими сочинениями в наволочке.
- Какой Федоров?
- Философия общего дела.
- Ах, этот... В какой ты больнице?!!
- Не скажу.
- Я тебя выкраду на сегодня!!!
- Нельзя. Здесь разные дуры делают мне процедуры.
- Яна! Я хочу тебя видеть...
- Это несложно.
- Как?..
- Закрой глаза и я приду.
- Я серьезно...
- Я тоже.
- Сколько времени они тебя продержат?..
- Пока не сбегу.
- Значит, ты все-таки хочешь сбежать?
- Конечно. Как только появятся силы.

— Тогда свистнешь?..

— Обязательно.

— Сбежим вместе...

— Прекрасно. Здесь хотят позвонить. Ты все про себя знаешь. Я тебя целую, ты сам знаешь куда...

— Яна!..

Гудки распоясались в больной голове. Он со всего размаха шваркнул трубку об аппарат, без секундной паузы прыгнул в ванну, и прямо в простыне встал снова под горячий душ. То, что он ее найдет, обзвонив все больницы, он не сомневался. Но захочет ли она его видеть в таком состоянии? — Вот вопрос... Но это ничего не меняет — сейчас он выпивает кофе, надевает кепку, солнцезащитные очки и едет к ней. Дыр бул щил... Дар бул щил...

Дар был сир...

VIII

Его нашла Благоверная голым в ванне. Первый инфаркт подкрался как-то незаметно, как и все в его жизни.

Наталья Мамлина

О сомнительных душах своих

* * *

Всё-то мир в крови.
Зашумела Сетунь.
Лишь себя кори —
На других не сетуй.

Личная война.
Правда и неправда.
Личная вина.
Личная Непрядва.

Лишь себя вини,
А других — не надо.
У реки сверни
И пройди вдоль сада.

В мире все вольны
Плакать до надсады.
А итог войны —
За оградкой сада.

* * *

Неизвестный солдат словаря,
Оживающей речи родной,
За других говорил говоря,
И кивали ему головой.

Он любил этот мир не взаймы,
А судьбой заплатив за него.
Не хотелось солдату войны —
В перемириях пелось легко.

Словаря неизвестный солдат
Всё мечтал, уходя налегке,
Что никто не захочет солгать
На его золотом языке.

* * *

Зашумело шоссе и омыло свои берега,
Поманив одинокого путника лёгкой развязкой.
Береги свою душу, как мама тебя берегла,
Покрывая горячечный лоб охлаждённой повязкой.

Береги себя, путник. Пусть город закатан в бетон,
Да над городом небо, с которого каждого видно.
Даже если дорога твоя обернётся бедой,
То утетишься тем, что твоя голова неповинна.

* * *

— Как там дом твой? — Мой дом не построен.
— Как там сын твой? — Мой сын не зачат.

В наше время волков — не зайчат —
Поколение живёт на постое,
И растратив себя на пустое,
Здесь любимых, и тех, не щадят.

— Как там враг твой? — Мой враг не повержен.
— Как там друг твой? — Мой друг позабыт.

Наши души годятся на сбыт —
Не на вечную радость, поверь же.
И ответ этот нами затвержен
У разбитых китайских корыт.

— Как же так? — (Пожимаю плечами.)
— Как так вышло? — (Молчу за двоих,

Не на шутку уста затворив.)
...Но покуда земля нас качает,
Даже мы ещё плачем ночами
О сомнительных душах своих.

Александр Хургин

Рассказы разной длины

Мокрый асфальт

Велосипедная дорожка пролегает сквозь парк. И Степан Ильич идет по велосипедной дорожке. По ней же едут велосипедисты. И люди на роликовых коньках тоже едут. Поодиночке и семьями. Туда и обратно. Палые листья застревают в роликах. Но они все равно едут. Заботясь о своем досуге и здоровом образе жизни.

А он идет и идет. Потому что парк длинный. И он по нему, по парку этому, идет. Думая, что гуляет. Хотя на самом деле он размышляет. Размышлять на ходу у него получается лучше, чем в состоянии покоя. Ненамного, но все-таки. Если это можно назвать размышлениями. Скорее, наоборот, он старается не думать. О том, что само думается. Бежит от думанья. Ну, то есть не бежит, а идет. Идет и дышит воздухом. Провожая взглядом обгоняющих его велосипедистов. И разговаривает сам с собой. О том, что семьдесят пять лет — это много. Но, во-первых, совсем не конец, а во-вторых, помирать не так уж и страшно. Он не первый день уже чувствует, что слово «навсегда» перестало пугать его своей неизбежностью и непоправимостью. Главное не думать о числах. И смотреть в будущее с оптимизмом.

Вон у него почти все зубы свои. За редким исключением. Никто в это не верит. Но они свои.

И бегают он по утрам, как конь.

И два раза в неделю ходит в бассейн. Где проплывает километр.

Старшая сестра Степана Ильича дожила до девяноста одного года. В смысле генов это плюс. Правда, брат умер в шестьдесят.

Но это ни о чем не говорит. Ему же не шестьдесят.

Ему семьдесят пять. Да, конечно — финишная прямая не за горами. При этом свои зубы, бег по утрам, бассейн.

И тем не менее, в голову лезет, что родиться оптимистом можно. Можно даже оптимистом жить. Но умирать оптимистом все-таки нельзя. Если ты, конечно, не полный идиот. А Степан Ильич не полный. Он и вообще идиотом

Александр Хургин родился в 1952-м году в Москве. Большую часть жизнь прожил на Украине. С 2003-го живет в Германии. Автор десяти книг прозы, лауреат нескольких литературных премий. Рассказы переводились на немецкий, французский, английский, испанский, венгерский и другие европейские языки. Последняя публикация в «ДН» — рассказы, № 2, 2014.

никогда не был. Сволочью часто был, вором и мошенником был, бабником был. То есть был и остается по сей день. Поскольку по сей день у него есть действующая любовница.

И жена тоже есть молодая. Молодая в полном смысле слова. Потому что моложе Степана Ильича на сорок пять лет. Женился он на ней по любви. Влюбился лет десять назад — и, приложив много усилий, женился. А может, не десять, может, больше лет назад это было. Точно он, к сожалению, не помнит. С памятью у Степана Ильича в последние годы не все в порядке. Единственное, что его иногда подводит — это память.

Он пытается себя утешать, мол, по сравнению с другими моими ровесниками у меня еще все хорошо. И со здоровьем, и с женщинами, и даже с памятью. Потом сам себе задает вопрос: «А без сравнения?» И сам же себе отвечает: «Без сравнения хуже».

Так что подробности любви своей самой последней он подзабыл. Это первую любовь помнят всю жизнь. А последнюю забывают мгновенно. Поскольку последняя любовь приходит с маразмом одновременно.

Но что женился он на девчонке — факт. Жена будущая, когда он предложил ей руку и сердце, долго смеялась.

Степан Ильич в ответ долго молчал. Слушая ее смех. Потом сказал:

— Каким все-таки смешным бывает то, что совсем не смешно.

— Бывает, — сказала будущая жена и фактически послала его:

— Найдите, — сказала, — себе пару в доме престарелых ветеранов.

На это Степан Ильич ничего не ответил, дав задний ход. И какое-то время обдумывал, как быть и что предпринять. А потом просто вызвал ее папу, который у него работал, перешел с ним на «ты» и сказал, что... ну, в общем, он нашел, что сказать. И от сказанного и обещанного у папы отказали все внутренние органы чувств, и он путем железных аргументов постепенно убедил дочку. Если не полюбить, так хоть выйти за Степана Ильича замуж. В общем, деньги сыграли тут свою роль. Не могли не сыграть.

Конечно, жена не знала, сколько у него по-настоящему денег. Он это не привык афишировать. Еще с тех пор, когда был цеховиком. И на территории ракетного завода, куда ОБХСС даже войти не мог, организовал производство фальшивого маргарина. «Да, были времена», — вздыхает Степан Ильич. И вспоминает, как таскал в авоське полмиллиона советских рублей. Завернутых в две газеты «Правда». Каждый день таскал. Потому что и на работе боялся их оставлять, и дома. Зато на первое мая он щедрой рукой нанимал катер, и вся его левая артель ехала по Днепру кататься. С парикмахершами, цыганами и прочими народными артистами Эсэсэсэр и Кабардино-Балкарии. И было это, когда его последняя любовь еще не родилась даже.

Друг Мироныч с самого начала ему внушал:

— Учиться, жениться, рожать детей, разводиться — все в жизни надо делать вовремя.

— Надо, — соглашался Степан Ильич. — Но это скучно.

— Ну тогда скажи ей, сколько у тебя бабла на самом деле, — советовал Мироныч. — Она сразу в тебя по уши влюбится.

А Степан Ильич ему отвечал:

— Я же хочу, чтоб она любила не мои деньги, а меня.

— Но ты учти, — говорил на это Мироныч, — что в случае чего и не любить она будет тебя, а не твои деньги. Этим кончится.

Не прав оказался Мироныч. Кончилось не этим. Кончилось все другим.

Степан Ильич жену спрашивал:

— Слушай, ну как ты могла?

А она:

— Да элементарно.

И припоминала ему любовницу, сауну и прочие старческие шалости. Которые Степан Ильич оправдывал просто: «Сколько, — говорил, — я еще проживу? Лет десять-двенадцать. Так надо успеть взять от жизни все, что от нее осталось». При этом лукавил он, конечно, бессовестно. Потому что умирать не собирался. Ну, так он себя чувствовал. Молодо и бодро. А подлость свою и вину перед женой — охотно признавал:

— Да, — говорил, — любовница — это свинство с моей стороны, но люблю-то я только тебя.

— И как тебе удастся? — удивлялась жена. — Жить по отношению ко мне, как скотина, и при этом меня любить?

— Если бы мы с детства понимали, что ничего нельзя исправить, — объяснял жене Степан Ильич, — жить можно было бы совсем иначе. Но это понимание приходит ближе к концу. Когда с таким же успехом могло б и не приходить. И кстати, я все-таки никого тебе не родил.

Жена говорила, что не понимает, чего он так психует и что вообще такого ужасного произошло и случилось. Ну да, у нее родился сын. Но родился же, не умер. Чего по этому поводу так нервничать? На старости лет.

— Действительно, — говорил Степан Ильич, — сыном больше, сыном меньше...

Сыновей у Степана Ильича точно — хватало. От каждой бывшей жены по бывшему, можно сказать, сыну.

Да и от нынешней сына тоже ему засчитали. Как оказалось, по закону — за кем ты замужем, того и дети. Степан Ильич очень веселился, узнав подробности. Жена им в загсе говорила:

— Я мать, я знаю, кто отец моего ребенка!

А они:

— Это хорошо — бывает, что и не знают. Но это вы потом будете отцовство устанавливать и доказывать. А пока отцом можем записать только мужа вашего, официально признанного.

И главное, от денег отказались наотрез, дуры.

— Так значит, у меня теперь четыре родственничка? — веселился Степан Ильич.

Он детей своих всех родственничками называл, не иначе. Имея на то некоторые основания.

Например, старший его сын однажды проиграл в казино свою квартиру. Степан Ильич ему квартиру купил, а он ее проиграл. После чего подослал вооруженных бандитов — требовать денег.

Понятно, что ничего ему не обломилось, несмотря на бандитов — Степан Ильич и сам был, мягко говоря, причастен, — но осадок остался.

Средний случайный сын от второй случайной жены, тот вообще во всех анкетах, в графе «отец», пишет «умер».

Правда, младший, хоть и ненавидит Степана Ильича искренне, но никакой гадости ему за свои двадцать лет еще не сделал. Возможно, просто не успел. Ему Степан Ильич даже наследство собирается после себя оставить.

Первая жена по старой дружбе его воспитывает, мол, ты в зеркало на себя посмотри. Тебе о душе пора думать и о здоровье. А он смотрит в зеркало, кривляясь, произносит «да-а, из-мель-чал» и напоминает, что регулярно бегают и посещают бассейн.

— А после бассейна, — говорит первая жена, — в сауну. С любовницей или с девками.

Степану Ильичу возразить нечего, потому что это он тоже считает для своего здоровья полезным. А что такое душа, представляет себе слабо. И как о ней можно думать и беспокоиться, понятия не имеет.

Да и есть ли она, душа эта? И кто ее видел?

Ну, непрошеного отца Степан Ильич с лица земли стер. Еще до рождения ребенка. Начальнику налоговой позвонил: «Сделай, — сказал, — доброе дело, я в долгу не останусь». Степан Ильич, может, и не стал бы до этого опускаться. С высоты своего положения и полета. Но задело его за живое. Что изменяла жена с каким-то директором автосервиса. Который ему же, Степану Ильичу, и принадлежит. И директора этого он своими руками из ничего слепил. В память, можно сказать, о друге. В асфальт закатанном еще в девяносто третьем. Хотели Степана Ильича туда закатать, но он ухитрился своей участи избежать. А другу повезло меньше. Потому что не дозвонился до него Степан Ильич в нужный момент — чтобы предупредить. Пытался дозвониться, честно пытался — не получилось. Зато теперь как человек приличный поддержал в жизни его сынка. Одним из своих автосервисов руководить доверил. А он, значит, отблагодарил.

«Небось, в машине, — думал Степан Ильич, — или в кабинете на столе ребенка делали». И это его почему-то просто сводило с ума — то, что в машине или на столе. Вот он и напряг налоговиков. И директора этого тут же закрыли. Пока, конечно, на время следствия. А там видно будет.

Жена сначала ему угрожала. Говоря:

— Ты учти, проскочить без наказания не удастся никому. Не все просто понимают, что происходящее с ними — это наказание и есть.

— И что ж такого со мной происходит, и кто это меня накажет? — спрашивал Степан Ильич.

— Да хоть бы и бог, — говорила жена.

А он отвечал:

— Лет семьдесят только и делаю, что жду его наказания. Никак не дождусь.

Потом жена начала срываться. Кричала, что сука он и рогоносец, и старый подонок, а он слушал все это и радовался. Тому, что снова довел ее до истерики. Чувствовал себя последней сволочью, говорил «тебе вредно нервничать» — и опять радовался.

И сейчас, на этой прогулке, радость потихоньку начинает охватывать его. Медленно поднимаясь изнутри, из глубин организма. Неясная какая-то радость. Беспричинная. Он даже приплясывает, идя по велосипедной дорожке, и напевает что-то бравурное. От радости своей внутренней.

Ноги ступают по мокрому, а он идет, пританцовывая и похлопывая себя по бедрам, пока не слышит над собой:

— Де-е-е-д! — и, резко вильнув, его объезжает велосипедист.

Степан Ильич осматривается и обнаруживает себя прямо на проезжей части, посредине. Где все велосипеды и конькобежцы минуют его с трудом. Как препятствие.

— Простите, — говорит Степан Ильич в пространство и пытается посторониться. И делает два шага к обочине. — Простите.

И то, что его объезжают слева, он замечает, а что сзади несется гонщик-любитель, заметить Степан Ильич не может. Глаз на затылке у него нет. Гонщик, понимая, что тормозить на листьях бессмысленно, пробует проскочить справа, по обочине. И проскакивает. Только педалью задевает Степана Ильича сзади, ниже колена.

Если б не мокрые листья на мокром асфальте, Степан Ильич на ногах устоял бы. Это точно. А сейчас он видит, как мелькают перед глазами носки ботинок. Как кепка летит, вращаясь. Как садится на ветку птица.

Еще одно мгновение Степан Ильич силится понять, почему он все это видит.

Была бы у него в запасе лишняя секунда — он бы, конечно, все понял. А так — нет, не смог. Но может, оно и к лучшему.

Короткие рассказы

Метро

Я стоял в вагоне метро у двери. Стоял и ехал. Видимо, по кольцевой. Потому что давно. За дверью проносилась тьма. Густая и непроглядная.

Вдруг из тьмы в дверь постучали.

Я моргнул.

Постучали еще.

Я сказал:

— Войдите.

И сделал шаг назад. Вжавшись спиной в толпу.

Мужчины вошли. Отряхнулись на свету. Прищурились и спросили:

— Как дела?

Я задумался.

Главное

Плохо мне стало отчего-то. Отчего — даже не знаю. Очень долго было хорошо, а потом стало плохо. Видимо, кризис среднего пожилого возраста.

Просыпался в ужасе. Засыпал в нем же. И ужас мой был какой-то... некондиционный, что ли. Ни перед чем-то или, скажем, перед кем, а ужас как таковой, сам по себе ужас. И с ним, значит, я трудился и жил круглосуточно. Во сне, и то с ним. Наверное, от этого мне и было плохо. От ужаса.

И вот однажды на улице подошел ко мне человек. Весь в черной щетине. Он посмотрел мне в глаза. Обнял. Трижды крест-накрест поцеловал и сказал:
— Крепись, братан... И не бзди. Главное — не бзди.
После чего сел в желтый Порш Каейн и уехал.
С тех пор я креплюсь. И это вот... не бздю.

Любовь

«Все-таки мы любим друг друга, — думает Иван Петрович, успокаивая дыхание. — Конечно, любим. Иначе как бы мы прожили вместе двадцать лет? А мы прожили. Все друзья давно уже развелись и заново переженились друг на друге. А нам хоть бы что. Нет, у нас тоже всякое бывало. Но это не в счет».

В подтверждение его мыслей Елена Андреевна придвигается поближе, прижимается и прикусывает ему мочку уха. Она всегда так начинает. Всегда. И ему это нравится. Иногда она еще щекотно шепчет какую-нибудь дребедень.

Но об этом он уже не думает. И вообще ни о чем не думает. Потому что они опять любят друг друга. Причем она сегодня хороша, как никогда...

И уже окончательно проваливаясь в сон, он обнимает ее и говорит полушутя, хотя и восторженно:

— Твоими бы устами, — говорит, — да мед пить.

Она лежит на спине. Смотрит в потолок. Размышляет. Потом закрывает глаза и отчетливо произносит:

— Пропала жизнь...

Мизантропия

По утрам он страдал. Потому что по утрам его мучило похмелье. Самое примитивное, вульгарное. Со всеми характерными прелестями и печальями.

И, конечно, видеть ему не хотелось никого. Совсем никого. До отвращения. Даже кота не хотелось видеть. Даже себя. Даже родных и близких.

Впрочем, ни родных, ни близких, ни кота у него давно не было. Но неблизких ему тоже видеть не хотелось. Поэтому приходилось сжимать всю свою волю в кулак и бороться со своим организмом. И побеждать в этой неравной борьбе.

Он подходил к окну. Брал дрожащими руками винтовку с оптическим прицелом и долго-долго в него смотрел. Потом жал на курок и опять смотрел. Жал и смотрел. Жал и смотрел.

Бельишко

Когда женщины выходят погулять, они обычно встречаются. Иногда с мужчинами, а иногда и друг с другом. И вот встретились случайно Алена и Федорченко, идут, беседуют.

— У меня новый бой-френд, — говорит Федорченко.

— Да? — говорит Алена.

— Да, — говорит Федорченко.

На что Алене ответить нечего. И она молчит. И Федорченко молчит. Но гордо. С чувством собственного превосходства над всеми. А особенно над теми, у кого нового бой-френда нет. И, значит, идут они так, гуляют и молчат. И проходят мимо секс-шопа. Федорченко говорит:

— Зайдем?

— У тебя же бой-френд, — язвит Алена. — Зачем тебе секс-шоп?

— Да не за этим, — говорит Федорченко, игнорируя Аленин юмор. — Надо бельишка прикупить.

— Бельишка? — удивляется Алена. — А почему в секс-шопе?

— Я всегда белье в секс-шопе покупаю, — говорит Федорченко. — Всем мужчинам нравится.

— Да-а? — опять язвит Алена. — А я знаю мужчин, которым нравится обычное женское белье.

— Извращенцы, — говорит Федорченко.

Обновление

Человек не может жить просто так. Человек должен меняться. В какую-нибудь сторону.

А я знаю, что должен — и ни фига. Из года в год. И ведь все меняются. Все. А я нет. Мне так и говорят: «Ты прямо как замороженный».

Ну, замороженный. И что теперь делать?

Мне говорят:

— Конкретно ничего тебе посоветовать не можем. Ты просто делай что-нибудь.

Я говорю:

— Что делать?

А они говорят:

— Да какая разница?

Подумал я, подумал и стал делать. Сбрил усы. Отрастил косичку. Сменил очки. Купил мопед. Женился. Вырвал зуб. Посмотрел в зеркало...

Не помогло.

Встреча

Я сразу понял, что мимо меня они не пройдут. И что внешность моя им не понравится. Это легко было понять. Моя внешность, она, считай, никому не нравится. За редким исключением. Но эти были явно из правила. Я по бейсбольной бите определил. Один из них биту имел бейсбольную. При себе. Хотя сложения был неспортивного.

Естественно, они встали передо мной, как перед травой, и перегородили собой все пути к отступлению. А наступать я и сам не собирался.

«Интересно, что им от меня нужно? — подумал я. — Денег, слава те господи, у меня нет, машины тоже. Чтобы лобовое стекло битой расхерачить. То есть предложить мне им особо нечего». Поэтому я и молчал.

Они тоже молчали. И молчание, как говорится, затянулось.

Наконец, тот, что с битой, сделал шаг вперед:
— Ты за геев или против? — спросил он. — Отвечай.
«Странный вопрос», — подумал я и ответил неожиданно:
— Я — вместо.
Они удивились. Потом посмотрели друг на друга недоуменно. Потом ушли.
Наверно, это был какой-нибудь соцопрос.

За стеклом

Мужик в окне появился внезапно. Так внезапно, что все вздрогнули. Появился и уставился на нас. А мы уставились на него. В неподвижности и в тишине.

Ждали-то мы председателя. В смысле, совета директоров. Из двери ждали. А появился этот. И в окне. Мы, конечно, не в небоскребе обитаем. Но все-таки.

А что, если это киллер? Или рейдер?

В общем, наверно, мы долго бы так сидели, оцепенев. Но дверь, как положено, отворилась, и вошел председатель.

— Начнем, — сказал он. Но тоже увидел мужика за окном.

— Что это? — спросил председатель.

— Мы не знаем, — ответили мы. — Вот, появился. Внезапно.

Председатель подошел к окну. И открыл его.

Мужик вежливо поздоровался.

— Ты кто? — спросил председатель.

— Я-то? — сказал мужик. — Я мойщик.

— Еврей, что ли? — спросил председатель.

— Та не, мойщик окон, — сказал мужик.

— Ах, окон? — сказал председатель. — Ну и как успехи?

Мужик загрузил, как-то скукожился весь и ответил:

— Не стяжал-с.

Прокрывнаш

Сняли мы, значит, с Петровичем девушек. В очень приличном месте и под очень приличную закуску. И продолжение банкета обещало нам много приятных минут. Но вдруг Петровича заклинило:

— Нет, ну объясни ты мне, — говорит, — как старший товарищ, зачем Путину Крым? Ну, зачем?

Девушки, само собой разумеется, тут же заскучали. Как только услышали ключевые слова, так и заскучали. И даже скисли. А я, конечно, мог ответить Петровичу адекватно, но передумал. Решил ответить достойно:

— У моего соседа Квасюка, — говорю, — который закончил свою жизнь в Гурзуфе (что к делу не относится), в Москве жили бабка и дед. Давно. Я тогда совсем пацаном был. То есть это эпоха расцвета деградации и упадка — «застой» другими словами. Так дед тринадцать лет лежал в параличе. И жизнь его состояла в том, что он с утра до ночи требовал у жены денег на вино. А ходил только в туалет — по стеночке. Но, когда приносили пенсию, он как-то отнимал у бабки свою долю и тратил по назначению. Жили они на первом этаже. Кровать

деда стояла у окна. Летом он просто звал со двора мальчишек. Давал им два рубля и посылал в гастроном. Сдачу оставлял гонцам.

В этом месте Петрович навел резкость, догрыз крылышко своего «Табака» и говорит:

— Сеня, ты о чем? И понял ли ты мой вопрос?

Я говорю:

— Ты слушай. Да, так вот мать послала Квасюка в Москву с заданием. Уговорить деда поменять квартиру на Днепропетровск. Чтобы можно было за ним ухаживать. Поменять Москву на Днепр, причем с доплатой, в то время было проще простого. Но как Квасюк деда ни уговаривал, как ни убеждал — дед не соглашался. «Но почему?» — кричал Квасюк. «Не могу без Большого театру», — отвечал дед. Вот то же и с Крымом.

Петрович посмотрел на меня большими глазами и сказал:

— Не смешно.

— Чего уж тут смешного, — сказал я. — Тем более что девушки куда-то подевались. Ушли, как говорится, не расплатившись.

Дебри логики

Несколько лет назад Лучинский плюнул на все и уехал. Эмигрировал в Германию. Хотя из-за любви к Родине и не собирался. Но все поехали, и он поехал. Все не в смысле вообще все, а в смысле, все его родственники со стороны жены. А своих личных родственников у него кот наплакал, да и те дальние или незнакомые.

В общем, уехал он и там живет. И чувствует себя на чужбине без Родины нормально. Человеком себя чувствует. Хотя это, наверное, нехорошо. С точки зрения высокой морали патриотизма. И родственники его все тоже, кстати, живут и тоже нормально.

Особенно нравятся Лучинскому саксонские вечера. Когда тихо становится везде и свежо, и дневная усталость отступает. Обычно он выходит в такие минуты на балкон и там сидит. Отдыхая после рабочего дня и наблюдая закат солнца. Жена его в это время не трогает. Потому что понимает.

Сегодня Лучинский тоже сидит на балконе. И тоже наблюдает закат. И тут, значит, звонит тесть:

— Мать, — говорит, — не у вас случайно? С утра ушла и до сих пор нету, я волнуюсь.

Лучинский говорит:

— А чего волноваться? Тут вам не Малаховка. Не ограбят, кошелек из сумки не вытащат, по голове трубой не дадут.

Тесть какое-то время помолчал в трубке, а потом говорит:

— Жаль.

Литпроцесс

Гуляли третий день подряд. Оставаясь, между прочим, на «вы». Имен называть не буду. А профессии — один актуальный писатель, другой такой же критик. У писателя вышла книжка, и он невзначай предложил критику выпить водки.

— Давай, — говорит, — с горя. Тем более деньги есть.

Книжка, мол, ни при чем, а без горя русский писатель никак не может. И без выпить тоже не может. Не говоря уже про без денег.

Критик приглашение охотно принял. Но предупредил:

— Только писать о твоём говне я, — говорит, — не собираюсь. Учти.

— А кто говорит «писать»? — писатель удивляется. — Я говорю — выпить.

Ну и выпили. После чего подружились, как родные братья. Хотя и на «вы». И на третий день дружбы, когда до запоя оставалось рукой подать, писатель даже о жене заговорил искренне. То есть с критиком — о самом сокровенном и любимом заговорил.

— Знаешь, — говорит, — а жена меня называет современным Чеховым.

— Дура, что ли? — критик спрашивает.

— Просто она меня любит.

— Так я ж и говорю — дура.

И вот после этих слов критика, вполне, надо сказать, справедливых, писатель стал его незаслуженно бить. И бил усердно, долго и тщательно. Критик-то, он городской был житель, а писатель от самой сохи. Хотя и в прошлом. В результате за критиком приехала «скорая», а за писателем менты.

«Теперь он точно о книжке не напишет, — думал писатель, сидя в машине меж двух ментов, — или напишет какую-нибудь страшную гадость. Знаю я этих критиков насквозь».

Погоня

«Не уйти мне», — думал Босой. И думая так, продолжал продираться сквозь чащу. Из последних, можно сказать, сил. Где-то сзади взлаивали временами собаки. И голоса то возникали неразборчиво, то сходили на нет.

«Надо к реке выходить, — думал Босой. — Если не выйду — кирдык мне». Но реки все не было. Хотя она должна была тут быть. Обязательно должна. Босой не просто чувствовал это, он это твердо знал. И река таки сверкнула из-за кустов излучиной. Сверкнула и погасла.

Босой рванулся. Ветки ободрали лицо и руки. Первое, что он увидел с берега — лодка. Какой-то старик возился с цепью.

— Дед, — заорал Босой. — На тот берег!

Старик равнодушно кивнул.

— Спешись?

Босой подбежал ближе и показал заточку.

— Что за река?

— Так Стикс это, — с перепугу старик почти лишился голоса.

— Стикс, хреникс, — Босой схватил цепь и потянул на себя. — Давай, дед, давай, а то дело плохо.

— Ну садись, — старик придержал лодку. — И не психуй. Все могло быть гораздо хуже.

Александр Снегирёв

Строчка в октябре

Рассказ

Если б мой сын стал таким, я бы его не осуждал. Но я бы каждый день думал, где я ошибся.

Мы с братом разные. Триста шестьдесят пять дней пятнадцать раз подряд, плюс два с половиной месяца, плюс четверо суток високосных надбавок. Этот срок разделяет мгновения, когда нашей матери взбрело подарить миру новую жизнь.

Будь я педантом, уточнил бы, что первый раз она скорее всего была пьяна, иначе бы не вела себя столь беспечно с черномазым. Да и в моем случае, полагаю, без бутылочки не обошлось. А вопрос наш решался месяце на втором-третьем и вылупились мы скорее благодаря материнскому страху перед врачами, чем чадолюбью.

Почему нас с братом всего двое при такой ее расположенности? Я бы ее спросил, да все не складывается. Да и что она мне ответит. У нее и теперь спутник имеется. Толик. Нормальный мужик, скульптор, имена по надгробникам вырезает и даты. Кто такой, когда родился и помер, вечная память. И кисточку, если художник.

А мы с братом ее избу покинули. Я в столице нашей родины, а старший еще дальше — на обороте глобуса. Сыт и устроен. Жить умеет, не мудрено — с первого дня приходилось крутиться. Чернокожий подросток восьмидесятих годов на окраине областного центра. У нас его все Маугли называли. Едва дожил до восемнадцати, сразу повестка. Он потом рассказывал, что когда генерал их строй обходил, то около него остановился и спросил, а это что такое?

Двухметровый негр в погонах СА на границе с Афганистаном.

Александр Снегирёв — родился в Москве в 1980 году. Учился на художника, архитектора, политолога. Зарабатывал разрисовыванием шелковых платков, продавал китайские пуховики, работал беби-ситтером, наблюдателем на выборах. Писать начал в двадцать лет.

В 2005 получил премию «Дебют» за сборник рассказов. В 2007 роман «Как мы бомбили Америку» получил премии Союза писателей Москвы «Венец» и «Эврика». В 2009 роман «Нефтяная Венера» вышел в финал премии «Национальный бестселлер». «Нефтяная Венера» получила приз продаж OZON.RU. Роман «Тщеславие» и сборник «Чувство вины» в 2010 и 2013 годах названы «Независимой газетой» лучшими книгами русской прозы.

Книги переведены на английский, немецкий и шведский языки.

В то время такие выкрутасы еще не встречались. В первые дни сержант выпендривался и брат ему направил кулаком в подбородок. Сержант тридцать восемь секунд по полу елозил, пацаны засекали. Мычал и головой мотал, как наш сосед после получки. И рука, на которую он опирался, скользила все время.

Потом брату, конечно, трудновато пришлось, другой бы, может, с ума сошел, но для этого надо восприимчивым быть. А мы люди ровные. Прадед в Ленинграде всю блокаду проторчал, спаниеля своего съел и ничего, нового завел после Победы.

Служил брат хорошо. Стрелял метко еще со школьной подготовки, а бег во всей сбруе по солнцепеку тоже вещь сносная, главное носом вдыхать, а ртом выдыхать. После дембеля в ментовку устроился, в охрану. Не в бригаду же ему было подаваться. Однажды автомат в подведомственном магазине забыл. Метнулся назад — стоит у прилавка. Кассирша даже не удивилась. Сказала, может, у вас, у ментов-черномазых, принято автоматы к полкам прислонять. После этого уволился, больно хлопотно. На рынке торговал, в кабаке плясал. Там, видать, себя и нашел, обрел, так сказать, окончательно.

У меня сложилось иначе. Я всегда бледный, солнце не люблю. Может потому, что на мне мать все свое стремление к изящному выместила. Балет, фигурное катание, вокал, театральный кружок. Носочки белые купила, чтоб никто ничего не подумал. Справку от армии устроила.

Но все пошло прахом. Причина в гитлеровских усах.

Помню, как совсем мелким разглядывал фотографии и наткнулся на того ленинградского прадеда-собакоеда. А у него под носом усы, как у Гитлера. Я тогда матери устроил, мол, как так, ты говорила, прадедушка герой-блокадник, а у него вон усы, как у Адольфа! А мать сказала, спокойно, малыш, мода была такая. И я подумал, ну раз мода, тогда ладно. А еще я подумал, что если у моего прадедушки усы, как у Гитлера, то мне все можно.

Я сделался неуправляемым и начал жить. Сбежал и от материнской заботы и от пируэтов на льду. Время уже было другое, страна хоть и волновалась под ногами, зато экономический рост и перспективы. Ночью я спал на нарах в контейнере на восемнадцать гавриков, днем продавал декоративные камни. Набиваешь две спортивные сумки образцами, оставшимися от ледникового периода и мирового потопа, и в метро. И весь день по дизайнерам катаешься, демонстрируешь. Сланец, песчаник, габро. Каждая сумка кило по пятнадцать. Весь в мыле, удобств в контейнере нет, мыться негде. Дизайнеры меня невзлюбили.

Потом миксер с бетоном возил, пока в кювете не проснулся. Работы было много, строительный бум, бетон гоняли по восемнадцать часов в сутки. Вот и съехал от недосыпа. А на миксере заглохнуть — смерть. Бетон в своем железном коконе без постоянной болтанки застывает сразу. И ладно бы те шесть кубов, но сама мешалка в негодность приходит. Можно прямо в кювете оставлять. Если приглядеться, по краям дорог такие штуки иногда попадают.

Мой хозяин был сентиментальный, к вещам привязанный, бросать мешалку не стал. Отбуксировали вместе со мной в тихое место, дали в руки отбойник и сказали долбить.

Шесть недель и пять дней. Любую вибрацию с тех пор не выношу — даже если мобильник зудит.

Сейчас в колледже физкультурником. Гоняю будущих лифтеров, диспетче-

ров и ремонтников. Один провинился — упор лежа, двое — упор лежа, второй считает. За коллективный беспредел играю с ними в пенал. Есть у меня пенал, набитый цветными карандашами и каким-то самописом. Если я сижу в своей каморке, звонок уже прозвенел, а в зале гвалт, я швыряю пенал в дверь и если он не подан мне уважительно, по имени-отчеству, целиком укомплектованный, если я пересчитаю карандашики и цифра не совпадет с исходной, тогда все — упор лежа.

У меня, как у бога — за непослушание ад.

Помогает. Вся шобла в последнее время загодя строится по росту, форму не забывают, предки самого жирного мне даже пузырь поднесли — чадо их похудело и приобрело очертания мужчины.

Долгое время мы с братом почти не общались, но три года назад он проявил инициативу, пригласил погостить и оплатил билет. Визу дали без проблем. Раньше, говорят, привередничали, а теперь оценили русские деньги. Пусть мы варвары, зато не жмоты. Теперь каникулы и я приехал снова, на этот раз уже за свой счет.

А вот и брат. Одно лицо — матушка, вылитая наша Евдокия Ермолаевна. Только черная.

Походка, щечки, глаза лоснятся. Даже сиськи подросли, но это от изобилия.

На голове что-то вроде боксерского шлема, только смотанного из бинтов. А морда вся опухшая, будто три раунда выстоял, но все время джепы пропускал.

Оказалось, операция. Незадолго до моего приезда убрал зоб.

Помню его таким лет пятнадцать назад. Он тогда мать навестил и вышел пройтись перед сном. А навстречу недоброжелатели. Можно было бы подумать, что им его цвет не понравился, но нет — оказалось, зря курить бросил. Когда у него сигаретку попросили, была пятница, а от вредной привычки брат отказался еще в понедельник. В тот вечер он получил ножевое, остался с одной почкой и голова потом месяц была, как мяч, все черты слились. И дымит с тех пор без остановки.

Пока мы ехали из аэропорта, брат рассказал про новые рестораны, по сравнению с которыми прежние сущая помойка. Скоро построят новый терминал, рядом с которым нынешний помойка. Сюда смогут прилетать громадные лайнеры, для которых прокладывают новую взлетно-посадочную, по сравнению с которой эта просто велослужба и помойка. А еще на воду спустили круизный лайнер, в продаже появился редкий омолаживающий коктейль, на пляже сменили лежаки и бич-боев, загляденье мальчишки, не то что прошлые, обезьяны с помойки.

Так мы и катили, брат перечислял, а я нащупывал тисненое на коже дверцы клеймо автомобильного дома. В жизни брат не проявлял особых талантов или трудолюбия и преуспел материально лишь благодаря перенятому у матери свойству устраивать сцены. Осознав еще в молодости великую силу скандала, он стал ее применять сначала потихоньку, а потом уже масштабно. Он был требователен, вечно недоволен, капризничал, его помидорные губы всегда дулись и лишь изредка, когда те заслуживали, брат одаривал своих покровителей нежностью.

Да, именно покровителей, мужской пол множественное число.

У кого-то, может, приобретенное, а у моего брата врожденное. Казалось бы,

два года муштры в горах, готовился исполнить интернациональный долг, мужик, короче, не то что я, с вокалом и танцами, но против природы не попрешь.

И не говорите, что он не хотел исправиться. Хотел. После службы, помню, еще трепыхался. С одной пожил, с другой. Находились в нашем городке отчаянные, готовые вить гнездо с черномазым. Но не складывалось: первая рыдала после оргазма, вторая белье какое-то не то стелила, у третьей бедра слишком широкие.

Про него стали ходить слухи и мать ему сказала, чтоб ехал. К тому времени он окончательно осознал свою склонность, не стал ей противиться, а принялся монетизировать.

Среди отечественных мужиков оказалось много желающих платить за капризы, скандалы, унижения и прочее, о чем и думать не хочется. Сначала, как я понимаю, у него отрывистые опыты были, а потом в систему вошло. И весь, повторяю, в мать, та же тяга к этому делу. Только у него вместо рассеянности сосредоточение. Она бессребреница, а у него миллионы. Развив довольно бурную деятельность, он вышел на эксклюзивный рынок и обнаружил, что слабости власть имущих нисколько не отличаются от слабостей обывателей. Состоятельные граждане, особенно руководящие кадры, остро нуждаются в унижении. Цвет кожи шел брату на пользу, клиенты истово наслаждались тем, что их имеет потомок дикаря, может быть, даже раба. Подвыпив, брат рассказывал, как его и тельняшку просили надеть, и кирзачи, и спеть что-нибудь лирическое. А он — пожалуйста, только по отдельному тарифу.

Как бы то ни было, но этот бывший рядовой призывник и стареющий гомосексуальный хастлер деньги считать умеет, вкладывает и приумножает. Чутье на прибыль у него не отнимешь. Иногда мне жаль, что он больше не в деле, следил бы за собой. А то пузо впереди на полметра. Ему бы на диету да в качалку, а он все по клиникам и ресторанам. Дня через три после моего приезда он бинты с башки снял и обнаружилось, что морда такая же круглая, как в прошлом году. Сказал, отек не сошел. Жрать бы ему поменьше и синьку сократить.

Постоянный у него есть, женой ему приходится. Или мужем. Не знаю, как у них там устроено. Но тот себя считает вполне обыкновенным, как все. У него и баба законная имеется, и двойня, новейшим экстракорпоральным способом произведенная. Живут с няньками на тихой испанской вилле. Брат его ревнует. Правда, больше не к жене и малым, а к молодым кобелям. Так и говорит: «Если найдет себе молодого кобеля, я ему ноги отрежу».

Сам этот тип в основном в России торчит, важная шишка. И если вдруг какой закон против его сексуальных подельников принимают, если ограничить их хотят, он первый «за». А иногда и сам впереди бежит с упреждающей инициативой. Брат его защищает — населению надо потакать, зато денежки текут. Вообще, если приглядеться, любую бучу против гомиков они сами и затевают. Только не такие, как мой брат, а те, кто трусит, кто сам себе признаться не может, а осмелившимся завидует и люто их ненавидит.

Деятель этот нам не чета, настоящий москвич. Старики его с научными степенями, дед академиком был или генералом, одним из тех, кому квартиры четырехкомнатные давали. Я к ним заходил после первой поездки, подарки передал, у сына родного времени не нашлось даже шофера послать.

Матери кофту и айфон, отцу смену рубашек.

Айфон ей не понравился, а рубашки с кофтой подошли, только старики все равно недовольны. Рубашки сидят хорошо, но что-то не так, а у кофты состав ткани неудовлетворительный.

Тогда они мне чаю предложили и давай про сына, мол, он у них абсолютно нормальный, хоть с женой явно не живет, сослал в Европу, они и внуков-то не видят. А сам валандается непонятно с кем и какого пола. То есть с моим братом. А вообще, лечить таких надо.

Умора, вот я, например, люблю девчонок с фигурой и волосами, попробуйте меня сначала полечите.

Живет брат один. Дружок его наезжает редко, матушка наша не навещает. Не потому что боится, как некоторые, во время перелета с высоты сверзиться, нет, она гнездо богопротивного разврата посещать не хочет. Сидит у себя, молебны заказывает, чтобы избавить старшего от содомской напасти. Очень ей внуков понанчить хочется, меня извела, но что поделать, если брат неисправим, а я не такой влюбчивый, как она, не встретил пока свою половину.

Радости у брата тоже вполне материнские, «буфетные». Любит караты и девятьсот девяносто девятую пробу. Ну и модным увлечениям богатеев он, конечно, потакает: овощи, выращенные без использования минеральных удобрений, рыба, выловленная из отдаленных, не оскверненных человеком глубин, эксклюзивные пилюли, приготовленные на основе результата анализа слюны.

Раньше брат обитал в доме, который теперь трудно разглядеть среди построек внизу, потом перебрался в эту, полумесяцем, если смотреть с самолета, башню. Только этаж был пониже и окна на теннисный корт. Там я у него и побывал в прошлый раз. А недавно он поднажал на своего и тот купил нынешние тысячи квадратных футов.

Просторный апартамент в высоком этаже, повсюду комнаты, альковы и лоджии. За светоотражающими, усиленными на случай урагана окнами три стороны компаса, роскошь и достаток до горизонта. Собственный лифт, спортивный зал, пляж по пропуску, бассейн, возле которого целыми днями загорают несколько стариков. Как подсолнухи, они поворачиваются в направлении светила, kloкочущего в комьях тропических облаков. Днем океанское марево и зубцы небоскребов, ночью чернота с россыпями летательных и плавсредств.

Перед моим приездом закончили обставляться. Интерьер, как теперь принято, сплошь натурален — тесаный и полированный камень, кавказский и американский дуб, фаянс, шелк, кожа, латунь, хрусталь, выдержанные напитки в тяжелых сосудах.

И цветы свежие повсюду.

У меня одноклассница сразу после выпускного за мента вышла, а через два года мы ее хоронили. Неосторожное обращение с оружием. Скорбящие, правда, шушукались, что это он ее в состоянии опьянения. Так вот, у той одноклассницы на гробе столько же цветов было, гора.

Брат увлекся картинами. Не рисованием, покупкой. С гордостью и некоторым волнением обратил мое внимание на несколько обширных плоскостей под жирным красочным слоем. Мне очень понравились шикарные рамы, а ему — толщина мазков. И высокая цена. Я не знаток, но, по-моему, его надули.

Мне почему-то стало жалко брата и я принялся его хвалить. Тонкий вкус,

умение вести дом. Я не льстец, мне ничего не перепадает. Просто хотелось что-то хорошее сказать.

Брат на мои комплименты отреагировал по-своему. Сказал я, например, что кресло в кабинете очень удобное, а он ответил, что это не кресло, а помойка и он его вчера купил, а завтра выбросит. И вздумалось мне поспорить, мол, чего же в этом кресле такого плохого, очень хорошее кресло, а брат стал кричать о его полной непригодности и вдруг схватил устричный нож и принялся кресло пырять, а потом вызвал уборщика и тот избавил нас от мебельного трупца.

После этого я старался ничего не отмечать. Можно было бы воспользоваться этим свойством брата в борьбе с какими-нибудь недругами из обстановки, но ничто меня не раздражало, ничего разрушения я не жаждал.

Впрочем, один враг у меня все-таки завелся. И какой.

Расположенный в так называемой обеденной зоне, составленный из ониксовых плит, лежащих на монументальном основании, настоящий могильный памятник, громадного размера стол явно был предусмотрен для еще куда большего помещения, чем трапезные просторы брата.

Сдвинуть стол было невозможно, а устроившись за ним, хозяин или гость обязательно упиралась спинкой стула или в бар с крепким, или в буфет с хрусталем, или в комод с фарфором и столовым серебром, или в панорамное окно. Если во время приема пищи требовался нож, стакан или новая бутылка, одному из нас непременно приходилось выбираться из-за этой глыбы, задвигать стул, доставать необходимое, а затем снова протискиваться на свое место.

Каждый обед или ужин превращался в схватку за территорию. Мне даже пришла абсурдная мысль измерить стол, чтобы удостовериться, что он с каждым днем не увеличивается, но у брата не нашлось рулетки. Он вообще избегал измерительных приборов, в том числе и весов. Я предложил закусывать прямо у холодильника или возле плиты, но брат, поборник ритуалов, настаивал на торжественной рассадке, зажигал свечи и мы снова и снова с трудом проглатывали пищу, вплотную придвинутые к ониксовой, с изящным кантом, кромке, которая давила на наши наполняющиеся животы.

Как-то раз я не выдержал и похвалил стол, мстительно отметив его нежный цвет, безупречную гладкость, а главное размер. Я даже зажмурился, рассчитывая, что брат тотчас примется обзывать стол помойкой и разгромит кувалдой. Брат, однако, никаких действий не предпринял, а горделиво назвал сумму, которую за стол выложил. Сумма была под стать столу — огромной, но брат радовался, что сэкономил.

Новых попыток я не предпринимал и с того дня покорно втягивал живот, пробираясь на свой стул, что из-за гастрономического изобилия, сказывающегося на объеме моей талии, с каждым днем делалось все труднее.

Время мы проводили вдвоем в сытой дреме, друзей у брата не было. По вечерам он вез меня в очередной ресторан и я не противился, чтобы не обижать его. Нас кормили лучшими частями тел копытных, членистоногих и челюстноротых. Однажды брат проснулся с озарением — надо срочно отказаться от мяса. Несколько дней мы питались одними устрицами, пока оба не свалились с температурой и головной болью.

Мы пили вина ограниченного тиража, вкусы и ароматы которых скоро слились для меня в однородную, совершенно лишнюю гущу. Я старался заказывать поменьше, брат, напротив, просил по несколько блюд, отъедал от

каждого, а остатки велел выбрасывать. Поначалу я хотел было по местному обычаю и просто потому что жалко, забирать недоеденное с собой, но был обвинен в нищенском поведении и компрометировании перед обществом.

Перед сном брат курил с бокалом коньяка на одном из балконов, а я ходил вдоль прибоя. Звезды на небе напоминали мне точки детской развивающей раскраски, которые следует соединить, чтобы получить очертания того или иного предмета. Брат наверняка бы разрисовал небо яркими очертаниями, а мне ничего в голову не приходило — никаких желаний.

С наступлением темноты сырой банный зной сменялся душной ночью, стены и тротуары покрывались испариной, а из стриженных кустов, клумб и газонов вылезали тысячи черных червей. Они ползли к нашей, полумесяцем башне. Пересекая подъездные и садовые дорожки, черви попадали под безразличные колеса и брезгливые каблуки, но продолжали путь, чтобы с наступлением утра снова спрятаться в норы, а ночью повторить восхождение.

Как-то раз мы оба были не в настроении и не то чтобы поссорились, но охладели друг к другу и дня два едва разговаривали. Я торчал в колышущейся на ветру, узорчатой тени пляжных пальм, брат спал, а просыпаясь врубал Мадонну. Я был рад нашей размолвке, избавившей меня от обжорства, однако принципиальности брату хватило ненадолго и он предложил мне автомобильную прогулку.

Полированное тело его родстера возило нас среди вилл из светлого камня и магазинов европейских портных. Восьмицилиндровый тихо шумел, пока брат показывал мне фасады роскошной жизни. Он был величественен и благоговен, будто вводил меня в высший мир.

Мы проехали мимо старого кряжистого дерева, крепко обвитого, точно удавом, лианой без корней. Дерево, которому я почему-то сразу приписал мужской пол, походило на отставного генерала, в которого вцепилась верткая шлюха и теперь высасывает. Ветви старика уже сохнут, и не за горами день, когда он окаменеет и чем тогда будет жить извивающаяся содержанка, трудно представить. Она бы переселилась на другого, но поблизости никого.

Эта парочка напомнила мне брата. Он в свои сорок пять был одновременно и вянущим стариком и юной присоской. Он умирал, сдавливаемый своими прихотями, истощаемый собственными слабостями и детскими обидами. Эти улицы у океана стреножили его, аллеи косматых пальм придушили. Дворцы за решетками высоких ворот затмили ум, и белая рука судьбы, свешивающаяся из окошка синего автомобиля, тянула брата за нити, и ее лицо за лобовым скрывалось в полумаске тени, и улыбка играла на алых губах.

Материнскую избу, ту, что поставил предок-блокадник, брат сжег лично. Нанял мастеров, которые разобрали старые стены и за лето поставили новый дом. Просторные комнаты, высокие потолки, никаких печей и даже каминов, все на умном отоплении. Мать его просила хоть «буржучку» французскую, она в каталоге видела, чтоб на огонь любоваться, а он ни в какую, печной дух — это нищета и помойка.

Давным-давно мать ушла на ночь к новому хахалю и наказала брату следить за мной и топить печь. Мне было года полтора. Брат тогда только в армию собирался, кинул пару поленьев и на индийский фильм пошел в кинотеатр и еще куда-то после сеанса. Говорят, я потом от воспаления легких едва не помер, а материн хахаль проучил брата ременной пряжкой. От него и матери потом

доставалось, заступничек. Короче, с печным отоплением у старшего с тех пор не складывается.

Когда стройка завершилась, брат купил «Хускварну» на бензиновом движке и принялся разделять на короткие чурбачки сложенные штабелем, круглые и квадратные в сечении, пиломатериалы, недавно составлявшие кров его детства. Когда бревна, доски и брус превратились в кучу дров, брат развел костер, что на пять метров не подойдешь. Соседи орал, боялись, что их хозяйственные и жилые строения от педиковского пламени займутся. А брат только подбрасывал и курил одну за другой, и угли отгребал, чтобы мясо на них жарить, зернового откорма, новозеландское.

После катания брат упросил пойти с ним в клуб. Он почему-то стеснялся и сто раз повторил, что клуб хороший, все будет прилично, ко мне никто не пристанет. Если я сам не захочу. На этих словах он подмигнул. Забавная черта его сексуальных соплеменников считать всех своими брата не обошла. По их мнению, все мужчины на свете являются тайными женоненавистниками, которые просто еще не решились, не поняли своего предназначения.

Я согласился и той же ночью перед нами разверзся грохочущий интерьер, набитый протеинными, пропеченными ультрафиолетом, подернутыми потом мужиками. Я ощутил себя на кухне, где разом готовятся многие килограммы ростбифа. Я не вегетарианец, но к горлу подкатило. Все время приходилось улыбаться и отводить глаза. Но я не раздражался, скорее мне льстило и я ощутил себя хорошенькой девушкой. Может, брат и прав — в каждом что-то кроется. Впрочем, никакого желания не припомню, скорее усталость.

На сцене плясали атлеты в маленьких трусах и брат совал в эти трусы мелкие и среднего достоинства купюры и хихикал совершенно по-бабьи. Танцуя, он производил телом сценические, немного, на мой взгляд, устаревшие движения, раскрывая рот в унисон песне. Я вспомнил, что когда он еще жил с нами, то увлекся Майклом Джексонном.

Чернокожий, ставший белым, завораживал брата, и он начал одеваться под Майкла. Сшил узкие черные брюки, раздобыл туфли и шляпу и однажды вечером показал нам с матерью номер. Позвал нас в свою, выгороженную возле кухни, комнатуху.

В сумраке горела только настольная лампа. Она была обернута тряпкой и давала приглушенный, таинственный свет. Прямо перед нами, в вывернутой позе, согнутое колено, лицо в профиль, палец к шляпе, стоял брат.

Точнее Майкл.

Мы сели на заготовленные табуретки и Майкл включил кассету. Не успел Майкл в магнитофоне запеть, как Майкл перед нами раскрыл рот и уже не закрывал его на протяжении всей музыкальной композиции. Он и прыгал, и подбрасывал бедра, и жонглировал воображаемым микрофоном, и скользил «лунной» походкой. Мне тогда очень понравилось, а мать вздохнула и сказала: «Лучше б, сынок, я тебя не рожала».

Теперь брат исполнял нечто подобное. Его облепили малолетние пиявки с обтянутыми пипками и задками. Они вертелись вокруг него, высокого, с пузом, с блеском конденсата на глубоких залысинах. Они выклевывали из него купюры и контактную информацию, ворошили, щекотали, верещали и терлись.

Он стеснялся себя передо мной, стеснялся своего желания и слабости, стеснялся своего стеснения, и во вспышках танцевального света я видел, как его

темное лицо бурет от кровообращения. Я помахал ему и удалился в сторону бара. Специально ради него, чтобы он забыл про меня, чтобы делал, что в голову взбредет и думал, что мне хорошо. Мне и в самом деле было хорошо.

Накануне моего отъезда мы сидели перед застекленным видом, смотрели во тьму океана, на тлеющие поленья офисных громадин, и я спросил брата, в чем его мечта. Раньше он мечтал о квартирке в Москве, потом одно, другое, теперь сменил уже два этажа в этой гнutoй башне.

И он кивнул на террасы, расположенные на самом высоком, крайнем уступе, на другом конце полумесяца.

Там, на обозреваемой, но пока недостижимой высоте, на террасах, были каменные перила и кипарисы в кадках. Там дрожали натуральным огнем фонари, над которыми среди звезд летел самолет, освещая путь небесной фарой.

— Оттуда виден весь мир, — сказал брат. — А у меня только Север, Юг и Восток.

В бездне под террасами, у подножия, лежала геометрическая гладь бассейна. И вдруг негодная мысль распустилась гнилью у меня под сердцем.

Брат непременно заполучит этот пик, террасы и кипарисы в кадках, и желтый камень перил, и дрожащие огни под звездами.

И тогда он отставит картины, снимет караты и смешает свой последний коктейль, потому что те, кто однажды нырнули в бассейн с тридцативосьмью-этажной высоты минус традиционно отсутствующий в этих местах тринадцатый плюс лобби, так вот, такие, вниз головой сиганувшие, жажду уже не испытывают.

Ребенком я всегда любил трогать его негритянские кучеряшки и в тот вечер, когда наши взгляды были устремлены ввысь, я впервые за много лет погладил брата по голове.

Наутро я позабыл навеянную крепкими градусами мысль, меня ждал двенадцатичасовой перелет и очередная русская осень. Сезоны пролистывались быстро, мать вырастила шикарные розы, я уволился из коледжа, мы с приятелем взяли кредит и стали торговать мороженой рыбой. К брату я не ездил, мы изредка обменивались короткими посланиями. Я вспомнил о том августовском вечере на океане лишь спустя пару лет, в октябре, когда получил от брата строчку: «Помнишь тот пентхаус? Он мой».

Владимир Шнаков

ПЕСНИ КИТОВ

Роман

Часть III

Ящичек Пандоры

1.

Самолет мягко оторвался от земли и устремился в темное ночное небо. Не дожидаясь набора высоты, пассажиры устраивались поудобнее, задремывали, Мятлин же глазел в иллюминатор. На взлете он всегда цеплялся взглядом за земную поверхность, что уходила вниз; вот и сейчас наблюдал россыпь огней, мерцающих по ту сторону стекла.

— Огромный город... — проговорила сидящая рядом пожилая пассажирка. Несмотря на безупречное произношение, в голосе просквозил акцент, что на пражском рейсе было неудивительно.

— Пять миллионов жителей... — пробормотал Мятлин, не придумав ничего умнее.

— Половина населения Чехии, — отозвалась попутчица. Далее она сказала, что Петербург напоминает Прагу, наверное, своей потрясающей красотой, что ее сын Вацлав влюбился в жительницу этого замечательного города, женился, они родили двух сыновей, и потому ей приходится летать сюда несколько раз в году. Еще она сказала, что зовут ее Тереза, и Мятлин тоже назвал себя. Почему нет? Банальная болтовня попутчиков: такие откровения не обязывают, зато дают видимость сближения, мол, человек человеку — друг и брат, если уж оказались в одном купе или кресла рядом. Ко всему прочему общение заглушало привычный страх. Леденящий, поднимающийся снизу, он захватывал ноги, живот, сковывал грудь и шею, и ни мягкий свет в салоне, ни приветливые улыбки стюардесс не могли растопить этот лед. Могучая железная машина не внушала доверия, словно отправлялся не в ближнюю Европу, а в космическую бездну без шанса на возвращение.

— Вы в порядке? — поинтересовалась Тереза. Мятлин ответил: все нормально. И уставился в иллюминатор. В светящемся море огней, убегавшем к невидимому горизонту, отчетливо различались абрисы Васильевского, Петро-

градской, русло Невы... Знакомая топография, однако, не успокаивала. «Аэрофобия...», — вспомнилось словечко. Наверное, его мучил этот страх, хотя и поезда, если честно, не внушали доверия, да и автомобили тоже.

Сделав круг над городом, самолет почему-то не спешил взмывать под облака. Когда Мятлин сообразил, что пошли на второй круг, охватила тревога. Мимо торопливо прошагала озабоченная стюардесса, скрывшись за шторкой, где кабина пилотов. Когда туда же направилась ее напарница, тревога переросла в панику — что-то случилось! И точно: спустя минуту по трансляции передали: не закрываются шасси, поэтому кружим на высоте трех тысяч метров, выжигаем керосин, после чего посадка в Пулково (откуда взлетели десять минут назад).

— Цо си стало?! — округлила глаза соседка. Не сразу сообразив, что та перешла на родной язык, Мятлин хрипло ответил:

— Шасси...

— Цо то йе — «шасси»?!

— Это колеса... У самолета есть колеса, они не хотят складываться... В общем, мы никуда не летим.

— Мы не летим в Прагу?!

Не в силах ответить, он замотал головой.

— А-а... куда же мы летим?!

— Не знаю... — обреченно проговорил он, будто заключенный, который знал про смертный приговор и, наконец, его услышал. Не зря он боялся всего летящего, едущего, несущегося с дикой скоростью — эта сила гонялась за ним и таки догнала. Он представлял себя мухой на стекле, за которой некто невидимый, но безжалостный охотится с мухобойкой. Бац! Мимо... Бац! Опять не попали... Но удары мухобойки все ближе, и ты, муха, напрасно жужишь и лихорадочно трепещешь крылышками, жизни тебе осталось на чуток!

Салон между тем наполнялся гулом, криками, одни вскакивали, другие, как Мятлин, вжимались в кресла. Публика была разношерстная, проскакивали английские словечки, чешские, а вот и русские матюги донеслись. И хотя обе стюардессы метались от носа к хвосту, пытаясь усадить в кресла ополоумевших пассажиров, им это плохо удавалось.

— We are done for!¹ — выкрикнули в хвосте, и тут же — звук падающего тела. Соседка наклонилась, чтобы выглянуть в проход.

— Там лежит женщина... — пролепетала Тереза, бледная, как чехол на кресле. Если бы она встала, то, наверное, тоже грохнулась бы в обморок, так что лекарства, вытащенные из сумочки дрожащими руками, оказались кстати. А Мятлин остро пожалел, что не заскочил в Duty-free. Обычно он приобретал фляжку Johnnie Walker, на двух- или трехчасовой рейс вполне хватало, но в этот раз решил пораньше пройти в самолет.

— Врач есть?! Среди пассажиров есть медики?!

Одна из стюардесс выкрикивала это срывающимся голосом, чем лишь усилила панику. Из передних рядов поднялся некто в берете и очках, его увлекли туда, где в отключке лежала американка, а может, англичанка, в то время как салон продолжал тревожно пульсировать. Если помыслить трезво, ничего страшного не произошло. Ну покружат над городом, ну выжгут керосин, после чего, обезопасив себя, приземлятся в пункте отправления. Вот если бы

¹ Мы погибнем! (англ.).

шасси не выпустились в пункте прибытия, тогда и впрямь готовься к коллективным похоронам (хотя, бывает, и на брюхо самолет сажают).

Увы, трезво мыслить не получалось. Как и остальные насельники стальной сигары, что кружила в черном небе в трех километрах над матушкой-землей, Мятлин чуял близость гибели, ощущал дыхание смерти и если бы в иллюминаторе показалась каноническая картинка: череп, черный балдахин, коса на плече — он бы не счел это галлюцинацией. «Чем мы провинились?! — вырвался из груди мысленный вопль. — Разве эти люди — плохие?! Они хорошие; у них есть родители, супруги, дети, и лишать их близких — верх несправедливости!» Он не знал, к кому обращен этот глас вопиющего в воздушной пустыне; знал только, что бессилён что-то сделать, значит, должен заменить действие работой воображения.

Оно включилось помимо воли, как бывало в детстве, если очень хотел чего-то избежать. Сейчас он, Евгений Мятлин, а не какой-то Вася Пупкин (объявленные по трансляции имя-фамилия пилота выскочили из памяти) был командиром железной сигары. В этой сверхсложной машине что-то разладилось, но сила мысли была призвана устранить роковую ошибку, тот огрех в хитросплетении проводов и железных конструкций, что вел их в могилу. Гекатомба отменялась, потому что сломавшийся винтик чудесным образом вставал на место, шасси с характерным стуком складывались, и лайнер устремлялся к столице Чехии, чтобы через пару часов осуществить мягкую посадку. Не получается? О'кей, тогда покружим над городом, полюбуемся мириадами огней, темной невьюкой излуциной (где еще такое увидишь?), после чего так же мягко, без малейшего толчка приземлимся на ВПП пулковского аэропорта. Самолет оперативно меняют на другой, пассажирам приносят извинения, возвращая половину стоимости (типа моральные издержки), после чего реализуется сценарий номер один...

Только бездна, что разверзалась буквально в метре-другом под креслом, возражала против воображаемого расклада. Извини, говорила бездна, все будет совершенно иначе. Вместе с другими несчастными, набившимися внутрь этой небесной колымаги, ты грохнешься с высоты Монблана, чтобы твоих костей не нашли. Не хочешь?! Ну извини, сами наклепали летающих колымаг, я тут не виновата! Я нормальная бездна, даю вам возможность попрыгать-поскакать по не лучшему, но все-таки прекрасному миру, дожить до старости и мирно умереть в постели. Так нет же, вы сами спешите в меня провалиться! Прямо норовите ухнуть с концами, разбившись ли на самолете, утонув ли на теплоходе, про статистику автокатастроф я вообще молчу!

Воображение тоже не сдавалось, вытягивая за волосы Мятлина и летевший с ним интернационал. Оно служило бочкой масла, которую он в спешном порядке выливал на разбушевавшийся океан жизни. Или смерти? Привыкший к образам, мятлинский ум судорожно рыскал в поисках аналогий — тут и держащий небо Атлант всплыл (ни к селу, ни к городу вроде бы), и Давид, выходящий на бой с Голиафом. В роли Давида, понятно, выступала придуманная история с хорошим концом, в роли его противника — безликое мрачное нечто, грозившее стереть в пыль пару сотен человеческих существ. Вот только результат боя пока неясен: попадет камень в башку Голиафа, не попадет — одному богу известно.

Воспоминание о боге (Боге?), не раз обсмеянном агностиком Мятлиным,

тут же обернулось волной покаяния. Зря насмешничал, вот божья кара за дерзость твою! Он даже был готов перекреститься, но отвлек полноватый пассажир, сидевший через проход.

— Эй, мужик! Коньяк будешь?

— Что?! — вздрогнул Мятлин.

— Вижу, тебе не очень... Выпей, полегчает.

Пассажир протягивал поллитровую бутылку. Сдерживая дрожь в руке (я же мужчина!), Мятлин с благодарностью принял подношение. Борясь с желанием тут же отхлебнуть половину содержимого, он великодушно протянул бутылку даме, похоже, впавшей в ступор.

— Декуйю... — она прокашлялась. — Это для меня крепко...

Лишь тогда с чистой совестью он залпом влил в себя грамм сто пятьдесят лекарства от аэрофобии, да и от фобии перед жизнью, если на то пошло.

Дальнейшее помнилось смутно: откачав упавшую в обморок, стюардессы вдруг засуетились, замельтешили, по проходу поехали каталки с закусками и вином, которое разливали, не экономя, лишь бы успокоить обреченных. Мятлин заполировал коньяк бутылкой сухого, с облегчением влившись в общую вакханалию бесконтрольного жрания и неумеренного питья. В другой раз он бы, по обыкновению, отстранился от стада, приникшего к дармовой кормушке, еще бы и поязвил на сей счет, но инстинкт выживания победил, превратив на время записного интеллектуала в частичку общей биомассы. Потом была долгожданная посадка, шатание в предполетной зоне «Пулкова-2», несколько рюмок в баре, перепившаяся пассажирка, снятая с рейса полицией и, наконец, другой самолет, благополучно поднявшийся на высоту десять тысяч метров и устремившийся в юго-западном направлении.

Из второго рейса, где тоже кормили-поили на убой, надо полагать, компенсируя моральные издержки, запомнился лишь бэйджик на лацкане стюардессы. Принимая очередной бокал, Мятлин зацепился взглядом за имя на пластиковой карточке: Лариса. Фамилию он читать не стал, чтобы не нарушать правил очередной игры воображения. Нетрезвый ум, нерезкий взгляд, и вот уже по проходу шагает она, благо фигурка у воздушной служительницы была такая же точеная, да и походка напоминала балетную, когда ногу выносят вперед, немного выворачивая носок. Выработанная в далеком детстве походка сохранилась у Ларисы до самой...

Ни до какой «самой»! Не было смерти, во всяком случае, он не видел ее мертвой, гроб был закрытый, а значит, она вполне могла сменить род занятий, наплевав на тайны жизни и уйдя обслуживать международные рейсы. А что? Вполне в духе времени, вояжи в зарубежье выгодны, а мир сейчас построен именно на выгоде.

— Вот ты чем занимаешься... — грустно усмехнулся бы Мятлин. — Значит, бросила биологию? Похерила генетику, забила на клеточные процессы...

— Похерила! — ответила бы та хлестко (характер — не род занятий, не сменишь просто так). — И забила. А ты недоволен? Брось, какие, к черту, тайны жизни? Ты же видел совсем недавно чавкающее стадо, что летело с тобой и заедало страх смерти халявной выпивкой и едой! Вот и вся тайна — ларчик, то есть, просто открывается...

— А помнишь, я называл тебя — Ларчик? И говорил, что ты, Ларчик, открываешься неп просто...

— Опять играешь словами? Ну-ну. А насчет просто или не просто... Ты и не пробовал открывать.

— Как это? Я думаю...

— По-настоящему не пробовал. И твой вечный антагонист тоже не особо старался. Вы больше занимались собой, пыхтели, как два быка, стоящие друг напротив друга... А на меня вам было, по большому счету, наплевать!

— Нет-нет, начнем сначала! — мысленно замахал руками Мятлин. Это, в конце концов, его игра воображения, значит, и правила игры устанавливает он. Да и вообще это неправда! Он очень хотел открыть *ларчик*, а если не удалось подобрать ключик, тут не вина его, а беда...

— Лариса... — прочел он вслух шестибуквенную комбинацию на бэйджике.

— Что вам, пассажир? — остановилась обладательница имени.

— А голос другой... — пробормотал Мятлин.

— Чей голос?

— Неважно...

Он взял стюардессу за руку.

— И рука другая — холодная. Все другое!

— Да что с вами, пассажир?! — вырвала та руку. — Не надо вам больше пить!

И пошла по проходу, если приглядеться, совсем не балетной походкой.

В очереди на паспортном контроле он наблюдал усталые серые лица тех, «кто выжил в катаклизме». Впереди оказалась Тереза, сказавшая, что после этой ночи просто валится с ног. И добавила:

— Это Кафка какой-то... Знаете, кстати, что в Праге жил Кафка?

Мятлин усмехнулся.

— Знаю. Я прилетел на конференцию по его творчеству.

Первой обо всем узнала Жаки, выскочившая из включенного ноутбука, как черт из табакерки. Поселившись в апартаментах (Мятлин выбрал вариант с доплатой, чтобы не толкаться среди коллег в гостинице), он подключился к Wi-Fi и ушел в душ. Когда же вернулся, обнаружил тревожно мигавший значок, означавший получение послания.

«Ужжос, ужжос, ужжос! Чуть не расфигачился на своем самолете, и молчит!»

Скорее всего, Жаки выудила новость о самолете из Интернета. Мятлин отстучал ответ:

«Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас!»

«Ржешь?! Это несмешно!»

«Не смешно — пишется отдельно».

«Пищецца», — встречно поправила Жаки, любившая *олбанский* извод русского языка. Мятлин тоже мог бы перейти на эту новомодную хрень (дурное дело — не хитрое), однако филологическое достоинство не позволяло падать столь низко.

«Ладно, что хочешь узнать?»

«Не напрудил ли ты в штаны? Если с такой высоты шмякнуцца — по клочкам будут собирать!»

«Сейчас кажется, что нет. Хотя... Жутковато было, конечно».

«Еще бы!»

«Но там было много людей. А скопом, как известно, помирать не страшно».

«Не факт. Помирать всегда не кайф».

«Я, собственно, и не собирался этого делать. Что-то подсказывало: все будет хорошо».

«Все будет хорошо — фуфлыжная истина для нажористых обывателей. А ты вроде как философ?»

«Вроде как. Но все равно изрядно выпил, пока кружили в воздухе».

«Еще бы!»

«Короче, ты хочешь знать правду?»

«А ты сразу не понял? Правду, правду и только правду! Колись, философ!!!»

Он колебался недолго, взявшись лихорадочно стучать по клавиатуре, благо подробности были живы, выпуклы и требовали немедленного воплощения. Текст никак не правился, он тут же выбрасывался в сетевое пространство. Хотя еще удивительнее было то, что участники переписки были друг с другом абсолютно незнакомы — визуально, во всяком случае. На страничке Live Journal перед носом Мятлина красовалось фото улыбающейся Жаклин Кеннеди; но кто скрывался за изображением, Мятлин понятия не имел.

Он тоже представлял в чуждом образе, возникая пред очами Жаки в виде памятника Аристотелю. Он сам сделал это фото, когда был на конференции в Салониках, поймав в кадр сияние большого пальца левой ноги, отполированного прикосновениями тех, кто жаждал приобщиться к мудрости великого старца. Потому его и называли философом; он же предпочитал называть корреспондентку: Жаки. Какая разница, если общаются в личке? Мятлин вообще никакой реальной информации о себе не выкладывал и под маской Стагирита мог предаться таким откровениям, каких не позволял себе даже с закадычными собутыльниками.

«Аффтор, быстрее бей по клави!» — возникла реплика в окошке обмена. Мятлин быстренько закончил фрагмент (объемный, надо сказать!) и кликнул на «Отправить». Ответа ждал долго, уже самому захотелось поторопить визави, и тут опять выскочила россыпь буковок. Жаки вволю поглумилась над америкосами, что возвращаются через Прагу на бюджетных рейсах, а потом грохаются в обморок! И Терезе досталось, лишь хозяин бутылки коньяка получил однозначное одобрение.

«Правильный чел. Мог бы в одно жало высосать, а дал другим расслабицца!»

«Согласен. Жалко, я забыл имя спросить».

«Патмушта напрудил в штаны!»

«Да нормально у меня было со штанами...»

«Напрудил, напрудил, напрудил!»

Но самый большой интерес вызвала история про бэйджик с именем Лариса. Мол, столько вдруг вспомнилось, перед глазами поплыли картины, — и Жаки этой щелкой в святая святых тут же воспользовалась.

«Хочу исчо про Ларису!»

«Что значит — исчо?!»

«Кто она, как выглядит, какой была любовницей. Мы ж договаривались писать по чесноку!»

Мятлин притормозил. Ему очень хотелось написать про Ларису — подробно, с тончайшими деталями, однако что-то сдерживало. Не стыд перед Жаки, довольно бесстыжей и до неприличия откровенной (за что и ценил). Мятлин берег этот материал для другого, он собирал его по крупницам, как

скупой рыцарь свои сокровища, и вываливать содержимое сундука вот так, в никуда — совсем не хотел.

«Я тебе позже об этом напишу».

«Хочу сейчас!»

«Извини — позже!»

Последовала череда издевательских смайликов, но вскоре Жаки сменила гнев на милость, попросив описать законный пейзаж. Это была ее привычка — узнав об очередном перемещении Мятлина, она всегда просила описать то, что виделось из окна.

«У меня за окном Вышгород. И Карлов мост».

«А подробнее?»

«Это один из самых красивых видов в мире!»

«Подробнее!»

На следующие минут двадцать Мятлин сделался пейзажистом, которому дали задание описать видимую картину вербально. Закончив (по ходу работы «аффтора» постоянно теребили и подстегивали), он утер пот со лба и в очередной раз отправил послание. «Прям Гоголь!» — одобрили усилия. После чего неожиданно задали вопрос насчет воображаемой истории, которая может менять ход событий. Он действительно в это верит? Или прикалывается?

«Я прикалываюсь».

«Нет, ты веришь в эту фигню! А почему? Неужели ты считаешь, что спас самолет?!»

Помогла ли в этот раз его выдуманная история, Мятлин не знал. У него с детства осталась привычка включать в критических ситуациях воображение, каковое могло, по идее, горы сдвигать. Но с определенного момента одновременно включался тормоз, и связан он был вовсе не со смертью блатного вожака, предсказанной (запрограммированной?) Мятлиным. Зема — человеческий мусор, годом раньше или позже он все равно отправился бы в мир иной, такова железная логика судьбы. Тут же было нечто другое, некая боязнь вкупе со стыдом и чувством вины; связывалось это, опять же, с Ларисой, а тут существовали информационные табу.

«Я очень хотел спасти самолет, — написал он после паузы. — Но в первую очередь хотел выжить сам»

«Вот! Свою задницу спасал! За честность — пять баллов!»

Однако пора было в музей Кафки, на другой берег Влтавы...

2.

На конференции Мятлин сделался «ньюсмейкером» — происшествие попало в новости на TV, и его участник автоматически стал центром внимания. Транслируя в очередной раз историю, Мятлин умалчивал о животном страхе, не отпуская вплоть до посадки: в его изложении эпизод выглядел даже комично, а сам он был остроумен и находчив (если и напугался, то самую малость). И ему верили; и опять он убеждался в том, что событие и его версия — очень разные вещи.

Общаясь, он отмечал тех, с кем можно нескучно провести время за кружечкой пива. Среди новых лиц была отмечена Дарья Кладезь: вначале в программе (глаз зацепился за фамилию), затем во время знакомства. Дарья не

покоряла эффектной внешностью, но была вполне миловидна. Не фонтанировала островами и репликами, зато общения не чуралась. Золотая середина, что и было нужно: яркая внешность или острый ум отпугивали, он интуитивно шарахался от таких женщин, потому что — водоворот, омут, засосать может, а оно ему надо?

Приехавшая из Берлина Дарья докладывала в первый день. Она перевела для какого-то русского издательства несколько глав биографии Кафки, одну из них, посвященную отношению писателя к институту брака, и подвергла анализу. По ее словам, писатель благоговел перед этим институтом, хотел быть и мужем, и отцом, что однозначно доказывает рассказ «Одиннадцать сыновей». Однако в жизни ему не довелось сделаться ни тем, ни другим, помолвка с Фелицией, как известно, закончилась быстрым разрывом, после чего последовали роман «Процесс» и рассказ «В исправительной колонии», где однозначно прослеживаются мотивы самонаказания. Автор вроде как бичует себя за нерешительность, неуверенность, неумение дать любимой счастье, что косвенно подтверждает версию о мазохистских наклонностях.

Полемике по поводу мазохизма развернуться не дали — регламент не позволял. Тему удалось развить на фуршете, где выставили вино, пиво и местные кнедлики. Мятлин аккуратно оттеснил Дарью в уголок, для начала обыграв фамилию, дескать, вы просто *кладезь* бесценной информации. И хотя фамилия оказалась от мужа, пыл не охладелся. Как показал более тщательный обзор, других претенденток на легкий романчик не было, а без одного поезда — не поезда, так, болтология вкупе с головной болью от пьянок.

— Что же главное в этом феномене: мазохизм или гениальность? Где курица, а где яйцо? Или, может, эти два качества органично уживались в Кафке?

Мятлин бомбардировал ее вопросами, Дарья же посмеиваясь, пригубливая вино. Насчет курицы и яйца она не знает, а вот место в Берлине, где произошла помолвка Франца с Фелицией Брауэр — знает. И бывший отель Askaniischen Hof, где спустя несколько месяцев случился разрыв, тоже знает, даже может это место показать.

— Приедете в Берлин — покажу!

— Приехать в Берлин... — Мятлин сделал вид, что задумался. — А как же муж с такой звучной фамилией?

— Как говорят у вас в России — обьелся груш. Мы развелись пять лет назад.

В тот момент и возникла уверенность, что все состоится. Если женщина столь легко говорит (а призналась она без малейшего намека на переживание) о разрыве с мужчиной, то она не только свободна — она хочет сближения. Потом была прогулка по вечернему Вышгороду, открытое кафе с видом на Влтаву, одним словом, романтик, который не стоило тут же опошлять постельными делами. Проводив Дарью до отеля, расположенного в Градчанах, Мятлин вернулся в свои апартаменты в Старе Место и тут же завалился спать.

На второй день звучал его доклад о Новом Замке. При всем величии Кафки его сумрачный гений не мог предвидеть появления этого Замка — невидимого и в то же время существующего. Это виртуальный Замок, размытый по поверхности планеты, бегущий по проводам, пронзающий эфир, и имя ему — Мировая паутина. Вы не можете обнаружить хозяина Замка, как не было его и в знаменитом романе. Всплывающие на поверхность Цукербергеры, Касперские и прочие Биллы Гейтсы не в счет, это господа Кламмы, лишь намекающие на

принадлежность к власти, но не олицетворяющие ее. Кто же тогда олицетворяет власть? Кто двигает рычагами? Как ни странно, никто, а если точнее, двигает *нечто*. Этот Замок создали люди, однако то, что в итоге получилось, имеет нечеловеческую природу, что развязывает руки нынешним романистам. Такой жанр, как киберпанк, родился из предощущения тотальной механизации, из предчувствия заката биологического человека. «Матрица» в каком-то смысле выросла из Кафки, хотя ни автор книги, ни братья Вачовски, сделавшие на ее основе популярный кинопродукт, похоже, этого не осознавали...

Месседж вызвал оживление в зале, кто-то даже заплотировал, однако обсуждение столь экстравагантной, по выражению ведущего, точки зрения было предложено перенести в кулуары.

Усевшись на место, Мятлин выкрутил регулятор громкости наушников, в которых бубнил синхронист, и погрузился в благодатную тишину. По счастью, в зале работал Wi-Fi, он подключился к Сети, чтобы обнаружить мигающую иконку: хочу общения! Открыв страничку, увидел скорбное лицо Жаклин Кеннеди. Похоже, это было фото после убийства супруга-президента (а может, после кончины супруга-миллиардера), то есть Жаки демонстрировала, что не в духе.

«Ты хде?»

«На рабочем заседании».

«А почему молчишь?»

«Так со мной все в порядке».

«Неинтересно — когда в порядке».

«Тебе опять нужен аварийный самолет?!»

«Нужен! Чтоб он загорелся, потом упал, но чтоб ты при этом остался жив».

«А остальные?»

«По барабану остальные, я их не знаю».

«А меня знаешь? Ты же меня никогда не видела».

«Зато я тебя чувствую. Даже догадываюсь о твоих желаниях».

«Да что ты говоришь!»

«Ты наверняка хочешь кого-нибудь трахнуть. Хочешь ведь?!»

«Ну, даешь!»

«Точно хочешь! И есть кого? Там же стопудово одни старые вешалки!»

Мятлин бросил взгляд влево, чтобы увидеть в конце ряда точеный профиль Дарьи. С такого ракурса она выглядела более выигрышно: анфас лицо было грубовато, а тут даже дурацкие черные наушники ее не портили.

«Не все вешалки, есть помоложе».

«Тогда флаг в руки, философ! Плюнь на скуотищу своего заседания, тащи в койку ту, что нравицца!»

Сетевая подружка всегда была, по ее собственному выражению, *отморозенной*, но тут был важен контекст. Если бы почтенные ученые мужи узнали о содержании переписки, в зале раздался бы возмущенный гул, и на пяти языках (конференция была международной) прозвучало бы единогласное: «Вон!! Изгнать нарушителя конвенции!» Да и Кладезь вряд ли одобрила бы такие вольности...

Когда Мятлин еще раз посмотрел на Дарью, то обнаружил встречный взгляд. Ее губы тронула усмешка, после чего, отвернувшись, она обратила глаза

к сцене. «А может, и одобрила бы, — подумалось. — Сама ведь тоже думает, наверное, не о докладах...»

Спустя полчаса выяснилось, что она поддерживает его особую позицию. Фигурант их исследований, в конце концов, тоже стоял наособицу, лишь после смерти сделавшись классиком, а при жизни был изгоем!

Об этом и многом другом говорили, гуляя по старой Праге.

— И Ян Гус занимал особую позицию, верно? — говорил он, стоя перед памятником в центре Староместской площади. — Хотя, говорят, тут не только его — еще кучу народу сожгли?

— Да, в 17-м веке здесь казнили 27 знатных протестантов.

— Тоже за особую позицию?

— Можно сказать и так. Вот эти белые кресты на брусчатке нарисовали в память о них.

— 27 знатных протестантов... — Мятлин внезапно засмеялся. — Почти как 26 бакинских комиссаров!

— Бакинские комиссары? — удивилась Дарья. — Кто это?

Он вскинул брови.

— Мы филонили уроки истории?!

— Просто я эмигрировала еще в детском возрасте. И школьные уроки забылись, как страшный сон.

— Это хуже, чем страшный сон. Это Кафка какой-то!

Вспомнив скандал с завучем, он поведал о том, как едва не был изгнан из школы из-за невинной, можно сказать, реплики. Анекдот рассмешил Дарью, и он выдал следом еще несколько баек, закрепляя успех.

Часы на площади смотрели, уже обнявшись. В окошке проплывали фигурки апостолов, крутил головой турок, дергал за веревочку скелет, Мятлин же скользил рукой по женской пояснице, опускаясь все ниже. Дождавшись финального петушиного крика, они нырнули в переулок, чтобы вскоре оказаться перед домом у Карлова моста, где на третьем этаже замечательная двухкомнатная квартира с шикарным видом из окна.

Дарья оказалась старательной. Пройдя через немалое количество партнерш, Мятлин научился разделять их на а) никаких, б) старательных, в) отдающихся по вдохновению. Первых, по счастью, в его практике насчитывалось немного, но и третьих, к сожалению, по пальцам можно было перечесть. Основной контингент случайных или долговременных постельных связей отмечался добросовестным исполнением *обязательной* программы, на *произвольную*, увы, у большинства пороку не хватало. После вроде как страстных объятий и содроганий полагалось выразить дежурное восхищение процессом (хорошо было, правда?), однако без вдохновения блюдо оказывалось пресным, недосоленным, что ли, и возникал вопрос: как часто понадобится его употреблять? До финала их болтологии оставалось еще три дня и, соответственно, три ночи, что вполне можно было выдержать (хотя в Берлин — если бы пригласили — он вряд ли бы поехал).

— Говорят, ты чуть не разбился, когда сюда летел? — внезапно спросила Дарья.

— Такой финал не исключался.

— Страшно было?

Мятлин сделал вид, что задумался.

— Экзистенциальные моменты, — раздумчиво проговорил он, — отмечают-ся целой гаммой чувств. Причем довольно противоречивых.

Дарья рассмеялась.

— Ты не на конференции! Я задала простой вопрос: было страшно?

Но Мятлин опять вывернулся, уведя разговор в сторону.

Он сам удивлялся тому, что с живым человеком не смог перешагнуть порог откровенности, а вот с виртуальной Жаки — перешагивал без проблем! По ходу утреннего сеанса связи давешняя партнерша оказалась разложена по полочкам, просвечена рентгеном, после чего с биркой на шее была отпущена на свободу (пока). Визави подстегивала («Аффтор жжот!», «Хочу исчо!»), и он не жалел «клаву», стуча по ней, как дятел. В этом исторжении из себя слов было что-то неприличное, грязное и одновременно до жути притягательное; а причина подобной «гаммы чувств» крылась в пластиковом ящичке с экраном и клавиатурой. Ящичек был подлинным *кладезем*, он представлялся волшебной шкатулкой, таящей в себе невиданные возможности...

В последующие два дня Мятлина не оставляло ощущение необязательности, если не сказать — бессмысленности происходящего. Выходящие на трибуну довольно сухо и рационально препарировали чувства и намерения того, кто гулял по жизни с содранной кожей; они копались в исподнем пражского невротика, принимались, развешивали белье на веревочках, приклеивали бирочки, не забывая отмечать: он был великий писатель. А вот если бы рядом не оказалось Макса Брода, тогда как? Сжег бы закомплексованный гений свое наследие («Аффтор жжот!»), и не было бы никакого великого Кафки! И бесчисленных диссертаций не было бы; и конференций, куда приглашают на халяву болтологов-филологов со всего мира; и грантов.

Эта категория научных людей напоминала персонажа, увековеченного в пражском памятнике писателю. Некто в шляпе и с вытянутым вперед пальцем (подразумевалось, что это Кафка) восседал на ожившем костюме. Костюм вроде как облегал чье-то тело, но головы не было, руки тоже отсутствовали, и создавалось впечатление, что внутри — пустота. Вот и они вроде как оседлали пустоту, изымая из нее, впрочем, вполне ощутимые дивиденды.

Может, потому и вспоминалась Лариса? В последнее время та начала все чаще оживать в памяти: занимала мысли, влезала в сновидения, и поделаться с этим Мятлин ничего не мог. Очередной глюк догнал на Карловом мосту, когда вместе с Дарьей слушал музыкантов. Репертуар предлагался на любой вкус, от джаза до Баха, а уровень исполнителей явно говорил о наличии консерваторского диплома. Неожиданно в поле зрения возник силуэт молодой женщины в белом брючном костюме. Балетная «кичка», покатые плечи, стройные ноги... И ведь не был пьян, как в самолете, а устремился следом; музыка сделалась тише, а толпа, заполнявшая мост, будто превратилась в тени.

— Эй, ты куда?!

Окрик Дарьи заставил обернуться.

— Здесь чардаш!

— Кто?!

— Не кто, а что! Венгры замечательно чардаш играют!

— А-а... Очень интересно.

Он проводил глазами силуэт. На время морок оставил, чтобы догнать в ночные часы: он тискал и мял женское тело, через осязание пытаясь оживить в

памяти ту, что являла собой одно лишь вдохновение. С ним такое случалось, спустя пару лет после трагедии Мятлин даже закрутил с одной из приятельниц Ларисы из института цитологии. Та и не догадывалась, что была лишь ступенькой, что призвана приблизить к другой женщине — лишь удивлялась тому, что партнер всегда выключал свет, да еще и шторы задергивал. В темноте можно было отпустить воображение на волю, создать химеру и самому же в нее поверить. И пусть получалось не очень (оригинал не заменишь бледной копией), он время от времени повторял эксперимент...

Эксперимент закончился неудачей: он так и не догнал ту, чей образ им завладел. Не высший класс оказалось воображение, Мятлин — не Кафка, что Дарья почувствовала.

— Ты где-то далеко, — сказала, откинувшись после ласк, что ничем не закончились.

— Я близко, — вяло возразил он. — Протяни руку — и достанешь.

— Думаешь? А вдруг...

Дарья выдержала паузу.

— Что — вдруг?

— Вдруг я протяну руку — и наткнусь на пустоту?

Неожиданная реплика сбила с толку. Почему-то подумалось: хорошо, что в номере темно. Его физиономию (он буквально чувствовал это) свела судорога — то ли от страха, то ли от стыда, а такую мимическую игру посторонним лучше не видеть. Он ведь и сам иногда чувствовал внутри леденящий вакуум, будто из него вынули не только душевную субстанцию, но и всю требуху: легкие, печеньку, сердце... В такие минуты он являл собой тот самый оживший костюм, когда реален лишь силуэт, а наличие чего-то внутри — под большим вопросом.

Расставались с прохладцей. Мятлин искоса поглядывал на часы внизу большого электронного табло и ждал, пока Дарья поставит ногу на ступеньку автобуса «Прага—Берлин». Она же не спешила ставить, вспоминала прошедшие дни, смеялась (натянута), а финальный поцелуй смазала, чмокнув Мятлина куда-то в шею.

— Пиши мне на e-mail, — сказала, хотя до этого просила звонить. Мятлин послушно кивнул, подумав, что e-mail лучше, потому что безличнее. Голос выдает, да и разговор обрывать не всегда удобно, а цепочку значков на экране ты можешь оборвать в любой момент.

Вылет опять был ночной, оставалась уйма времени, и он решил убить его привычным способом. Жаки наверняка изнывала от тоски, потому что ее философ коварным образом исчез из поля зрения. А нечего давать дурацкие советы! Флаг в руки! Тащи в койку! Обо всем этом Мятлин планировал написать с блеском, с иронией и, естественно, предельно откровенно. Тут-то вдохновения хватало; а если еще бутылку «Бехеровки» поставить рядом с ноутбуком...

Внутри что-то щелкнуло, когда готовился отослать первый пассаж. Мятлин наставил курсор на «Отправить», приготовился кликнуть, но внезапно сдвинул мышку в сторону. Налил в рюмку зеленой пахучей жидкости, выпил — и опять отправка не состоялась. Ужас вползал в него медленно: захватил ноги, поднялся к животу, сдавил сердце. С чего он, собственно, взял, что Жаки — это милашка со средним интеллектом, каковой можно безбоязненно сливать то, что течет по трубам внутренней канализации? Она может быть кем угодно, даже особью мужского пола! Хуже всего — если особью из числа врагов; но ведь и «друзья»

могли покуражиться над Мятлиным, который всегда был себе на уме и с *Urbi et Orbi* общался, как правило, иронически. Ату записного ирониста! Залезем ему в штаны, вытащим тайные мыслишки и порочные желания, благо он сам их предоставит на блюдечке с голубой каемочкой!

Он опять не мог мыслить здраво, как и в самолете. Теперь обуял страх перед черным ящичком с экраном — в нем могла храниться бомба, способная напроць уничтожить его реноме и растоптать репутацию (какая-никакая, но она таки была!). «Ящичек Пандоры...» — подумал Мятлин и еще раз налил «Бехеровки». Местный ликер, однако, не успокоил, с каждой последующей рюмкой страх охватывал все сильнее. Эти ящички только с виду ручные, на самом деле их наполнение загадочно, и на что способна эта клятая мировая паутина — одному богу (точнее, черту!) известно...

На экране в рамочке красовалась традиционная реплика: «Ты хде?» Только Жаки осталась без ответа. Выключив компьютер осторожно, будто в нем и впрямь гнездилась «адская машина», Мятлин взялся собирать вещи. Дух Кафки взял в плен и не собирався отпускать. Мятлин с подозрением приглядывался к таксисту, что вез в аэропорт, будто этот молчаливый чех мог залезть в его мозг, чтобы провести инвентаризацию мыслей. И в аэропорту, протягивая паспорт на регистрацию, он боялся, что доброжелательная служащая авиакomпании, окинув его пронизательным взглядом, громогласно заявит: «Позор Евгению Мятлину! В черный список его, не пустим больше этого монстра в Шенгенскую зону!»

Добив «Бехеровку» еще в номере, он не забыл про Johnnie Walkera, так что перелет почти не помнил. Дух ожил дома, когда, ввалившись в три часа ночи в квартиру, он плюхнулся на диван и, не раздеваясь, отключился.

В том кошмаре за ним, как за его тезкой из знаменитой поэмы, гонялся оживший памятник. Только не кумир на бронзовом коне, а Кафка верхом на костюме. Он гонял бедолагу по безлюдной Староместской площади, и напрасны были взывания к медному Яну Гусу, равно как и к 27 погибшим протестантам — памятники, похоже, сговорились. Метнувшись к часам с движущимися фигурами апостолов, он обратил взор вверх.

— Защитите! — возопил. — Это ж прямая ваша обязанность — защищать невинных от нечисти!

Движение фигур остановилось, даже скелет повернул череп в его сторону, а турок перестал качать головой.

— Это кто невинный?! — раздался сверху голос апостола Петра. — Ты, что ли?! Ну, насмешил! Ты виновен!

Остальные фигуры закивали головами, мол, виновен, а как же! А скелет проскрежетал:

— Если виновен, начинайте процесс!

— Эй, какой еще процесс?! — вскрикнул растерявшийся Мятлин.

— Тот самый... — плотоядно усмехнулся турок. — Только подсудимого будут звать не К., а М. За что его будут судить? Это неважно, важно — что М. виновен!

Памятник между тем приблизился вплотную, и Мятлин наконец разглядел, что наверху сидит Дарья Кладезь, а оживший костюм — не кто иной, как Жаки. Именно такой, безликой и жуткой, и должна быть госпожа инкогнито, а тогда ничего хорошего ждать не приходится...

Он побежал дальше, пытаясь скрыться в переулках, но за спиной по-

прежнему слышалась звенящая поступь памятника. Не уйти! Выскочив на Карлов мост, он услышал зажигательный чардаш, что играли венгры, взялся было плясать (зачем, спрашивается?!), а памятник уже тут! Значит, надо на другой берег, потом ступеньки Вышгорода, еще ступеньки, и вот уже какой-то Замок (не тот ли?), куда он вбежал в последней попытке скрыться от монстра.

Большой зал Замка оказался заполнен людьми. Приглядевшись, он узнал в них участников конференции, на которой недавно выступал. Когда памятник ввалился следом, Кладезь ловко соскочила с костюма и устремилась к трибуне.

— Обвиняемый доставлен!

Проговорив это, она подняла колокольчик и трижды в него позвонила.

— Теперь начинаем процесс! Где первый свидетель обвинения?

Оставшийся в дверях костюм поднял рукав, мол, я!

— Очень хорошо. Кому, как не вам, уважаемая Жаки, знать всю подноготную М.? Сам все выложил, трепач сетевой... Еще кто?

Когда в дальнем ряду поднялась мужская фигура, Мятлин с удивлением узнал старого (ну очень старого!) знакомого. Что здесь делает Самоделкин?! То есть Рогов?!

— Я протестую! — вскинул он руки. — Никакой он не свидетель! Он тоже обвиняемый, если на то пошло!

— Ну, это не вам решать, ху из ху. У нас ведь еще один свидетель найдется. Точнее, свидетельница.

Дарья всмотрелась в зал.

— Свидетельница, вы здесь?

— Здесь! — ответил голос, который Мятлин узнал бы из тысячи. А потом повторилось то самое: балетная кичка, покатые плечи, стройные ноги, только теперь никакой ошибки не могло быть. Когда она выходила к трибуне, сердце упало вниз, выкатившись из Мятлина, будто яйцо, прямо на каменный пол.

— Обвиняемый, — строго проговорила Дарья, — вы потеряли сердце!

— А оно ему не надо! — влез (влезла?) костюм-Жаки. — Раньше нужно было о нем думать!

Лариса двигалась к трибуне, а Мятлин чувствовал, как жизненные силы покидают его — нужно сердце или нет, а жизнь без него останавливается. «Не успеют...» — подумал он, падая на пол...

3.

Погружение в прошлое начиналось со дня похорон, служивших своеобразным рубежом: до того была одна жизнь, после — другая. Именно похороны врезались в память, а не известие о гибели в страшной катастрофе под Уфой, когда в низине сошлись два состава, и скопившийся там газ превратился в огненный смерч, за несколько секунд унесший сотни жизней. То было событие мирового масштаба (такая гекатомба!), и дикторы СМИ вещали об этом несколько дней. Ему же запомнилось не трехзначное число жертв — запомнился лакированный гроб, мать в черном и совершенно седой отец, вдруг возникший на похоронах. Светлана Никитична не могла скрыть застарелой ненависти к тому, с кем давно рассталась. Она не дала ему сказать слово у гроба, а когда отец задержался на могиле, скомандовала водителю: едем на поминки! Растерянная физиономия этого высокого породистого мужчины тоже запомнилась: в расстег-

нутом пальто, он стоял по щиколотку в снегу, провожал глазами автобус, и холодный ветер трепал седые волосы...

Загадка заключалась в том, что воспоминание не умерло, хотя по закону жанра под названием «жизнь» должно было погрузиться в пучину повседневности и благополучно забыться. От той жизни отделяла целая эпоха, вместившая десятки новых знакомых, два брака, несколько мест работы, множество поездок — уйму всего! А поди ж ты, бывшая привязанность оживала в памяти все отчетливее, даже сказочная Прага не усмирила воспоминания.

Почему-то запомнилось ощущение сиротства, что внезапно накрыло после поминок. Знакомая до мельчайших подробностей квартира со шторами-маркизами, натюрмортами на стенах, хрусталем в стенке — вдруг начала растворяться в воздухе, исчезать, ведь даже если он появится здесь на девять дней, на годовщину, прежней атмосферы не застанет. Не будет их разговоров, ее фирменного кофе со сливками, телевизора, куда утыкались оба, если вспыхивала ссора... На Чайковского не было безоблачно, но сюда тянуло, и не одного Мятлина. Только теперь делить нечего, а значит, *тень* тоже вряд ли объявится. Он тогда вышел на балкон, где обычно курил, дожидаясь ее реплики «чего застрял?» — а потом упорно совал в рот одну сигарету за другой в ожидании, что свершится чудо, и реплика прозвучит опять.

Воображение служило противовесом жуткому «ничто», которое вползало в душу, вымораживая внутренности и перешибая хмель. Порой думалось: может, она не погибла? Тела он не видел, хоронили в закрытом гробу, и мать могла имитировать похороны, чтобы избавить дочь от тягостной двусмысленности, в коей та пребывала. Он не раз слышал от Светланы Никитичны: «Буриданова ослица» — намек на невозможность выбора, что было чревато отсутствием нормальной семьи, детей и т.п. А тогда на что угодно пойдешь, чтобы вытащить кровинушку из болота, куда та угодила в юном возрасте, а с годами увязла еще сильнее. И хотя фантазия была кощунственной, становилось легче, «ничто» отступало, и ледышка внутри начинала оттаивать...

Не так часто они встречались (слава богу!), в основном дуэль проходила заочно или вообще в шпионском варианте, как это было в столице советской Эстонии. Мятлин никогда в жизни не помчался бы туда, где по улицам города-стилизации разгуливают Рогов с Ларисой — это было бы унижением. Но она сама позвонила, мол, вечером еду в Таллин.

— А мне зачем сообщать?

Во время повисшей паузы показалось, что Лариса на том конце провода мучительно усмехается.

— Думала, тебе тоже захочется. Надо же когда-то ставить точки над i.

Фактически его приглашали, потому и рванул на вокзал, схватив в кассе едва ли не последний билет.

Он представлял себя кем угодно — от графа Монте-Кристо до Ивана Карамазова, но Джеймсом Бондом стал впервые. На нем был черный кожаный плащ, длинный шарф, голову украшала шляпа-стетсон (настоящий шпионский прикид). А с учетом местного колорита нетрудно было вообразить себя где-нибудь в Швейцарии, исполняющим секретную миссию. В крошечном историческом центре найти Ларису с Роговым не составило труда. Надвинув шляпу на глаза, он мог пройти мимо, кося глазом на парочку, или встать на другой стороне улицы, чтобы курить и исподволь наблюдать, как они сидят в кафе. Чувствуя

его присутствие, Лариса нервно озиралась, этот же простофиля ни сном ни духом не догадывался, что каждый их шаг под надзором. Случалось, Мятлин шел им навстречу, зарыв нос в шарф, а на глаза надвинув шляпу, грубо задевал соперника плечом, чтобы услышать в спину: «Поаккуратнее можно?!» Он не оборачивался, удаляясь по заполненной праздным людом улице, чтобы спустя час в зале кирхи Нигулисте, на органном концерте сесть на два ряда сзади и сверлить взглядом затылок Ларисы. «Обернись! — приказывал он мысленно. — Немедленно обернись!» В те дни на экраны вышел фильм Либианы Кавани «Ночной портье», и можно было воображать себя героем Дирка Богарда, наблюдавшего на концерте за бывшей возлюбленной, каковая должна с ним сбежать от глупого мужа. Как и в кино, Лариса чувствовала его взгляд, но оборачиваться было неудобно. Потом они двигались к гостинице, и Мятлин двигался следом, чтобы на пороге «Олимпии» быть остановленным швейцаром: есть визитка? Нет? Тогда, «таракой, тосфитанья!» В этот момент в сердце стучал пепел Клааса, и он готов был по пожарной лестнице взобраться на небоскреб, чтобы ввалиться в гнездышко в самый неподходящий момент и обломать любовникам кайф.

В той «бондиане» вообще проглядывало что-то рогожинское: иногда во время слежки (нелепой, если разобраться) хотелось выковырять из старинной мостовой булыжник и, запустив в затылок Рогову, однозначно решить вопрос. То есть рано или поздно терпение должно было лопнуть; и оно таки лопнуло на выставке цветов, где Мятлин выскочил, как цветочный дух, из-за гигантской корзины с хризантемами, чтобы схватить ее за руку и увлечь к запасному выходу. Фильм «Ночной портье» вспомнился еще раз, когда остались на сутки в его гостиничном номере. Зайдя в ванну, Лариса вскрикнула, чтобы вскоре выйти оттуда с обмотанной полотенцем ладонью. Полотенце набухало кровью, но вместо того, чтобы перебинтовать ладонь, Мятлин слизывал кровь языком, а Лариса хохотала, правда, хохот был какой-то жутковатый; потом она повалилась навзничь, и он входил в нее, а кровь стекала на сиреневую гостиничную простыню, и почему-то их это абсолютно не волновало...

Из той эпопеи запомнилось, как выбирали подарок. Мятлину взбрело в голову купить ей что-то на память (подразумевалось: на память о том, как хитроумно он объегорил Рогова). Предлагал сувениры, шмотки местного производства, она же потащила обратно на выставку.

— Вот это подари, — указала на невзрачный цветок.

— А что это?

— Орхидея-фаленопсис.

— Может, лучше розы?

— Нет, мне нужно это. Купишь?

Подарив орхидею, он собрался провожать ее на вокзал, но по дороге Лариса исчезла. И хотя разыскать ее было нетрудно, он не стал этого делать — уехал в Питер. Победное чувство испарилось, поездка представлялась чудовищной глупостью, а сам он выглядел полным идиотом.

Остальная жизнь тоже вспоминалась порой, пусть и не так остро. Вспоминался университет, лекции любимых профессоров, всячески поощрявших молодого филолога, что жадно осваивал материк под названием «мировая литература». Если Мятлин чего-то не читал, он расшибался в доску, чтобы достать неизданную или паритетную книжку. За что получил прозвище «Женька-

энциклопедист». Он читал то, с чем и профессора не всегда были знакомы. А если и были, то помалкивали в тряпочку — не каждая книга служила ступенькой вверх, за некоторые можно было запросто покатиться по служебной (а заодно и социальной) лестнице вниз, чтобы оказаться в резервации для неудачников. Даже записные факультетские вольнодумцы предпочитали умеренность в высказываниях, они крепко держались за свои места, что «энциклопедист» и осознал примерно к третьему курсу. После чего заскучал, стал искать другие пути, обретая их в лоне *независимой* культуры. «Виват, андерграунд! Мир подвалам, война казенным аудиториям!» Под этими лозунгами он встретил перемены в стране, к окончанию университета став едва ли не в оппозицию к тем, кто его поощрял и поддерживал. Опознав ниспровергателя устоев, профессура сменила отношение к прежнему любимчику, но заваливать не стала. Не в духе времени было уничтожать на корню свежие ростки, так что диплом после небольшого скандала состоялся, и в аспирантуру (хоть и в другом заведении) он поступил, и диссертацию защитил. Вот только работать на одном месте долго не мог — то скука одолеет, то коллеги начнут раздражать, то личные отношения разрушат карьеру, начавшую налаживаться.

Его две женитьбы оказались дежурными, неяркими и закончились известно как. Что любопытно: переживая очередной разрыв, он всегда сравнивал ощущения с *главным* разрывом, ведь очередная супруга тоже уходила из жизни навсегда, в каком-то смысле умирала. Но наблюдал лишь бледную копию той смеси боли, тоски, стыда и еще черт знает чего, пережитого после гибели Ларисы. Своих жен он довольно быстро просчитывал, понимал внутренние пружины их просьб, капризов и т.п., а вот про Ларису такого сказать бы не смог. Может, просто не успел? Обзаведись они общим бытом, детьми, погрузись в обывательскую стихию — он бы сумел ее понять? Теперь не выяснишь, поезд ушел, точнее, направился в сторону Уфы, а там...

В последнее время чувство вины стало обретать извращенные какие-то формы. Кажется, после приезда из Таллина он едва не возопил, воздев руки к небу: доколе?! Уберите ее от меня, пусть исчезнет! Адресовалось обращение непонятно кому, но желание было искренним, если не сказать — жгучим. Ему хотелось замазать эту страницу биографии, опрокинуть на нее склянку с чернилами, чтобы ни одна буковка не прочитывалась. А лучше всего вообще вырвать страницу и сжечь! «Пусть она исчезнет!» — на время сделалось заклинанием, мантрой, которая повторялась иногда даже вслух, после чего, как водится, включалось воображение, не знающее ни руля, ни ветрил. Перед глазами мелькали некие катастрофы, воображались несчастные случаи, когда никто не виноват (трагическая случайность!), зато итог закономерен.

Он не считал, что вообразил в подробностях гекатомбу под Уфой, однако и обратного утверждать бы не стал. С течением лет все чаще стало казаться, что выдумка сыграла роль, заклинание сработало, а значит: встать, суд идет. Видение после возвращения из Праги было вернейшим тому подтверждением, апофеозом сюрреализма, в который погрузился Мятлин, не отличавшийся склонностью к самоистязанию. Тем не менее, застарелая рана саднила, кровоточила, и требовались какие-то способы лечения.

Терапия обрела форму почеркушек: набросков, эпизодов, разбросанных по обрывкам бумаги, по файлам компьютера, или вывешенных в Сети под псевдонимами. Ничего целостного, так, черновой портрет безымянной героини.

На время помогло, но недавно нахлынули новые фобии, как будто в его сугубо личную историю влезал кто-то еще. Да, он вел себя безответственно, откровенничал с незнакомками (незнакомцами?) из сетевого эфира, только дело было не только в этом. Интуиция подсказывала: рядом появился кто-то *другой*, и он затаскивал Мятлина в ад, выражаясь философски. Ведь ад, как сказал Сартр — это другие...

4.

Пребывая в хорошем расположении духа, Мятлин, наконец, ответил Жаки, уже неделю его домогавшейся. Зря он тогда испугался, девушка была без второго дна, она тосковала и, дождавшись ответа, засыпала его «чмоками» в виде ярко-красных женских губ.

«Куда пропал, философ?! Молчишь, как рыба об лед!»

«Я работал».

«А я страдала! Может, даже плакала!»

«Скажешь тоже...»

«Ладно, не плакала. Но мне было скучно».

«А со мной весело?»

«С тобой тоже скучно, патамушта долго не отвечаешь. А над чем ты работал?»

«Над статьей».

«Над какой статьей?»

«Ты вряд ли это поймешь».

«Философ, забаню! Колись немедленно: о чем статья?»

Мятлин задумался, затем отбарабанил:

«О фаллическом начале».

«Это от слова "фаллос"?»

«Ага».

«О-о, ты считаешь, я не пойму?! Очень даже пойму! Я люблю фаллическое начало, философ! А еще больше люблю фаллический конец!»

Оценив остроумие собеседницы, Мятлин внезапно захотел увидеть ее воочию. Прикоснуться к ее коже, провести рукой по волосам, почувствовать их запах... Он едва не предложил это, но вовремя одумался. Еще в начале виртуального диалога договорились: никаких встреч и анкетных данных, только откровенно-сокровенные истории и желания. Приколы (любимое выражение Жаки) тоже приветствовались, и он, поразмыслив, выдал в эфир ту бредятину, что накрыла после прилета из Праги.

«Круто! — оценили пассаж. — Особенно про сердце. Может, оно действительно тебе не нужно?»

«Может быть. А тебе нужно?»

«Не, без него прикольнее!»

Но вскоре опять проснулся страх: перед глазами вставали бесчисленные «ящички Пандоры», соединенные между собой невидимыми нитями, и в этой гигантской паутине возникал он, Мятлин, в виде попавшей в тенета мухи. Не так давно он докладывал научному сообществу, мол, хозяина паутины нет, тут каждый *червь и раб*, и одновременно — *царь и бог*. Однако в его воображении

хозяин обнаруживался, паук где-то сидел, подтаскивая к себе бессмысленно трепыхавшуюся муху.

Он уже собрался отключаться и пить снотворное, когда звякнула почта. Оказалось, прислали приглашение на юбилей — 25 лет школьного выпуска. Стилль был провинциально-высокопарный, мол, глубокоуважаемый Евгений Батькович, Вы окажете нам честь, если посетите наш праздник, который состоится тогда-то в школе, которую Вы окончили. Вы достигли больших успехов в жизни, пишете серьезные научные работы, участвуете во всероссийских и международных конференциях, поэтому организаторы праздника хотели бы попросить Вас выступить на юбилейном мероприятии.

Послание было трогательным и одновременно нелепым. Судя по фамилии директора, подписавшего приглашение, руководство школы сменилось (прежнее начальство вряд ли пригласило бы). Откуда узнали адрес? Возможно, на сайте «Одноклассники», где Мятлин год назад отметился, тут же сбегав. Следы в Сети, однако, стереть непросто, они множатся и ветвятся, разлетаясь по планете, а тогда, родной, изволь пожаловать на торжества. Или хотя бы отписаться, дескать, благодарю покорно, дорогие педагоги, спасибо, что не забыли, но по причине сугубой занятости моя речь, исполненная ностальгии по замечательным (лучшим в жизни!) школьным годам на юбилее не прозвучит.

Заканчивая набивать вежливый отказ, он получил еще одно послание:

«Едем на празднег?»

Адрес был незнакомый, а подпись вообще отсутствовала. Судя по стилю, реплика могла быть приколом Жаки, но та не знала личной почты — Мятлин для нее был кантовской «вещью в себе», человеком без лица. Тогда кто написал? Кто-то из одноклассников? Пряжск остался в прошлом, из старых знакомых его навещал разве что Клыпа, заделавшийся «бизнесменом»; а сам он в городе детства был семь лет назад, на похоронах матери...

Он не ожидал, что разволнуется. Мало ли кто, кому и что напишет в этой, по Маршаллу Маклюэну, *большой деревне*? Пиши, губерния, нынешнее тотальное экраномарание — лишь следствие поголовной грамотности. Но доводы не убеждали. Он нутром чуял паука, который где-то в отдалении тянет за паутинку. Муха не видит его, но понимает: паук есть, и хозяин ситуации, конечно, он. Были же еще послания, бравшиеся вроде ниоткуда, но цеплявшие личную жизнь, говорившие о том, что автору что-то про Мятлина известно. А тогда — аккуратно кликнем на «Завершить работу» и закроем прямоугольный светящийся глаз, что внимательно нас изучает. Спи, машина, баюшки-баю, а я (если сумею) забудусь тревожным сном неврастеника.

Выход в реальный мир произошел не сразу. Наступающее утро проявило книжные стеллажи, занимавшие две стены, музыкальный центр в углу, картины и фотографии на стене. В однокомнатном жилье, доставшемся после развода, интерьер был продуманным, но, как выражался Мятлин, с двумя белыми пятнами. Первое пятно — пустая тумбочка по диагонали от тахты, где в «приличных домах» находится телящик. Располагая средствами, он пока не решался приобрести модную плазменную панель. Последняя супруга очень любила сериалы, они просто в печенках сидели; и хотя имелся еще канал «Культура», кинопоказы с Гордоном и т.п., превозмочь идиосинкразию к слову «телевизор» Мятлин не смог.

Второе пятно красовалось справа от фотографии матери. Именно она

приезжала обустроить гнездышко ветреного сыночка и поначалу водрузила на это место портрет единокровного отца. Тот давно пропал в своем уральском регионе, то ли спился, то ли был убит — Мятлин особо не интересовался. Умом он понимал, что родителей не выбирают, только детскую обиду так и не преодолел: что-то было украдено у него, чего-то было недодано. Или отпугивал пример неудачной судьбы? Сам-то Мятлин числил себя удачливым: ученая степень, место преподавателя в коммерческом вузе, публикации, зарубежные гранты, поездки... Но почему-то не отпускало ощущение шаткости этого всего, будто он мог в одночасье потерять наработанное годами, оказавшись у разбитого корыта, как тот, со слезящимися глазами, что возник однажды на пороге пряжской квартиры.

Белое пятно, тем не менее, являлось визуальным укором и провоцировало на то, чтобы его закрыть. Выпив чашку кофе, Мятлин взялся рыться в кипе фотографий, чтобы выбрать себя, любимого. Ага, вот снимок после защиты диссера. Здесь он молод, в волосах ни малейшей седины, а в лице уверенность и целеустремленность. Сейчас уверенности поубавилось, зато появились круги под глазами, белые нити в черной шевелюре... «Едем на празднег»? Увы, любые праздники (юбилеи особенно) уже имели оттенок горечи, пятый десяток все-таки, пора к земле привыкать.

Дела служебные воспринимались в этом контексте без пафоса, как тяжелая обязанность. Мятлин взглянул на часы и, вздохнув, засобиравшись на Университетскую набережную. Требовалось отнести распечатку статьи на филфак, и эта необходимость удручала, если не сказать раздражала. Один щелчок мышки — и статья улетела бы по e-mail, однако профессор Клименко не считал нужным приобщаться к прогрессу, а значит, тащи на кафедру бумажную версию, каковую если и прочтут, то через месяц, а потом еще и откажут в публикации.

Тоненькая стопочка листов, лежавшая на краю стола, смотрелась анахронизмом, символом старообрядчества. Не зря Клименко дали прозвище Аввакум: неистов был профессор в защите консервативных идей, ни дать ни взять — опальный протопоп. «Я не пользуюсь электронной почтой! — отмахивался он от любого, желавшего наладить связь через Интернет. — На кафедру приносите ваши труды!»

Яблонская соткалась из воздуха, когда Мятлин ожидал открытия кафедры. Сотрудники почему-то не спешили появляться на рабочем месте, и тут она со своими прыжками на грудь, лобзаниями и громогласным хохотом, из-за чего сновавший по коридору университетский люд с удивлением на них оглядывался.

— Чего тут забыл, Женечка?! Изменщик коварный, ты же променял альма матер на теплое местечко, а все бегаешь на кафедру? Статейки в «Вестник» таскаешь? Ну, конечно, вот очередная!

С этими словами она выхватила стопочку из рук Мятлина и принялась бесцеремонно листать.

— О-о, фаллическое начало! И в роли фаллоса — техника?! Это новое слово, Мятлин! А главное, ты прав! Техника нас буквально изнасиловала и продолжает насиловать ежедневно, если не сказать — ежечасно! Но ты все-таки изменщик. Хочешь, как говорят в народе, и рыбку съесть, и сесть?

Она опять захохотала, причем как-то утробно, что удивляло. Телосложением Яблонская напоминала тростинку, а звуки издавала как оперная певица с необхватной грудной клеткой.

— Потише можно?! — попытался урезонить Мятлин. — Изменщик... Самато давно из Штатов?

— Буквально на днях. Но мои полставочки в родном универе сохраняю, и за это ничтожное вознаграждение продолжаю сеять разумное-доброе-вечное. Не молюсь, короче, Мамоне, как некоторые!

— Что ты говоришь?! Америка сделалась божьим царством, выходит?!

— В Америке, как ты знаешь, мои маменька с папенькой, а старичков навещать — святое дело!

— Может, ты сама сделалась святой? А? Святая Мария Яблонская — неплохо звучит!

На Мятлина посмотрели с прищуром.

— Главное, чтобы ты в святые не подался. И не утратил это самое... Фаллическое начало!

Когда она опять захохотала, Мятлин запечатал эту иерихонскую трубу ладонью. По ходу разговора он оттеснил ее в закуток возле буфета, где можно было не особо стесняться. Их колкости вообще были дежурными, на самом деле оба явно обрадовались случайной встрече, каковая вряд ли оборвется в университетском коридоре.

— Хорошо пахнешь, Женечка, — сказала Яблонская, освободив рот. — Как всегда, впрочем.

— Ты еще помнишь, как я пахну?

— А то ж! Надеюсь, и ты не забыл?

— Не забыл, не забыл... А ты, кстати, собралась сеять разумное-доброе-вечное? Или уже свободна?

— Уже свободна. А ты разве не будешь дожидаться Клименко?

— В следующий раз! — махнул рукой Мятлин. — Надо отметить встречу, не возражаешь?

Яблонская не возражала. Ей только требовалось зайти в книжную лавку, оставить книгу какого-то американского филолога, а дальше она даже согласна где-нибудь выпить, хотя пить в такое время суток — очень не по-американски!

Провожая ее, Мятлин говорил, что от штатовских привычек пора отвыкать, а сам прикидывал: в какое кафе забрести? Их «встреча на Эльбе» закончится известно чем, но до этого будет продолжительный треп, много смеха, шуточек, подколов: с Яблонской вообще было интересно, она только на первый взгляд напоминала бесцеремонную базарную бабу, а так — ума ей было не занимать. Она была права — Мятлин действительно сбежал с филфака. Он устроился в менее престижную контору, зато с четкой ориентацией на модные «тренды», а это значит, что постоянно капает денежка, поступают приглашения за рубеж, то есть жизнь можно считать налаженной.

Когда зашли в полуподвал, где располагалась лавка, Яблонская исчезла в глубине, а Мятлин обратил взоры на книжные корешки, что выстроились на многочисленных полках. Картина почему-то навевала уныние — наверное, из-за огромного количества печатной продукции, заживо похороненной в этом колумбарии. Каждый корешок — как отдельное захоронение в общей могильной стене; человек тратил здоровье, время, можно сказать, жизнь положил на создание книжки, и вот название красуется на полке, будто надпись на плите, прикрывающей прах!

«И могильщик тут же...» — подумал Мятлин, обнаружив бродящего вдоль

полок Гену Бытина, который вглядывался в корешки, после чего делал какие-то записи в своем блокнотике. Бывший однокашник, подавшийся в издателя и сделавший на этом неплохое *бабло*, то ли изучал продукцию конкурентов, то ли отмечал книжки своего маленького, но крепкого издательства. Хотя в данном случае он был, скорее, зверем, бегущим на ловца.

— Не дошли рученьки, не дошли... — заюлил Гена, услышав заданный вопрос. — Где время взять, Женечка? Посмотри, сколько моих тут расставлено! А сколько стучится в ворота? Возьми денежки, говорят, мы согласны за свой счет, только издай, Гена! А ведь у Гены есть вкус, согласись. Он тоже в аспирантуре учился...

— Но соскочил. И ушел в бизнес.

— Что делать? — развел руками Бытин. — Ты ведь тоже захотел хлеба с маслом, потому и устроился в правильное место.

— Ладно, не о том речь. Когда прочитаешь?

— В самое ближайшее время! Ты ведь принес не полноценный продукт, так? Только фрагмент?

— Понравится — принесу остальное.

— Понимаю, понимаю... А это что? — указал он на листки в руках. — Еще фрагмент?

— Статья для Клименко.

— Старик еще заведует «Вестником»? Отстаивает свой последний бастион?

Мятлин не успел ответить, потому что налетела Яблонская, тут же взявшись подтрунивать над Бытиным.

— Вот кто у нас Мамоне-то молится! Вот кто акула капитализма! А ведь хороший мальчик был, да, Женя? По Тургеневу диссер хотел защищать, надо же! И где теперь, Геннадий, ваши «Вешние воды»? Где ваша «Клара Милич»? Продали, за грош продали певца заливных лугов и дворянских гнезд!

Бытин опять развел руками.

— Извините, Маша, такова наша волчья жизнь. Но если вы лично принесете книгу, обещаю серьезную скидку. И Женя получит скидку, когда донесет остальные фрагменты своего... Романа, верно?

— Вроде того... — неохотно отозвался Мятлин (при Яблонской тему развивать не хотелось).

— А Женя заделался романистом? — встрепелась та. — Очень интересно!

— Никем я не заделывался, — пробурчал он. — И вообще нам пора идти.

Идею посетить кафе Яблонская отвергла, мол, хочу к тебе в гости! Когда зашли в магазин, она первым делом ринулась к полкам с винно-водочной продукцией, в раздел «Виски». Мятлин протянул руку за бутылкой Johnnie Walker, однако спутница указала на Jameson.

— Я этот сорт люблю. Может, возьмем две?

Выпивка была ее слабостью, Мария еще в студенчестве, будучи под градусом, отжигала так, что едва не вылетела из университета.

— Одной хватит! — решительно сказал он.

— Но ведь запас карман не тянет...

— Знаем мы твои запасы. Тут литр, в конце концов!

Она таки взяла прицепом 0,25 того же виски, хитро улыбнувшись: я свободная американская женщина, не могу за счет мужчин выпивать!

Ее развезло быстро: Мятлин глазом не успел моргнуть, как увидел перед

собой *Иду Рубинштейн* — так он когда-то назвал Яблонскую, обнаружив телесное сходство с той, кого изобразил на знаменитом «ню» Серов. Тонкое, ломкое, с просвечивающей кожей тело обладало, тем не менее, фантастической сексуальной энергией, коей хватило бы на трех пышнотелых кустодиевских купчих.

— Ну, чего сидишь?! Пошли на тахту!

Мятлин усмехнулся.

— Свободная американская женщина сама тащит в койку мужчин?

— А то ж! Не затащишь вашего брата — он же заснет после третьей, проверено!

В ее худосочном теле словно работала динамомашинка, заряжая заодно и партнера, так что Яблонскую можно было помещать в разряд тех, кто отдается с вдохновением. Или кто очень сильно *старается*, создавая иллюзию вдохновения, что было, пожалуй, точнее. Она выгибалась, хрипела, будто соитие происходило последний раз в жизни, но через пять минут, скрестив по-турецки тоненькие ножки, уже могла рассказывать анекдот или подшучивать над тем, кого только что зацеловывала. Такое больше характерно для мужчин, чей разум после завершающих содроганий быстро приходит в норму: пока женщина слушает эротическое эхо, пробегающее от макушки до пяток, партнер и в туалет сбегает, и перекурит. В этом смысле Яблонская была «своя в доску», что делало общение легче и одновременно — труднее.

— Не утратил фаллического начала, молодец! — пыхала она дымом. — Жаль, оценить некому.

— Почему же некому?

— Так ты ведь один живешь!

— С чего ты взяла? А вдруг я женился, а жена просто уехала в командировку?

— Брось, женская рука в доме видна. А твоя квартира — жилище бобыля. И вообще ты никогда не женишься.

— Почему же? Вот возьму и женюсь... На тебе!

Яблонская расхохоталась.

— Волк на волчице не может жениться! А? По-моему, в рифму получилось: волк на волчице...

— Рифма есть, смысла нет! — парировал он.

— Не скажи, Женечка. Себя я хорошо знаю, потому все мужья и сбегали от меня через полгода. А тебя... Хорошо не знаю, но догадаться могу.

— О чем же?

— О травматическом опыте. Есть у тебя какой-то скелет в шкафу, о котором ты никому не рассказываешь. Ведь есть, правда?

Внезапно вскочив, она приблизилась к шкафу в углу и осторожно открыла дверцу.

— Эй, скелет! Покажись на свет! Кажется, я опять в рифму, да?

— Пробило на вирши... — пробурчал он.

— Каждому свое: одну на вирши пробивает, другого романом проносит.

Сунув голову в шкаф, она с разочарованием захлопнула дверцу.

— Нет тут скелета, наверное, он в твоём романе поселился. Может, дашь почитать? Тогда я сразу все пойму, я ж теперь психоанализом занимаюсь. А это, Женечка, очень серьезная штука!

— Да никакой это не роман... — забормотал Мятлин. — Так, наброски мыслей... И вообще это не закончено.

— Ну, хозяин-барин! — она провела пальцем по дверце шкафа. — Убраться у тебя, что ли?

Он замахал руками — не надо! Если тут и был беспорядок, то после ее «уборки» он наверняка превратится в хаос, поэтому в качестве альтернативы Мятлин предложил Jameson. Они выпили, потом опять оказались на тахте, потом еще выпили, после чего *Ида Рубинштейн*, пошатываясь, отправилась в ванную.

Наверное, она была там долго, потому что вышла, изрядно потолстев. Да что там — натуральная кустодиевская купчиха, в которой едва узнавалась прежняя Машка Яблонская.

— Что это с тобой?! — вздрогнул Мятлин.

— А тебе скелеты подавай? Из шкафа? Что ж, хозяин — барин!

Купчиха хлопнула в ладоши, и тут же из шкафа выпрыгнул скелет.

— Вот он, родной... — с удовлетворением проговорила она. — Ну, расскажи нам про этого персонажа, — указала на Мятлина. — Всю его подноготную, так сказать, весь его травматический опыт. Сможешь?

— Попробую, — прошамкал череп. — Этого персонажа, как вы изволили выразиться, в юности ударили пыльным мешком по голове. То есть он утратил невинность в таких обстоятельствах, что это отразилось на всей последующей жизни. Не встречал он больше подобных женщин, понимаете?

— Как это?! — подбоченилась Яблонская. — А я?!

— Вы же хотите правду? Тогда, увы, должен вас разочаровать. К той женщине у него сохранялась постоянная тяга, и он ничего не мог с собой поделать. Убегал, пытался рвать отношения, а вот не получалось, и все! А тут еще соперник постоянно маячит на горизонте, представляете? Тоже травматик еще тот, и с такой же неумной страстью к той же самой женщине!

— Что-то многовато травматиков... — пробормотала купчиха.

— Да их вообще сейчас пруд пруди! Такое время, знаете ли, гармоничная психика — редчайшее исключение. В общем, заработал юноша крест, который и тащит с переменным успехом. Какую-то классификацию женщин себе изобрел: старательные, никакие, вдохновенные...

Яблонская махнула рукой.

— Это я знаю! Но для романа всего этого маловато, как считаешь?

— Так у него же *вроде* роман.

— Типа наброски мыслей?

— Типа воплощение памяти. Хочется воплотить то, что было, восстановить детали, подробности, нюансы... Чувство вины не дает покоя.

— А у него чувство вины?

— Еще какое! Это по-нашему, по-достоевски — напортачить вначале, загнать человека в угол, а потом «наброски мыслей» на бумагу выкладывать!

На время утративший дар речи Мятлин вскинул руки.

— Я протестую! С какой стати вы занимаетесь этим идиотским психоанализом?! Кто вам дал право?! И вообще я знаю этого скелета — он вовсе не из моего шкафа!

— Откуда же?! — в два голоса воскликнули незваные гости.

— Со Староместской площади! Он сбежал с колокольни с часами, так что пусть возвращается обратно!

Череп прямо перекосило от возмущения.

— Ну, знаете ли... Я всю жизнь просидел в этом шкафу! И вернуться могу только туда!

С этими словами он запрыгнул внутрь и хлопнул дверцей так, что со стены сорвалась фотография матери, брызнув стеклянными осколками.

— Не любишь правду, Женечка... — качала головой Яблонская, с трудом нагибаясь (телеса, однако!) и подбирая осколки. Она взяла в руки фотографию.

— Хорошая была женщина. Всеми силами старалась вытолкнуть тебя в другую жизнь, интересную, насыщенную... Только зря она пригласила этого неудачника из Каменск-Уральского. Тебе удобнее было жить с выдуманным отцом. Вообще игра воображения заняла слишком большое место в твоей жизни, ты не находишь?

Она вдруг начала сдуваться, уменьшаться в размерах и покрываться серой шерстью. И Мятлин стал покрываться шерстью, вскоре обернувшись матерым хищником; напротив стояла такая же серая самка.

— Волк на волчице не может жениться! — оскалила та острые клыки.

— Еще как может! — отвечал волчара Мятлин, набрасываясь на женскую особь. Он хотел вскочить на нее по всем правилам животного соития, то есть сзади, однако волчица Яблонская умело увернулась, повторяя:

— Не может, не может, не может!

Когда она запрыгнула в шкаф, одуревший от звериной похоти, Мятлин сиганул туда же. Вопреки ожиданиям никаким скелетом там не пахло, зато было очень просторно. Собственно, это был не совсем шкаф, скорее, большая комната, где в углу стоял аквариум с рыбками, а на стене висели балетные тапки. Интерьер был смутно знаком, он напомнил о какой-то давно забытой жизни, которую Мятлин безуспешно силился вспомнить.

— Ты тут бывал, верно? — спросила волчица.

— Вроде бы... Не помню.

— Здесь живет та, на которой ты должен был жениться. Но не стал этого делать.

— А где она сама?

— Она сейчас придет.

С этими словами серая Яблонская сделалась прозрачной, а потом и вовсе растворилась в воздухе. А Мятлина вдруг обуял страх. Он метался по комнате, судорожно выискивая ход в обратную жизнь, только хода не находилось, а в соседней комнате уже слышались шаги. В отчаянии кинувшись на стену, чтобы ее прошибить, он очнулся на полу.

— Как посадка? — раздался голос Яблонской. — Мягкая?

Та сидела в его любимом вращающемся кресле, перед раскрытым ноутбуком, причем в своем привычном облике.

— Ты когда успела... — спросил ошарашенный Мятлин. — Ну, это...

— Вискарь приговорить? — она подняла пустую литровую бутылку. — Так дурное дело не хитрое.

— Нет, похудеть...

На него вытаращили большущие черные глаза.

— Издеваешься, Мятлин?! Обидеть хочешь хрупкую женщину?! Я ж сто лет такая!

Слава богу, хватило ума не спрашивать, куда делась серая шерсть. Он прошлепал на кухню, выпил воды из-под крана, когда же вернулся, увидел, как в рюмку вытряхивают остатки из маленькой бутылки. Похоже, Яблонская держалась на автопилоте, сохраняя видимость трезвости, лишь пока сидела в кресле. Если бы встала — точно рассыпалась бы на отдельные косточки, которые пришлось бы собирать с пола.

— А ты говорил: много будет! Стареешь, Женя, и вообще ты напуганный какой-то, как я поняла из твоего опуса.

Она указала на стопочку листов.

— Я тут ознакомилась и поняла: ты боишься техники, как девственница боится грубого волосатого мужика, который должен распялить ее и забрать самое ценное. Сам же и пишешь: технику можно уподобить мужскому половому органу, который желает изнасиловать природу, а по завершении акта вообще ее прикончить.

Он опять улегся на тахту.

— Ты с этим не согласна?

— Согласна, наверное. Но в Нью-Йорке, где я регулярно живу по полгода, этого уже не замечаешь. Железный Миргород, знаешь ли, его уже не представишь без этих протезов — без грохота метро, без желтых такси, без огня реклам... Мои маменька с папенькой в шумном месте живут, и я там поначалу плохо засыпаю. Час не сплю, два не сплю, потом выхожу на балкон вот с такой бутылочкой в кармане халата — и смотрю на город. Он гудит, горит огнями, в нем все движется, но это движение не человеческое. Это перемещается железо, это текут машины, электрические сигналы, прочая искусственная фигня... Я делаю пару глотков, но глюк не проходит! Наоборот, я кажусь себе единственным живым существом в этом мертвом — и одновременно живом царстве. Просто это другая форма жизни. Она не имеет никакого отношения ко мне, Машке Яблонской, которая из плоти и крови, наоборот, он хочет поглотить мою плоть, сожрать меня с потрохами!

— Значит, ты тоже напуганная!

— Нет, Женечка, мне от этого весело. Сожрут, и поделом! Только лучше бы эта стихия вначале сожрала вас. Это же вы все придумали, разве не так? От нас — жизнь, а от вас что? Смерть одна! «Смерть — это все мужчины!» — как писал некий житель Железного Миргорода, которого ты, кстати, цитируешь. Совесть, что ли, заела? Заела, судя по твоим наброскам мыслей! Кого ты там взялся описывать? Да еще так подробно, с деталями, нюансами... Глаза зеленого цвета — раз! Стройные ноги — два! Родинка на поясице — три! А-а, еще балетная осанка! И умение крутить фуэте! Это кто, Мятлин? Один из грехов твоей молодости?

Он вскочил с тахты так, будто оттуда вылезла пружина и пребольно уколола в зад. Похоже, гостья покопалась в содержимом компьютера, и это уже был не бред (мало ли что в бреде происходит!), а самая настоящая реальность. Подбежав к столу, он оттолкнул кресло, которое откатилось к стене с фотографиями.

— Эй, я ж упасть могу!

А он уже шарил по файлам, выставленным на рабочий стол, и определял

окна в программе Google chrome, которые открывала Яблонская. О, боги, она прошерстила все, что находилось в доступе!

— Так ты, значит, влезла... — проговорил он дрожащим голосом.

— Ну да, пошарила немного в твоём компе. А что? Ты спишь, что-то бормочешь во сне, а я наливаю по чуть-чуть и читаю всякие забавные штучки. Ничего особенного вроде, но если взглянуть на это с точки зрения психоанализа...

Яблонская вдруг громко икнула.

— Что-то в горле пересохло... Там ничего не осталось? Жаль. Так вот если взглянуть внимательно, увидишь — как там у классика? Что Онегина душа себя невольно выражает то кратким словом, то крестом, то этим... Вопросительным крючком, вот! Я это фигурально, ну, ты понимаешь.

Мятлин в этот момент, почти не слушая пьяного бормотания, падал в бездну. Все потаенное, что было доверено этому мерзкому ящичку (а доверено было ого-го сколько!), вдруг стало достоянием другого человека, а значит, всеобщим достоянием. Проклятое железное устройство, которое он ненавидел, опять подставило ему подножку, и какую! Оставалось надеяться лишь на то, что Яблонская ничего наутро не вспомнит — обычно в таком состоянии ей отшибало память напрочь. А если вспомнит? Тогда позора не оберешься, значит, надо обеспечить амнезию беспардонной визитерше...

Открыв бар, он обнаружил грамм сто коньяку, которые тут же перекочевали в ее рюмку.

— А ты?

— Я не хочу, выпей сама. Ты же хочешь?

— Что ж, хозяин — барин... За тебя, Онегин!

Спустя минут десять она уже лыка не вязала.

— Чего так разволновался, родное сердце? Не волнуйся! Я сама такая! Я луддит, понял? Есть сейчас такие — и в Нью-Йорке, и у нас... Я тебя с ними познакомлю. Это новые луддиты, они раздолбают на фиг это железо, уничтожат все это безумие, и мы будем жить в первозданном раю, как Ева с Адамом! Хочешь жить, как Ева с Адамом?

— Конечно, хочу... — говорил Мятлин, перенося легкое тельце из кресла на тахту. — Ты только змея не слушай, когда виски будет предлагать.

— Это будет сложно. Но я постараюсь... Я буду очень сильно стараться!

Надежда оправдалась — наутро Яблонская практически ничего не вспомнила. Напрасно, то есть, не спал до утра, перепрыгивая заветные материалы в потаенные папки, расставляя пароли и помещая «под замок» информацию, раскиданную по разным ресурсам. Или все-таки не напрасно? Перед тем, как заснуть, Машка пробормотала про какого-то белого мичмана, чем поставила Мятлина в тупик.

— Какой еще мичман?! — удивился он. — По-моему, это горячка у тебя — белая...

Тоненькая ручка протянулась к экрану компьютера и тут же опала.

— Тебе пришли фоты.

— Что за фоты?

— С белым мичманом.

Он обнаружил много любопытного после лихого рейда Яблонской по его виртуальной территории, например, реплику Жаки: «Ты че, философ, грибов на

ночь объелся? Что за хрень ты несешь?!» Пиратка Машка, оказывается, успела вступить в переписку с его тайной корреспонденткой, вдоволь над той поиздевавшись, написала кучу писем в Америку и даже успела по ходу поскандальить с заокеанскими родителями. Но все это было понятно и, в принципе, исправимо. Непонятно было послание с этим странным мичманом. Несколько фотографий запечатали то ли бункер, то ли трюм корабля, и на всех виднелся белый силуэт, который при желании можно было счесть морским офицером в парадной форме. Мичман он был или адмирал — разглядеть не представлялось возможным, оставалось только верить подписи: «Белый мичман». Разглядывая фото, Мятлин опять почуял подергивание той самой паутинки, но кто за нее дергает — по-прежнему оставалось непонятным.

5.

Несколько дней он осторожно проверял почтовые серверы, ожидая очередной каверзы. Было ощущение, что над ним насмеются, только неясно: со злостью? По-доброму? Белая фигура на фото выглядела несколько зловеще, будто привидение. А приглядишься — нормальный мичман, наверное, участвовал в построении на палубе, торчал на жаре час или два, после чего спустился в прохладный трюм. Другой вопрос: какое отношение офицер имеет к Мятлину, который терпеть не мог армейского (или флотского) духа, по счастью, проскочив мимо срочной службы.

Однако ничего неординарного, кроме письма от Дарьи Кладезь, не пришло. Не выдержав, девушка сама написала, но Мятлин решил не отвечать. Берлин — дело мутное, а вот если Дарья набьется в гости (говорила, что мечтает посетить Петербург), хлопот не оберешься. Он уже подумывал опять отправиться на Университетскую набережную, когда пришло сообщение с текстом в черной рамке: «Умер профессор Клименко. Гражданская панихида пройдет на филологическом факультете...»

Известие огорчило. Забавный был старикан, жаль, теперь не узнаешь, что он сказал бы насчет мятлинского опуса, так и не попавшего в редакцию «Вестника».

— Извините, дружище, это не по нашей части, — возможно, изрек бы профессор. — Вы тут философию развели, а это дисциплина холодная. Мы же, филологи, люди горячие, нам живое слово подавай!

— Не такие уж философы холодные, если вспомнить Ницше...

В этом месте Клименко наверняка бы утробно захохотал, вздрагивая необъятным телом.

— Так он, дружище, никакой не философ! Он гениальный филолог, как сказал о нем Соловьев. Хотя желал быть — ни больше ни меньше — главой религиозного течения!

Чуждый лукавой дипломатии, профессор наверняка бы не выдержал и рубанул правду-матку, мол, сбежали вы, дружище, с нашего корабля! Денежек захотелось, да? Злата-серебра? Что ж, понятная страсть, только кто же, позвольте узнать, будет живое слово выискивать в море литературной серости? Кто его исследует, кто предъявит «городу и миру»?

Странно, что после смерти в мозгу зазвучали фирменные обороты Клименко: «дружище», «живое слово», что там еще? Кажется, слово «косный», в которое

он вовсе не вкладывал отрицательного смысла, скорее, наоборот. «Косной цивилизацией» он называл допетровский российский мир, отличавшийся от изменчивого европейского мира, прозванного им «цивилизацией Протея». Лекции он читал страстно, его слово с кафедры уж точно было *живым*, а с оппонентами спорил, задорно выставив вперед длинную, как у Энгельса, бороду. Хотя комплекцией он был как Маркс и Энгельс, собранные воедино — если бы не большой рост, его можно было счесть даже толстяком.

Спустя два дня это тело лежало в конференц-зале факультета, обложенное венками, цветами, вокруг змеились черные траурные ленты с неразборчивыми золотистыми надписями, а над гробом, конечно же, звучали речи. Мятлина всегда поражал этот бессмысленный жанр, в котором немалое количество живых (пока!) изрядно преуспело. Рождение, свадьба, крестины — еще нуждаются в вербальном оформлении, в этих виньетках из словес, поскольку впереди — хоть какая-то перспектива. А тут что впереди? Черная земля, придавленная холодным мрамором, и процессы разложения, что тянутся годами? Тогда нужно молчать: заткнуться — и рот на замок до самого погребения. Да и после на замок: молча разошлись, повторяя про себя сакраментальное *memento mori*, и все.

Но коллеги придерживались иного мнения, добросовестно упражняясь в красноречии. По их словам выходило, что Иван Павлович был человек с большой буквы, отец родной всему факультету, а значит, потерю мы понесли невосполнимую — трюизм, помноженный на трюизм, хотя все вроде логично, последовательно, грамотно. Не от этого ли в ноздри вдруг ударил запах мертвечины? Волна запаха, впрочем, могла идти от гроба, до него было рукой подать. Клименко был грузным человеком, который обильно потел, шумно сморкался во время лекций, пил чай с «прихлюпом», в общем, был какой-то навязчиво телесный, плотский, а плоть, как известно, после кончины входит в вечный круговорот материи. До поры до времени неумная энергия профессора, его обаяние компенсировали телесное начало, теперь же перед склонившей головы публикой лежала лишь ничемная биомасса, готовая к тому самому «круговороту». «Провонял старец...» — всплыла очередная цитата, после чего Мятлин начал аккуратно выбираться из плотной толпы.

В отдалении от гроба бурлила жизнь (или что-то на нее похожее). В первом кольце застыли живые надгробные изваяния, во втором топтались «искренне переживающие», в третьем уже шушукались, обменивались мнениями, даже решали какие-то делишки. Мятлин сдержанно здоровался со знакомыми, замечая, что кое-кто охотно бы его обнял, улыбнулся во всю ширь, да только обстановка требовала сдержанности. «Знакомые все лица...» — тихо проговорил он, здороваясь с Бытиным. На секунду тот сделал постное лицо, чтобы тут же отвернуться и продолжить тихую беседу с кем-то лысым.

— Значит, двадцать листов? И еще иллюстрации? Тогда дороже будет. А если твердая обложка, то еще дороже...

Мятлин наклонился к его уху.

— На ходу подметки режешь!

Извинившись перед лысым собеседником, издатель увлек Мятлина в сторону.

— А что делать? На такой церемонии только и поговоришь, на похороны все приходят! Кстати, я сегодня свободен, и если ты не собираешься на кладбище...

— Не собираюсь.

— Тогда в три часа подъезжай в издательство. А пока — извини!

Сборище и впрямь было представительным. Из старых знакомых удалось перемолвиться с литератором Яшкиным, тут же всучившим книжечку своих эссе, и с бывшим сокурсником Пуховым, который явился на похороны в форменной куртке с надписью «Теплоэнерго» на спине, удрав со смены в котельной, где подрабатывал на суточных дежурствах. На него у Мятлина были свои виды — Пухов немного разбирался в электронике, профессионально занимался ремонтом автомобилей, в общем, был с миром железа на «ты». Но в этой замогильной обстановке ангажировать человека, похоже, искренне переживавшего кончину мэтра, было неудобно.

Присутствующая тут же Машка Яблонская, судя по захлупанной физиономии, тоже переживала искренне. Она не ржала, как обычно, не подкалывала, только тихо утирала платком катившиеся слезы. Как выяснилось позже, когда стояли на ветреной набережной и курили, с Клименко дружили ее родители.

— Письма друг другу писали... — говорила она, обратив лицо к Неве. — Не такие, как мы пишем — настоящие, причем каждое на нескольких страницах. Я-то своих приучила к этому электронному язычеству, но с Иван Палычем они только так переписывались. Не знал об этом?

— Понятия не имел.

— Ну да, откуда тебе... Жалко их. Хотя больше жалко нас.

Мятлин усмехнулся.

— Нас-то чего жалеть? Мы приспособлены к среде обитания...

— Не уверена. Помнишь картинку из школьного учебника биологии? Где человек вначале на четырех точках, потом встает на две ноги, выпрямляется, и, наконец, гордо шагает в обличье высокого и статного гомо сапиенса? Так вот смотрю я на ушедших, и видится мне совершенно обратное. Будто мы уменьшаемся от поколения к поколению. Сгибаемся помаленьку, становимся карликами, глядишь, скоро на четыре точки опустимся и заводем...

Швырнув сигарету в Неву, Мятлин поежился.

— Это доктрина твоих луддитов?

— Каких луддитов? — насторожилась Яблонская.

— Которые хотят раздолбать эту цивилизацию, чтобы вернуться в первозданный рай.

— Я тебе про них говорила?

— Ну да...

Ее сигарета тоже улетела за парাপет.

— Пить надо меньше. Ладно, пока, я на кладбище.

Бытина удалось вырвать из паутины неотложных дел не тотчас: приятель-издатель расхаживал среди книжных завалов, стопок и штучной россыпи, вынимая из кармана то один мобильник, то другой. Прижимая к уху первый телефон, Бытин использовал второй в качестве калькулятора, произнося по ходу беседы каббалистические цифровые заклинания: «Тридцать тысяч... Семь с половиной тысяч... Да где я возьму триста?! Сто пятьдесят, и сворачиваем базар!» Далее гаджеты менялись местами, и опять начиналась каббала, которая потом переносилась в огромный кондуит на столе Бытина.

Оторвавшись на секунду, он наставил на Мятлина близко посаженные глазки.

— Чего время теряешь?! Ходи, знакомься с продукцией... Может, прикупишь чего-нибудь?

— С души воротит от твоей продукции.

Бытин опять склонился над кондуитом.

— Ты циник, мой друг. Люди старались, тратили мозги, выплескивали души, чтобы...

— Чтобы ты получил прибыль.

— И это тоже. Но ведь я одновременно помогаю реализоваться вашему брату-интеллектуалу. К кому они бегут, когда пронесет очередной монографией? К Бытину бегут! Потому что Бытин — это бренд. Бытин — это...

— Сытин. Замени одну букву, и брат-интеллектуал поспрет сюда рядами и колоннами.

— Шутка с бородой, Женя, только ленивый не обыгрывал мою фамилию. А насчет вашего брата... Не знаю про ряды и колонны, но ты-то явился! Значит, ценишь бренд. И покойный профессор, между прочим, не брезговал сюда заходить. Вон там лежат его два тома — жаль, не дожил старик до третьего...

Двинувшись в указанном направлении, Мятлин увидел стопку синих «кирпичей» с золотым тиснением на обложке: «ИВАН КЛИМЕНКО». Когда взял в руки увесистый том, в груди вдруг защемило, и в очередной раз показалось абсурдом, что жизнь живого существа, которое ходило, радовалось, шутило, выпивало (изрядно!), закусывало (смачно!), растило детей и внуков — перетекла в сброшюрованную стопку бумаги. Что-то было в этом несправедливое, чудовищное; и если книжный магазин представлялся колумбарием, то склад издательства выглядел, как морг. Именно здесь узаконивалась смерть того, что пульсировало в сером веществе имярека, а книжные полки — это уже торжественное захоронение. Ну да, шанс ожить есть, если стопка попадет в руки читателя, но, во-первых, поймут ли имярека? Во-вторых, где они, прямоходящие, что толпятся у книжных полок? Они все больше в виртуальном пространстве пребывают, плывут по волнам Мировой Сети, а там приятно, волны так классно баюкают...

Об этом, собственно, и говорили. У Бытина нашлась в сейфе початая бутылка коньяка, они помянули покойного профессора, после чего вернулись к делам насущным. Бытина страшно волновала экспансия Интернета, каковой фактически уничтожал его бизнес. Конечно, можно перестроиться, начать выпускать книжки на электронных носителях, но люди-то вообще перестают читать!

— Перенести эту целлюлозу в цифровое пространство — два пальца об асфальт! Я бы даже кредит взял, копирайтеров нанял, только кому это нужно?! А ведь как мечтали в свое время, как мечтали! Помнишь, времечко было? Казалось, вот-вот наступит новая эра, и мы, сидящие по подвалам и занюханым мастерским, выйдем на манеж под свет прожекторов...

— Ну да, все в белом... — пробормотал Мятлин.

— А хоть бы и в белом! Выйдем, всплывем, как подводная лодка среди арктических льдов, и все увидят, кто чего стоит!

— Увидели. И послали нас известно куда.

Издатель развел руками.

— Увы! А я ведь помню твоё выступление на Кирочной, то бишь на

Салтыкова-Щедрина, как она тогда называлась. Ты говорил про «словократию», и глаза у тебя горели, и зал поддерживал...

— Да ладно, это уже быльем поросло... Да и не все поддерживали.

— Ну да, наш правдолюбец Марк тебя оспаривал. Всегда выступал под лозунгом: мне Мятлин друг, но истина дороже! Где, кстати, твой дружок пребывает?

— Где и положено: на земле предков. В Иерусалиме он, в тамошнем универе.

Бытин набулькал еще.

— С другой стороны, чего жаловаться? Все как-то устроились, верно? Научились конвертировать свои умения в звонкую монету, в выгодные контракты, в поездки... Ну, за нас!

Опрокинув рюмку, он подвинул гостю вафли.

— Утощайся... Чешские, кстати. Ел такие в Праге? Ты же там про Кафку доклад делал, я знаю... Рекомендую вот эти — с ореховой начинкой: очень вкусные! В общем, мастера культуры оказались на высоте: научились торговать литературным наследием, да и тамошние тренды-бренды освоили, быстро смекнув, что модно в Европах, да и в Азиях тоже... Сопелко помнишь? Который защищался где-то в Урюпинске, потому что здесь не пропускали? Уже год из Сеула не вылезает, читает там курс! Пишет, что бабки офигенные, «мерс» точно заработал! В общем, как ты тогда говорил, словесные конструкции могут влиять на материальный мир. Слова, мол, это реальная сила, она способна горы сворачивать!

— Я такое говорил?!

— С пафосом говорил! И ты прав! Сопелко уж точно гору свернул своей болтовней перед корейскими студентами. Бла-бла-бла, а глядишь, как подкатит к родному филфаку на сверкающей иномарке, как распахнет дверцу перед любимыми профессорами... Садитесь, прокачус ветерком, даже денег не возьму — на первый раз! Вот такая, блин, словократия...

«А Бытин не дурак, — подумалось. — Он просто дает понять: нечего в него пальцем тыкать, каждый нынче — частный предприниматель, только торгуем разными вещами...»

— Ладно, давай о наших баранах. Что скажешь про текст?

Задав вопрос, Мятлин замер в ожидании. Он сам не предполагал, что разволнуется: ни реноме, ни заработки от этого не зависели, а поди ж ты...

Бытин захрустел вафлей.

— Что скажу... Ну, ты же никогда не имел писательских амбиций, верно?

— Не имел.

— Всегда был грамотным исследователем, мастером парадокса, ну, эссе писал, да кто их не пишет, так?

— Так.

— А здесь ты, брат, в какие-то дебри полез. Я вначале подумал: денежек хочет срубить, очень уж тема популярная: любовь-морковь и т.п. Там же про любовь, правильно?

— Не совсем. Там про человека.

— Ну да, ну да... Там вообще про что-то такое, что за пределами устремлений обычного литератора. Не писательские, короче, задачки ты себе поставил. Чего-то другого тебе хочется, как в свое время французским натура-

листам хотелось. Они выписывали подробности жизни, реестры составляли, хотели жизнь за одно место ухватить — и на бумагу перенести. Или взять Бунина Иван Алексеича. Помнишь, что о нем Клименко покойный говорил?

— Что трагизм Бунина вовсе не в плоскости замыслов лежит, а...

— А в том, что он тщился описать жизнь во всей полноте, тратил бездну цветистых слов, ярких образов, а жизнь, зараза, все равно ускользала! С другой стороны, итогом было, по выражению покойника нашего — живое слово. Помнишь эту фишку? Живое, понимаешь, слово... Не нужно оно никому, поверь мне.

Бытин обвел рукой полки.

— Ты в этих анналах будешь рыться о-очень долго, пока это самое *живое* найдешь. Мертвяк выгоднее, потому его и производят тоннами.

Мятлин кашлянул.

— А у меня, по-твоему, что?

Ответом был изучающий взгляд, сопровождаемый мхатовской паузой.

— Я тебя издам, — сказал Бытин, отводя глаза. — Ну, когда допишешь. За счет автора, понятно, лишних денег я не имею. А там дело твое, что делать с тиражом.

О нарушении жанровых правил Мятлин знал и сам. Он ваял нечто вроде портрета, который, по идее, тоже требует сюжетного воплощения, подачи в виде развивающейся во времени истории. Но в том-то и дело, что сюжет не увлекал: до лампочки ему была структура, событийная динамика, фабульные повороты etc. На все эти признаки профессиональной (сиречь, читабельной) словесности он положил с прибором, взявшись собирать черты и черточки характера, особенности внешности, даже те мелочи жизни, что почти не имели отношения к Ларисе. Ну ладно, балетные тапки, источавшие запах одеколона и одновременно девического пота (однажды, провожая Ларису из ДК, он их понюхал, запомнив запах на всю жизнь). Ладно — рыбки в аквариуме, которых она аккуратно рассаживала по банкам, когда чистила замутившийся домашний пруд. Но при чем тут коричневая рукоятка сачка? Ради чего перечислять ее платья, брючные костюмы, пальто или шубейки? Он сам себе напоминал некоего Плюшкина, что подбирает жизненное барахло и с маниакальным упорством тащит в текст, похоже, не имевший шанса обрести читателя.

Домой он спешил в тревоге, будто в его квартиру кто-то пробрался и там похозяйничал. Все было на месте (еще бы!), только включенный компьютер преподнес сюрприз: в правом нижнем углу обнаружился силуэт дельфина. Черно-белое веретено грациозно изгибалось, ныряя в невидимые волны, возносясь над водой, причем убрать эту безобидную вроде бы картинку не представлялось возможным. Мятлин и так, и этак пытался «убить» изображение, однако дельфин оказался неуязвим.

Беспомощность породила досаду, только делать нечего, пришлось работать под надзором морского животного. Он опять собирал и нанизывал на нить текста жизненные безделицы, почему-то убежденный, что количество когда-нибудь отразится на качестве, произойдет скачок, и появится нечто невиданное. Он вроде как создавал куколку, в которой жила и ворочалась невидимая бабочка, но когда-то же она выпорхнет на свет! Затрепещет крылышками!

По ходу письма Мятлин боковым зрением наблюдал за дельфином, что в какие-то моменты начинал нырять и летать над волнами особенно бойко, вроде

как реагировал на особенности текста. А порой вообще замирал, будто в удивлении, одним словом, вел себя непредсказуемо. Кажется, такая визуальная программа называлась «плагин». У кого-то из знакомых по экрану разгуливал кот Леопольд, у кого-то пульсировали часы, изображенные в духе Сальвадора Дали текучими и изогнутыми, но такую программку, если она надоедала, уничтожали парой кликов. Дельфин же, выскочив из недр ящичка, жил сам по себе. «Надо с Пуховым встретиться, — думал Мятлин, выключая компьютер. — Он поможет уничтожить нахала».

6.

Резвящийся на экране дельфин за это время вроде поправился. Или Мятлину казалось, что тот сделался толще? Попытка еще раз уничтожить незваного гостя кончилась неудачей, после чего он решил связаться с Жаки. Переписка с ней успокаивала: ты вроде исповедовался, но оставался в тени, за кадром.

Когда написал про дельфина, Жаки долго молчала, так что пришлось ее подстегнуть:

«Эй, куда пропала?!»

Вскоре прислали смайлик с искаженной от страха мультяшной физиономией, а следом вопрос:

«Он в углу экрана возник? Маленький такой?»

«В углу и маленький. Хотя сейчас вроде стал больше.»

«Это ужжос, ужжос, ужжос!»

«Почему это?!»

«Патамушта, философ! Лучше триппер подцепить, чем твоего дельфина! Все, заканчиваю общение, начинаю проверять комп антивирусом!»

Мятлин догадывался, что в недрах ящичка поселилась бяка, теперь же полностью в этом уверился. Но разъяснений не получил — Жаки закрыла доступ на страницу. А вскоре закрыли доступ и другие ресурсы — то ли подружка расстаралась (предательница!), то ли проявлял свою каверзную сущность вирус.

Визит к Пухову оказывался неизбежен, причем лучше всего было навещать того в котельной, подгадав суточное дежурство.

— Завтра заходи, — назначил приятель. — Если сумею — помогу. Хотя есть спецы, в сравнении с которыми... О, я Башкира позову!

— Можешь хоть татарина, — ответил Мятлин, — хоть друга степей калмыка, главное, помоги.

— Да он не башкир никакой, просто фамилия у него — Башкирцев. В общем, жду.

А дельфин продолжал расти. Это была незаметная метаморфоза, вроде как морское млекопитающее врезалось в косяк сардин и от души пировало, прибавляя в весе. Вскоре тело стало значительно крупнее, превратившись в мощное веретено, на спине вырос треугольный плавник, а на голове проявилось белое пятнышко. Но главное, компьютер по-прежнему не работал, был не помощником, а бесполезным куском железа! Точнее, коварным врагом, бомбой, что, того и гляди, рванет...

Котельную в недрах Адмиралтейства Мятлин нашел, опознав автомобиль, который стоял возле спускавшейся вниз лестницы. Это был ЗИМ — та самая

машина, что возила советских шишек, включая членов Политбюро. Пухов приобрел ее по дешевке, разбитую, не на ходу, и целый год доводил до ума. Теперь ЗИМ сверкал хромированными детальками, блесстел зеркалами, поэтому не удивляло, что Пухов возил на этой тачке иностранцев по городу трех революций, чем неплохо подрабатывал.

Когда он ввалился внутрь, одетый в униформу Пухов ковырялся в котле. Башкир, оказавшийся блондином небольшого роста, был уже на месте.

— На меня внимания не обращайтесь, — сказал приятель. — У меня отопительный сезон на носу, занимайтесь своими делами.

Башкира проблема почему-то рассмешила — Мятлин волновался, даже голос подрагивал, а тот закатывался, будто перед ним чемпион сезона КВН.

— Значит, растет? Пухнет, вроде как жирком обрастает? Ха-ха-ха, ну, класс! — он поворачивался к Пухову. — Вникаешь? Растет, как на дрожжах!

— Опять, выходит, этот вирус появился?

— А он и не исчезал! — отвечал Башкир. — Он ведь живет во многих машинах, а вот активизируется только у избранных. Поздравляю!

С этими словами Башкир встал с лавки и пожал Мятлину руку.

— С чем меня поздравлять?! — ошарашенно спросил тот.

— С тем, что вирус под названием «Дельфин» активизировался в твоём компе. Видать, чем-то насолил создателю этого монстра виртуального мира. Хотя, может, ты просто жертва случая.

— Ничего не понимаю... — пробормотал Мятлин. — Объясните, что к чему!

— А что тут объяснять? — отозвался Пухов. — Хапнул ты вирус, причем не простой, а...

— Золотой! — захохотал Башкир. — Эти вирусы недавно появились, и пока никто ничего сделать не может! Они ведь развиваются, вот в чем заковыка. И раз от разу делаются все страшнее и неуязвимее. Начинается с «Дельфина», который творит мелкие пакости: в переписку влезает, начинает всякую фигню от твоего лица распространять... Было такое?

— Было... — в замешательстве ответил Мятлин.

— Потом этот «Дельфин» становится больше, толще и, в конце концов, превращается в хищную «Косатку». Как я понимаю, у тебя именно эта стадия, верно? Плавничок появился? Пятнышко на голове, а это значит: вирус обрел новую силу. «Косатка» уже на такое способна, что лучше вообще не включать комп. Почему? Потому что в один прекрасный день к тебе могут заявиться киберполицейские и заявить: ты, мол, хакер, поэтому лицом к стене, а мы будем проверять содержимое жесткого диска! Вникаешь? Это ведь срок, причем реальный, хотя ты — честный юзер, даже в мыслях не держал что-то там взламывать! Но хуже всего третья стадия, когда «Косатка» становится «Кашалотом». Вот это точно зверь, рвет нутро компа, как Тузик грелку! Одни ошметки остаются, которые еще и разлетаются по Инету, заражая другие машины!

Мятлин утер внезапно вспотевший лоб.

— Что же тогда... — проговорил растерянно. — Что же делать?!

— Не знаю! — развел руками Башкир. — Против лома, как говорится, нет приема! Потому, наверное, создатель вируса и не скрывает его, как это принято. Обычно ведь трояна или другую вирусную хрень подкидывают втихаря, как нелегального агента. А этот парень будто издевается над всеми, показывая: вот

одна стадия, вот вторая, а на третьей я вас просто на ноль помножу! Ну, блин, голова...

Взяв в руки большую «поджигу», Пухов сунул ее в раскрытую дверцу котла, повернул рукоятку, и в топке вспыхнул огонь. Дверца захлопнулась, и вот уже пламя успокаивающе гудит, а в помещении делается теплее.

— А по-моему, ничего делать не надо, — раздумчиво проговорил Пухов. — Видите все это? Котел, огонь, горячая вода — это понятно, а главное, нужно людям. Я четко понимаю, что в нескольких домах по соседству ждут, чтобы я дал людям тепло, и я его даю. Другим людям нужно, чтобы я провез их по городу на своем ЗИМе, и я их вожу. Эти машины — нужны, а вот то, о чем вы базарите...

Башкир махнул рукой.

— Бессмысленная философия, рожденная твоими дураками-луддитами!

— Луддитами?! — удивился Мятлин.

— Есть такие, — отозвался спец. — С ними наш друг общается. Не любят они виртуальный мир, хотят нас вернуть к первозданности, но с этим парнем им не справиться. Говорят, это наш человек. Слышь, Пухов? Из «рашки», говорят, изобретатель вирусов! Хотя сейчас он где-то в Силиконовой долине сидит — то ли в «Google», то ли в «Microsoft»... Толковый чел, не зря его вторым Стивом Джобсом зовут и даже вторым Николой Теслой!

Вспомнив про компьютер в кейсе, Мятлин пожелал предъявить рассказанное в натуре, но в котельной не было Сети.

— Луддиты посоветовали не включать? — ехидно ухмыльнулся Башкир.

— Сам решил.

Пухов повернулся к Мятлину.

— А тебе советую вспомнить классика: молчи, скрывайся и таи. То есть не включай какое-то время машину, глядишь, что-то прояснится.

— Что-то прояснится, — влез Башкир, — если мы вот это употребим!

Он вытащил полиэтиленовый мешочек, набитый вроде как мелко нашинкованным сеном.

— Классная дурь, мне ее такой же страдалец презентовал. «Косатки» его комп не грызли, правда, тот просто завис, когда хозяин на порносайт залез. «Стоп, машина! — командует такой сайт. — Порадовался голым жопам? Теперь плати бабло, иначе не сможешь работать!» Мужик сразу ко мне, потому что компьютер-то — жены! Ха-ха-ха, врубаетесь? Она его включает, а там порнушная картинка и надпись: система заблокирована, за снятие блокировки — 100 баксов! В общем, выручил чела, так он не только денег, еще и премию дал... Забьем косячок?

У Пухова назревал пересменок, он отказался, Мятлину же терять было нечего. Лучше бы на экране навсегда зависла чья-то голая задница, не велика беда; да и сто баксов — не деньги. У него было ощущение, будто выпал за борт в океане, родной корабль скрылся за горизонтом, а где-то рядом появился хищный кит. Выпавший отчаянно работает руками-ногами, плывет к невидимому берегу, а кит уже делает круги, готовясь схватить придурка, попавшего не в свою стихию...

Трава шваркнула по мозгам, будто кувалдой. Пространство котельной вскоре расширилось, и тесноватое помещение превратилось в просторный зал, который подметал человек с надписью «Теплоэнерго» на спине. Потом надпись

показалась где-то высоко вверху, кажется, человек забрался на котел, чтобы смахнуть оттуда пыль.

— Хватит метлой махать! — задирает голову Башкир. — Слезай, курни с нами!

Он закатывался от смеха; Мятлин тоже, а человек не слезал, и тогда Башкир схватил «поджигу». Эта штуковина была своего рода огнеметом, исторгавшим огненный факел, который вполне мог достать человека наверху. Однако цель была другая: Башкир высыпал содержимое пакета на цементный пол и, включив огнемет, направил факел на образовавшуюся горку.

— Говна не жалко, — приговаривал, — зато сейчас кайф будет — зашибись!

Когда горка зачатила, и под потолок взвился столб пахучего дыма, сверху прозвучало:

— Охренели, что ли?! Сейчас сменщица придет!

— Ей тоже достанется, не переживай... — бормотал Башкир, погружая голову в дымный шлейф. — И тебе достанется... Всем будет хорошо!

Проделав то же самое, Мятлин помахал здравому сознанию ручкой. Он будто смотрел мультфильм, в котором нарисованный человек с метлой пытался тушить чадающий холмик, кашлял, глотая дым, а потом лихорадочно листал журнал, бормоча:

— Я забыл показания приборов... Что я сменщице скажу?!

— Что ей не повезло! — отзывался Башкир. — Тебя вот вставило, а до ее прихода, пожалуй, все выветрится!

Выветриться не успело, и вскоре очередной мультяшный персонаж в женском обличье открывал форточки и зажимал нос: чем вы тут навоняли?! Пухов что-то говорил, кажется, просил принять смену, а Мятлин взял в руки «поджигу». Если ее включить на полную мощь, то, пожалуй, можно поджечь дом. Или поджарить какого-нибудь дельфина, нагло влезающего в его жизнь. А лучше всего — свалить в кучу миллион компьютеров и направить на них струю пламени, то-то весело будет! Утрись, второй Стив Джобс, да и первый пусть не радуется: мы это дерьмовое железо в одну секунду уничтожим! А начнем, как советовали мудрецы, с себя — сожжем ноутбук!

Вытащив компьютер, Мятлин положил его на табуретку и взялся искать кнопку включения огнемета.

— Натуральный луддит... — пробормотал двумерный Башкир. — Но с этим пока погоди!

Он отставил обреченный на заклятие комп в сторону.

— Эй, ты чего?! Я его приговорил! Без суда и следствия, именем научно-технической революции... В расход!

— В жестком диске надо покопаться. Вот когда покопаюсь, тогда — в расход!

Мятлин опустил на скамейку.

— А что это вы все луддитов каких-то поминаете?

— Про них Пухова спрашивай. Можешь даже попросить к ним отвезти! О, идея! Он шас закончит, мы сядем в его «членовоз» и поедем к этим придуркам!

Далее был двумерный ЗИМ, куда они умудрились, тем не менее, втиснуться. Хотя чему удивляться? Они ведь тоже нарисованные, им самое место в такой машине, которая понеслась по нарисованному, опять же, Петра творенью. Они

вырулили из глубин Адмиралтейства, сделали вираж и вскоре оказались на Дворцовом мосту.

— Кто это все нарисовал? — спросил Мятлин, обводя рукой оком.

— Вот это? — Башкир уставился на Петропавловку, затем перевел взгляд на Зимний. — Так ты ж его знаешь! Он вон там на лошади сидит!

— Тогда его тоже в расход! — жестко проговорил Мятлин. — С него же все началось! Царь-плотник, черт бы его побрал, царь-кораблестроитель... На фига было устраивать индустриализацию? На фига был нужен европейский путь? Теперь вот пожинаем плоды, боремся с косатками и кашалотами... Кстати — вон они!

Он указал на речной разлив между мостами.

— Кто? — спросил Башкир.

— Где? — спросил Пухов.

— Косатки, — отозвался Мятлин. — А может, кашалоты, хрен их разберешь... Останови, разглядим!

Они уже ехали по Биржевому. Свернув с моста, Пухов затормозил у плавучего ресторана «Каравелла», после чего двумеры высыпали из «членовоза» и поспешили к Неве.

— Где они?

Пухов озирает водную гладь, мерцающую тысячами неверных огней.

— Да вот же! — указывал Мятлин. — Прямо у Стрелки бултыхаются! Смотри, какие огромные!

— Может, это «Метеоры»? — сомневался Пухов, но Башкир поддержал:

— Какие, на фиг, «Метеоры»?! Косатки, к бабке не ходи! А там, возле моста, кашалот плавает!

— И хрен с ними! — махнул рукой Пухов. — Они плавают, а мы поедем!

Далее мультфильм сделался черно-белым. За окном машины проносились черные силуэты строений на фоне белого света от бесчисленных светильников, будто в самом умышленном городе умышленно перемешали день и ночь. И просторный двор, в который въехали, был черно-белым, а еще — забитым покореженными остовами каких-то механизмов. Груды черного металла, смятого и выгнутого неведомой силой, валялись там и тут, освещенные ослепительно белым сиянием от прожекторов. Свалка? Не-ет, подумал Мятлин, это не совсем свалка! Это рукотворное кладбище, здесь созданных человеком технических монстров превращают в пыль, в первоначальную руду, из которой они были изготовлены!

— Я понял! — хитро подмигнул он Пухову.

— Что ты понял? — отозвался тот, запирая машину на ключ.

— Здесь живут луддиты! И они обладают силой, способной уничтожить хоть пылесос, хоть паровоз! Значит, не все безнадежно? Как бы это сказать... Сила духа, короче, может противостоять Железному Миргороду?!

— Ты гонишь, Женя. Какие луддиты?! Не слушай ты этого наркомана!

Он кивнул на Башкира, который неторопливо раскуривал очередную самокрутку.

— А «членовоз» они могут уничтожить? — раздумчиво проговорил он. — Или им помочь?

Он пнул ногой колесо, подергал дверную ручку.

— Надо бы принести в жертву твою тачку. Превратить ее в такой же металлолом. А? Это будет по чесноку!

— Эй, хватит! Меня тоже вставило, но надо ж и границы знать!

Пухов встал между ЗИМом и Башкиром. Тот заржал:

— Испуга-ался! То-то же! Ладно, этот гусь нам не товарищ. — Башкир обнял Мятлина. — Затянись — и идем со мной!

Финальная затяжка, а дальше — черный ход, ступени и подвал, на удивление, огромный и наполненный людьми. Люди сидели на стульях или стояли за верстаками, ковыряясь внутри механических и электронных устройств. Вращались отвертки, стучали молотки, звенели пилы-болгарки, медленно, но верно разрушая то, что было собрано на неких конвейерах или склепано вручную. Раскуроченная техника погружалась на тачки, после чего увозилась, чтобы вскоре оказаться в том самом дворе.

С Мятлиным местные деятели здоровались приветливо, а вот на Башкира поглядывали с неприязнью. Он тоже источал одно лишь ехидство и высокомерие.

— Придурки! — говорил с усмешкой. — У них нет шанса!

— Это у тебя нет шанса! — отзывались из-за верстаков. — Чего вообще явился? Вали отсюда, только человека нам оставь! Он — наш!

Мятлин растерянно улыбался, не очень-то соображая — чей он? С кем он, мастер, так сказать, культуры? Потом перед глазами все закружилось, кажется, подступила тошнота, и картинка исчезла...

Очнулся он в одежде и в обуви, на своей кровати. В голове было на удивление ясно, только мир по-прежнему оставался черно-белым. Цветное зрение вернулось лишь после того, как оприходовал грамм двести виски, стоявшего в баре. Анализировать недавний кошмар не хотелось, и он опять провалился в сон.

7.

Спустя несколько дней на пороге возник Башкир — хмурый и недовольный. Уселся перед компьютером, включил и, не дожидаясь загрузки, вытащил из кармана полиэтиленовый мешочек.

— Тут осталось кое-что... Хочешь?

— Убери свое «кое-что»! — замахал руками Мятлин. — Я даже запаха переносить не могу!

— Зря, — философски ответил визитер. — О, мутировал! — указал он на экран, где зловеще помахивал хвостом тупорылый хищный кит. — Видишь, даже Windows не грузится? Это кашалот его сжирает. И данные все сжирает, короче, пипец компу. Ну что ж, земля пухом, и как там еще? Ага, царствие небесное!

Он встал и театрально перекрестился.

— И что теперь делать? — растерянно проговорил Мятлин. — Если земля пухом?

— Все менять на фиг, включая IP-адресок. Не возражаешь, если жесткий диск выну? Это опасная штука, но кто не рискует, как говорится...

С этими словами он в мгновение ока раскурочил ноутбук, вынул какую-то детальку и спрятал в кейс.

— Погляжу на досуге, что там эти китеныши натворили... Так ты точно не хочешь? — указал он на свой карман.

— Точно не хочу. Не до этого, честное слово.

Виртуальная морская живность заставила не слабо раскошелиться: пришлось менять и компьютер, и провайдера. Но Мятлин пока не решался включать новую технику, опасаясь, что ее тоже порвут, как Тузик грелку. Он предпочитал заходить в Сеть осторожно, с чужих машин, больше как наблюдатель, а не участник.

Письма на свой адрес он не открывал, так что вскоре скопилась внушительная «стопка» корреспонденции. Но письмо, озаглавленное «Песни китов», он не мог не открыть. Он понимал: никаких посланий с того света быть не может. События вдруг выстроились в логическую цепочку, и таинственная тень, мелькавшая там и тут, обрела плоть.

В письме не было ничего особенного, лишь приложенный звуковой файл. Во избежание порчи казенного оборудования Мятлин не стал его прослушивать, да и зачем? Он прекрасно помнил странные звуки, исторгаемые магнитофоном «Яуза», которые не мог понять ни тогда, ни сейчас. Они сидели с Ларисой на диване, по комнате плыли то ли жалобные стоны, то ли завывания, а юный Мятлин пытался уловить в них смысл. Он привык к тому, что в словах, произносимых или начертанных на бумаге, есть смысл — если не логический, то хотя бы эмоциональный, запрятанный между строк. Звуки же издавало нечто непонятное, непознанное, плавающее в темной глубине, попробуй тут дешифруй!

Что думал об этом Рогов? Вряд ли что-то положительное, этот «железный Феликс» находился от живого мира еще дальше эстета Мятлина, значит, послание было издевательской шуткой.

На следующий день он позвонил Башкиру.

— Я знаю, кто этот новый Тесла.

— Ну да?! — удивился тот. — И кто же?

Башкир все выслушал, но разделять возмущение Мятлина не спешил.

— Я тут исследую твое железо, и хочу тебе сказать... Он крут! Очень крут! В общем, если разыщешь его...

— Зачем я буду его искать?!

— В общем, если найдешь этого Рогова, передай привет от Башкира. А лучше познакомь!

Естественно, разыскать Рогова хотелось. Другой вопрос: как? Мятлин потерял того из виду в эпоху перемен, когда жизнь играла в чехарду; а еще гибель Ларисы, обесмыслившая их соперничество... От Клыпы он знал, что Рогов пропал во время испытаний какого-то секретного корабля. Но еще через пару лет дошел слух: всплыл где-то за бугром, то ли в Германии, то ли в Швеции. Жизнь и дальше разводила и отдаляла, так что со временем Самоделкин почти стерся из памяти. И тут здрасьте, воскресает!

Поиск Всеволода Рогова в Интернете оказался делом неблагодарным, как поиск Васи Иванова или Вани Сидорова. «Яндекс» предлагал железнодорожника, юрисконсульта, студента мединститута, художника-мультипликатора и т.п. Море разлитое кандидатур, и все мимо кассы. Не лучше обстояло дело и с фамилией Rogoff, вброшенной в англоязычный поисковик, который упорно подсовывал некоего Кеннета Рогоффа, экономиста и шахматиста. Да и зачем

Рогову в открытом доступе светиться? Он наверняка спрятался за каким-нибудь пошлым ником, а тогда поиск становится вообще безнадежным делом...

В эти дни на работе, как по заказу, предложили поездку на конгресс в Филадельфию. В докладе, как сказал директор вуза, можно было бы развить ту самую тему про фаллическое техническое начало, только требовалось больше иллюстраций из жизни. Поначалу Рогов загорелся идеей — во-первых, никогда не посещал Америку, во-вторых, у него там было важное *дело*. Но вскоре понял, что главная иллюстрация к его работе — он сам. И, если быть честным, следовало вылить на головы публики именно собственную историю. А оно ему надо? И вообще поездка лишь отсюда казалась привлекательной, на самом деле он будет ходить по этой Филадельфии, озираясь по сторонам и видя в каждом прохожем Рогова. И ни в какую Силиконовую долину, конечно же, не поедет, потому что а) командировочных не хватит, б) искать там человека — как искать иголку в стоге сена. Короче, он отказался, чем привел директора в явное недоумение.

Он отправился поближе, на улицу Чайковского. Решение далось нелегко, он даже не стал звонить — вдруг не захочет переступить порог? Если же захочет, то сделает звонок прямо от парадной, мол, случайно оказался поблизости, и вот решил... Потом пил бы чаек и внимал бесконечной саге безутешной матери, жадно ловя детали и подробности. Светлана Никитична выкладывала их более чем охотно, цепляясь за воспоминания, как за соломинку.

— А помните ее любимую кружку? С собачкой была кружка, ага, вон там стоит!

Она указывала на верхнюю полку застекленной стенки с посудой.

— Она специально эту кружку купила, сказала, что собачка на ее любимую Грету похожа.

И тут же — рассказ про сбитую грузовиком собаку, как ее оперировали, как Лариса трое суток не спала, а когда утратила верного друга, просто лицом почернела, погрузившись в депрессию. Мятлин раз семь слышал этот рассказ. Но если раньше это был просто ностальгический треп, вполне объяснимая попытка вернуться в золотую пору жизни, то теперь беседа могла обрести иную подоплеку. Чем больше нюансов и подробностей, тем лучше, можно было бы даже диктофон прихватить. А что? Светлана Никитична оценила бы его порыв и, возможно, напряглась бы и выдала нечто оригинальное.

Волнение нахлынуло, когда оказался у парадной. Деревянная дверь сменилась стальной, с кнопчным домофоном. Но он не стал набирать код, дождался, пока выйдет кто-то из жильцов, проскользнул внутрь и долго стоял у порога, озирая арку перед лестничным пролетом и двух кариатид слева и справа.

Ранее парадная была неказистой: облезающая синяя краска на стенах, потолок с подпалинами от приклеенных спичек — в таком контексте полуголые женские фигуры смотрелись нелепо. Теперь же стены покрасили в мягкий желтоватый цвет, потолок побелили, и кариатиды вроде как оказались на месте.

Приблизившись к одной, Мятлин вспомнил, как на ее животе увидел изображение грубого хирургического шва и надпись: «кесариво сичение». Он долго потешался над творением хулигана-двоечника, призывая Ларису посмеяться вместе с ним, мол, вот образчик внедрения современности в творения предшественников, по сути, постмодернистский микст. Лариса же просто достала платок и вытерла следы фломастера. Через неделю на выпуклом животике опять появилось изображение надреза с подписью «апиндицит».

Лариса стерла изображение еще раз, после чего делала это регулярно, пока вандал не сдался, а может, просто потерял свой черный фломастер.

«Надо бы эту деталь тоже записать...» — подумал Мятлин перед тем, как начать подъем по ступеням. Он не стал входить в лифт — на третий этаж можно было подняться и пешком, что всегда и делал. Раньше, правда, прыгал через две ступени, теперь же поднимался осторожно, по-прежнему не имея уверенности в том, что визит необходим.

Когда до квартиры остался один пролет, щелкнул замок, и на площадку кто-то вышел. Успев спрятаться за лифтовой короб, Мятлин вскоре услышал:

— Спасибо, большое вам спасибо! Если бы не вы...

Это был голос Светланы Никитичны — надтреснутый, почти старушечий. Мятлин не был здесь давно, последний раз звонил года два назад, чтобы поздравить с Новым годом, и уже тогда по голосу можно было судить: она основательно сдала.

— Да что вы, ей-богу... — отвечал мужской голос. — Я через неделю еще раз зайду.

Мелькнула дикая мысль: Рогов?! Но откуда?! Нет, это полный бред, Рогова здесь не может быть! Тем не менее, когда хлопнула дверь, Мятлин замер: войдет в лифт? Или спустится по лестнице? Незнакомец выбрал второй вариант, значит, изобразим непринужденность, типа: я в другую квартиру.

Из-за короба вначале показалась рука с палочкой, затем и ее обладатель — некто в черном берете и плаще. Этот человек хромал и вообще был слегка перекошен влево, как те, кто перенес в детстве полиомиелит. Отметив эту особенность и скользнув взглядом по лицу незнакомца, Мятлин направился было вверх, но его придержали за рукав.

— Туда направляетесь?

Хромец указал на дверь, из которой только что вышел.

— А вам, собственно, какое...

— Никакого, если честно. Но лучше бы вы туда не ходили.

Мятлин только теперь вырвал рукав из цепких пальцев.

— А... с чего вы вообще взяли, что я иду сюда?

— Потому что я вас знаю. Вы меня вряд ли вспомните, а я вас запомнил хорошо. И еще тогда понял: от вас не дождешься ничего хорошего.

— Очень любопытно... — пробормотал Мятлин. — Вам, значит, можно сюда ходить, а мне нельзя?

— Как же я могу запретить? Не рекомендуется — так будет точнее. Вы оба ничего не поняли в Ларисе. А тогда зачем тревожить память?

— Что значит — оба?!

— Вы прекрасно понимаете, что это значит. Оба — значит, оба. Другой сейчас где-то далеко, но не исключено, что и он здесь когда-нибудь появится.

Хромец смотрел на Мятлина то ли с жалостью, то ли с презрением, что было, по меньшей мере, странно.

— Впрочем, решайте сами, — усмехнулся тот. — С лестницы я вас не смогу спустить при всем желании.

Незнакомец похромал вниз, Мятлин же застыл на месте. Минуту-другую он колебался, стоя перед лестничным пролетом в двенадцать ступеней (он хорошо помнил это число). Несколько шагов вверх — и он все выяснит, расставит точки над *i*, и в растревоженную душу сойдет покой. А если не

выяснит? Если вместо покоя лишь усилится тревога, в которой он и без того пребывал?

Так и не набравшись мужества, он с унынием стал спускаться. Незнакомца на улице не было, и Мятлин, обнаружив в соседнем доме рюмочную, завернул туда. Выпил сто коньяку, подумал — и купил еще сто. Хромец в берете вынырнул из прошлого, будто кашалот, и пребольно куснул. «Вы ничего не поняли... А ты, значит, понял?! Да пошел ты знаешь, куда?!» Коньяк расслабил, потянуло выговориться, но затрапезная публика к душевной беседе не располагала. Да и другая публика вряд ли бы расположила — для этого была припасена особая жилетка, к которой он приник в ближайшем интернет-кафе.

Обнаружив вышедшую на контакт Жаки, Мятлин обрадовался, будто встретил старую знакомую, которую не видел много лет. Та осторожно выспрашивала про его дела (если у него, бедненького, могли быть какие-то дела), и давала ссылку на сайт, где можно было скачать антивирус под названием «Китобой».

«И как — удачно охотится этот "Китобой"»?

«Некоторым помогает. А как вообще дела? Как личная жиссь?»

Можно было, как всегда, в ироничном ключе описать последние события своей жизни, с одной стороны, облегчив душу, с другой — оставшись анонимом. Но после пережитого внезапно и остро захотелось войти в кадр. Жизнь — короткая и зыбкая штука, не успеешь оглянуться, как уляжешься на Южном или Северном, и кто тогда будет стучать по *клаве*? Кто будет язвить и пикироваться в сетевых сообществах? А тогда выходим из тени, делаем шаг под софиты и, утирая струящийся по лицу пот (жарко светят, гады!), начинаем горькую исповедь.

Он признался во всем — раскрыл имя, биографию, прикрепил настоящее фото, если чего и утаив, то лишь по забывчивости. Жаки несколько раз подгоняла, мол, чего молчишь, он же, не обращая внимания на пинки, лихорадочно заполнял значками экран. Перед отправкой послания закончилось оплаченное время, пришлось еще раз тащиться к кассе, но вот, наконец, дело сделано, и можно выйти на перекур.

Мятлин успел выкурить еще одну сигарету, пока дождался ответа. Хотя лучше бы не дожидался. На него обрушился письменный ор: на фига, философ?! Сидел в виде памятника с блестящим пальцем, никому не мешал, и на тебе! Не нужно мне твоей постной физиономии; и признаний твоих не нужно! Ты же, козел двурогий, хочешь сочувствия, так?! И ответного признания, верно?? Наверняка встречи в реале попросишь, цветочки принесешь на свиданку, а дальше — кафе, бухло, постель! Но ты спросил: а хочу ли я всей этой фигни?! Так я отвечу: не хочу! Меня интересовала жизнь неизвестного мужика, которого я могла вообразить таким, могла — этаким, а какой-то Мятлин (ну и фамилия!), у которого болит левая почка, две брошенные жены и запыленная однокомнатная квартира — мне на хрен не нужен!

Закончив чтение, Мятлин в очередной раз утер взмокший лоб. И правда: зачем писал про почку? Про пыль в квартире? Хотел деталей прибавить ради убедительности, а на самом деле гиперреализм какой-то получился. Впрочем, и без пыли любимая жилетка исчезала, пропадала навсегда, и он сам был в этом виноват. Она угадала: хотелось попросить о встрече, купить букет, пригласить в кафе и т.п. Но та, что пряталась за разгневанной физиономией Жаклин

Кеннеди (где только фотку такую нашла?), похоже, проходила такое и не желала наступать на те же грабли.

Поездка в Пряжск вроде была не мотивирована. Он давно покинул место рождения, связывающие с городом нити — друзья, родители etc. — оборвались, короче, ехать вряд ли имело смысл. Но Мятлина тянуло, и сила притяжения, похоже, имела ностальгическую основу. Да и о Рогове, быть может, удастся что-то узнать, все же одна ниточка имелась — Клыпа, который не прекращал мелькать на горизонте. Еще в эпоху перемен он занялся «гешефтом» в варианте купи-продай. А покупать, понятно, удобнее в больших городах, чтобы перепродавать в маленьких. Чаше Клыпу заносило в «южную» столицу, но не брезговал он и «северной», закупая товар то в порту, то на Апраксином дворе, то в каких-нибудь Шушарах. И всякий раз звонок: «Можно у тебя остановиться?» Вряд ли «гешефтвахер» не имел денег на гостиницу, но, во-первых, он всегда был прижимистый, во-вторых, укреплял контакт со своим человеком в мегаполисе. Мятлин и так и эдак давал понять: никакой он не *свой*, его сфера интересов иная, но потомок прапорщика был непробиваем. Пряжский — значит, свой; свои должны поддерживать друг друга, а чужих — гасить.

Телефон Клыпы с последнего визита не поменялся, и Мятлин, договорившись о дне прибытия, отправился покупать билет.

8.

Клыпа встречал его на своем Mitsubishi Pajero. И машина, и личный водитель, и коньячок в бардачке — все намекало на непростой статус старого знакомого. По дороге с вокзала тот молот всякую чушь, дескать, надо навещать малую родину, а друзей забывать — не надо, в глазах же читалось: видишь, как я *поднялся*? Мы не столица, но тоже кое-что значим: у нас бизнес, уважуха, и вообще все схвачено!

По просьбе Мятлина его высадили на окраине Городка.

— Хочу подышать воздухом малой родины, — сказал он, покидая джип.

— Подыши, полезно...

Договорились встретиться в ресторане «Пряжа», что в пойме реки, после чего Мятлин отправился бродить по знакомым местам.

Все внезапно уменьшилось, будто пейзаж детства сжался, как сдувшийся воздушный шарик. Панельные пятиэтажки выглядели на удивление маленькими; и школа стала крошечной, и парк с кинотеатром; даже заводские корпуса вроде сделались ниже. Объективно они оставались огромными, как и прежде, но проходные были намертво заколочены, на территории царил запустение, что превращало индустриальные гиганты в декорации прошедшего спектакля. Декорации разбирали, растаскивали, через многочисленные дыры в заборах шнырял темный народец и что-то тащил, тащил...

— Здесь это единственный источник дохода, — докладывал Клыпа, когда сели обедать. — Вначале несли цветмет, теперь — все, что плохо лежит. Хотя там, если честно, уже ничего не лежит, один металлолом остался. А ведь какую технику делали! Какую аппаратуру!

Они сидели в элитном, по меркам Пряжска, ресторане, где Клыпа заказал себе половину меню: два салата, холодец, украинский борщ, свиную котлету...

Наверное, поэтому из деталей прежней жизни лишь потомок прапорщика увеличился в размерах, сделавшись вторым изданием покойного папаши.

— Чего будешь? Заказывай, не стесняйся, я в этом кабаке скидку имею! Я в городе вообще кум королю, так что в случае чего — мою фамилию называй!

— Стал авторитетом? — усмехался Мятлин.

— Типа того. А что? Бандюков, что мазу держали, перестреляли давно, теперь нормальные люди дела крутят...

Нормальный человек привирал, имелись и другие источники дохода: сам он владел тремя торговыми точками, пунктом приема *плохо лежащего* металла, складом стройматериалов, а еще коттеджем в пойме реки, который очень хотел показать гостю. Но Мятлин сказал, что хочет посетить могилу матери.

Кладбище тоже увеличилось. Оно и раньше не было маленьким, занимая большой лесной массив, окруженный с одной стороны частной застройкой (где и жили злейшие враги), с другой — огромным пустырем. А поскольку дома не снесешь, расширение происходило за счет пустыря: могилы выползали из-за стоящих в ряд деревьев, заполняя травяное замусоренное поле сотнями новых крестов, оград и памятников. То есть переселение на погост шло ударными темпами, глядишь, кресты к Городку скоро подступят, любуйтесь из окон...

Он не был на могиле со дня похорон. И до сих пор не мог понять, почему мать не захотела, чтобы ее прах перевезли в Питер. Никакого завещания та не оставила, просто знакомые (учителя на пенсии) сказали, мол, изъявила желание быть погребенной на родине. Как, почему?! Она же терпеть не могла провинцию, выгоняла его отсюда чуть ли не силой! Но пойти против воли той, кого уже нет, он не решился.

С трудом разыскав могилу, Мятлин остановился у ограды. Он удивился, увидев памятник, хотя сам пересылал деньги на изготовление и установку. Черты матери на темном граните были знакомыми и в то же время незнакомыми, вроде как две ипостаси — потусторонняя и земная — объединились в высеченной на камне фотографии. Ограда была выкрашена, перед стелой красовалась вазочка с искусственными цветами, не иначе, коллеги-пенсионерки постарались. Что успокаивало и вместе с тем заставляло стыдиться — он вроде как оказывался неблагодарным потомком, презревшим «любовь к отеческим гробам». Он почти не надеялся получить ответы на вопросы, что когда-то повисли в воздухе, и, конечно, ничего не получил. Вставил в вазочку бордовые розы, не без облегчения закончив ритуал, и отправился к выходу.

Клыпа сказал: отдашь долг памяти, приходи в развлекательный центр, что на площади, в боулинг поиграем. Но Мятлин отправился туда, где некогда шастал юный Рогов. Чем-то он напоминал себе Иванушку, который ищет дуб, под ним сундук, в сундуке зайца и т.п. Проще говоря, нащупывает уязвимое место соперника, который в этом контексте уже и Самоделкиным-то не был, вырастая до престижного статуса Кощея Бессмертного.

Проникнув через дыру в заборе на территорию автозавода, он двинулся мимо длинных серых корпусов, черневших оконными проемами с разбитыми стеклами. Людей на заводе не было видно, попалась только парочка местных мародеров. Поворот, еще поворот, и вот — ослепительно белый песок, окружавший рукотворный карьер для испытания плавающих БТРов. Мятлин приблизился к воде, оказавшейся медно-ржавой. Что не удивляло: посреди озера торчали два наполовину утопленных металлических каркаса. Что тут вообще

особенного?! Когда-то Лариса рассказывала, как Севка цеплялся за машины, проходившие испытания на карьере, плавал за ними, так ведь глупость это!

Мятлин бродил по мрачным темным цехам, наблюдал раскуроченное оборудование, груды проржавевших деталей — ну прямо иллюстрация к антиутопии. Здесь прошел смерч, случилась уэллсовская «Война миров», в которой некие пришельцы нанесли смертельный удар миру земной техники. Она проиграла по всем статьям, оказалась никому не нужной материей, хотя раньше оборонные монстры, можно сказать, подчиняли себе жизнь Пряжска. И в пресловутой Америке немногим лучше, да, да, поезжайте в Детройт, чтобы убедиться! Увидите такие же мертвые корпуса, такое же запустение, хотя некогда город гудел конвейерами и сиял огнями заводов, выпускавших миллионные табуны железных коней. Утрись, Рогов, в своем американском далеке, ты все равно раб мертвого железа, у которого один путь — на это кладбище, выглядывшее еще более жутко, нежели кладбище с человеческими останками.

Рогов же ехидно ухмылялся из-за океана: если ты такой умный, почему тогда не заглядываешь в свой верный комп? Почему боишься его, словно это гремучая змея? Увы, крыть было нечем. Как ни убеждал себя Мятлин, что ничего экстраординарного здесь появиться не может, реальное бытие его опровергало. То есть дуб он, может, и свалил, но до зайца внутри сундука, тем более до заветной иглы, в коей крылось могущество Кощея, пока не добрался.

И все-таки из этой провинциальной банальщины родилось что-то невероятное, перепрыгнувшее океан и утвердившееся в самой могучей стране земного шара. Из грязи в князи, со свалки в Силиконовую долину, где можно безнаказанно творить гадости, упиваясь тем, что Железный Миргород победил. Претерпел мутацию, обрел новое обличье и поглотил все и вся, задавил своим ползучим могуществом.

Вернувшись во двор, Мятлин уселся на скамейку возле стальной перекладки, на которой выбивали пыль из ковров и паласов. Вдруг вспомнилось, как Рогов, обозлившись на что-то, рассказал, как подслушивал их с Ларисой разговоры. Пользовался тем, что Мятлин лох, подключался к их *локальной сети*, как теперь бы сказали, и наглым образом слушал то, что для чужих ушей не предназначалось. Да и сейчас он занимался тем же, использовал возросшие возможности, чтобы в очередной раз отомстить...

Воспоминания прервала седая женщина в цветастом халате, вышедшая с ковриком в руках. Перекинув его через железную перекладину, она взялась выбивать пыль — по старинке, без всяких пылесосов, как это было в детстве. Облик женщины был смутно знаком, только откуда? Она тоже поглядывала на Мятлина, когда же закончила, сама подошла, оказавшись его преподавателем математики. Она жила в крайнем подъезде, даже иногда бывала у них, поскольку работала в одной школе с матерью. Но имя-отчество Мятлин забыл, благо математика никогда не относилась к числу любимых предметов.

Людмила Григорьевна сама напомнила, как ее зовут. Дежурно поспрашивав про жизнь, она взялась рассказывать о школьном празднике, что состоялся в мае, и куда Мятлина тоже приглашали.

— Что же вы, Женя, не приехали? — пеняла она. — Вас так не хватало! И Севы Рогова не хватало, но он, говорят, где-то далеко живет?

— Далеко, — кивнул Мятлин (ему вдруг стало неприятно).

— Мы отправляли ему приглашение, но ответа не получили.

Мятлин усмехнулся.

— Важным человеком, наверное, стал...

— Ну да, ну да, вы все кем-то стали. Жаль, что Лариса...

— Она погибла, — быстро проговорил он и полез в карман за сигаретой. Он не любил это обсуждать, предпочитал воспоминания наедине с самим собой, и сейчас жалел, что не отклонялся с ходу.

— Я знаю... — отвела глаза Людмила Григорьевна. — Хотя до сих пор не могу поверить. В том выпуске вы трое были самыми интересными ребятами. Разными, но интересными. И меня, если честно, не удивляет, что у вас образовался треугольник.

— А он образовался?! — изобразил удивление Мятлин.

— Конечно, об этом многие знали. Вначале я считала, что он равносторонний, но сейчас думаю: равнобедренный.

— Извините, для меня эти математические термины не очень понятны...

— А тут и понимать нечего. Лариса была отдельной вершиной, отличной от вас.

Позже он понял: его не собирались обижать, скорее, хотели сказать хорошее о Ларисе. Но это позже, в тот момент он обиделся, поэтому свернул общение под каким-то надуманным предлогом, даже начал тыкать в кнопки телефона (дела, мол!).

Еще одна встреча состоялась в пивной, куда Мятлин забрел успокоить нервишки. Расположенная под открытым небом, пивная напоминала ушедшее время — то ли пузатыми гранеными бокалами, то ли пролетарским контингентом вперемешку с урлой. Когда Мятлин встал в очередь к стойке, сзади пристроился некто с костылем и с обилием наколок на предплечьях, похоже, вечный обитатель тюремных нар, задержавшийся на воле междуходками.

— А я тебя знаю, — тронул тот за плечо. — Ты с Советской, учительский сынок, верно?

Мятлин что-то пробормотал, взял бокал и поспешил за столик. Обладатель костыля направился следом и, поставив свое пиво, уселся рядом.

— Видишь, что написано? — сунул под нос предплечье. На бледной коже, прорезанной бугристыми венами, красовался сонм надписей непонятного содержания. Мятлин пожал плечами.

— Что написано?

— СЛОН. Что означает: с малых лет одни несчастья.

В памяти всплыло: лесная опушка, ведра с разливным вином, и некто, подносящий кружку за кружкой...

— Вспомнил, да? Ты тогда набухался вусмерть, книжки свои потерял, потом блевал...

Мятлин скривил лицо в вежливой улыбке.

— Что ж вы букву «М» не добавили? — спросил. — Так и ходите с грубой ошибкой...

Визави и сам был грубой ошибкой, то есть доходягой: худой, с просвечивающей кожей, без передних зубов, он наверняка имел кучу болячек внутри тшедушного тела, которое вряд ли переживет очередной срок. Сколько ровесников закончили так — и не сосчитаешь; хотя Мятлин, собственно, и не собирался считать.

— А мы тебя тогда накачали! — щерился в ухмылке доходяга. — Тебя ж до

желчи выворачивало, я помню! А почему? Потому что не тренированный был! Бормотуха — она тренировки требует, к ней желудок приучить нужно. А как приучишь, если книжки читать? Слабаком ты, выходит, оказался, опустили мы тебя...

Он раз за разом повторял подробности, смаковал их, видно, упивался давно прошедшим звездным часом, когда кого-то грамотно *опустил*. Но Мятлина, как ни странно, это не взволновало. Он понял, что разговаривает с живым трупом, тут даже воображение включать не требовалось — жизнь сама пропишет этот сценарий до логического конца.

Он допивал свою кружку, когда рядом притормозил Mitsubishi Pajero, оттуда выбрался Клыпа и, грузно переваливаясь, направился к столикам.

— Отдыхаешь в благородной компании? — прищурился, озирая публику.

— Нормальная компания, Николай Захарыч! — обнажил беззубый рот компаньон. — Присоединитесь?

— Я в таких шалманах не пью.

— Тогда, может, на кружечку пожертвуете?

— Перебьешься. — Клыпа повернулся к Мятлину. — Ну, допил? Тогда пойдем, есть новости.

Оказалось, Клыпа времени зря не терял, все ж таки человек дела. Он помнил просьбу разузнать кое-что о Рогове, который действительно сидел где-то в американских штатах, по всему видать, зашибая неслабые деньги. Откуда это известно? От матушки его, она еще жива, хоть и переехала в другой район.

— Он ей бабло оттуда присылает. Сколько — она не сказала, но мои знакомые в «Пряжа-банке» говорят: тетка по нескольку штук баксов укладывает на счет. И жалуется при этом: «Куда мне столько? На царские похороны, что ли?»

— Действительно важным стал... — пробормотал Мятлин.

— А то! Он там тоже типа авторитет, если столько имеет... А ведь придурок был, верно? Вечно в своих мотоциклах ковырялся, чумазый, как черт... И папаша его такой же чудик был: все какие-то вечные двигатели изобретал, помнишь?

Мятлин помнил смутно, да и не интересовал его покойный Рогов-старший.

— А поговорить с его матушкой можно?

— Не хочет она ни с кем говорить. Но с моими девушками из банка общается, только им, можно сказать, и доверяет. Короче, она сама его из виду потеряла, деньги приходят с адреса какой-то посреднической конторы. Так что где он сидит — неизвестно. Хотя одна зацепочка есть.

— Какая же?

— Рано об этом говорить. Пусть мои девочки поработают с мамашей, они ей проценты начисляют, а по ходу могут побазарить насчет сынка.

На следующий день Клыпа явился в тот же ресторан и выложил на стол тетрадь. Старую, потрепанную, в коричневом дерматиновом переплете — в такие общие тетради Мятлин когда-то записывал конспекты.

— Девочки правильно поработали, — поглаживал Клыпа облезлый дерматин. — Пообещали тетке отдать тетрадку в хорошие руки, может, даже что-то опубликовать... На этом ее и подловили: бабки ей не особо нужны, но сыночка, похоже, хочется прославить. Короче, это его записки.

У Мятлина екнуло сердце. Внутри этой неказистой тетрадки, возможно,

крылись ответы на мучающие его вопросы, иначе говоря, *яйцо* и *игла* были найдены.

— В общем, разбирайся, если хочется. Я посмотрел — вроде ничего особенного, иногда вообще бредятина. Жертвы кораблю, какой-то белый мичман...

— Белый мичман?! — встрепенулся Мятлин.

— Ага. Пурга полная, похоже, бухал он на своих кораблях со страшной силой. Но мозги не пропил, если сумел респект в Штатах заработать...

Он знал: за подарок придется платить, как минимум, свободным временем. Но пока об этом не хотелось думать. Пряжск оказался Сезамом, подарившим заезжему гостю сокровище, так что задерживаться не имело смысла.

На другой Мятлин сидел в купе, наблюдая, как мимо ползет индустриальный пейзаж с мертвыми заводами. Несмотря на бойкость отдельных местечек, организм города гнил заживо, будто тело огромного животного. Когда-то животное имело шанс, пухло, как на дрожжах, подогреваемое имперскими амбициями и оборонными заказами, и вот — коллапс, превращение в труп. Как и положено, труп облепили падальщики вроде Клыпы, только их бойкая суета — свидетельство смерти, а не жизни.

Внезапно подумалось: «Ларисе было бы жалко умирающий город — не выносила, когда что-то погибает». А ему? Нет, ему жалко не было. Наблюдая мелькающие в окне кирпичные корпуса, он чувствовал, как освобождается от шкуры пряжского жителя, вылезает из нее, словно змея из мертвой оболочки, и устремляется вперед...

9.

Даже беглого пролистывания хватило, чтобы прибавилось уверенности. Текст был стихией, в которой Мятлин плавал, как дельфин, и нырял, как кашалот; он резвился на просторах, заполненных словами и фразами, свободно дышал в этой среде, оппонент же не был приспособлен к обитанию в ней. Зачем ты, сирый и убогий, пытался выразить себя словами? Зачем напрасно мучил бумагу? Ты допустил прокол, бумага — она как проявитель, тут ничего не скроешь, а значит, я возьму твою душонку за ушко и вытащу на солнышко!

Так думал Мятлин, погружаясь в дешифровку (иначе не назовешь) каракулей, сделанных химическим карандашом. С первых строк было заметно волнение, владевшее «аффтором». О том, что Севка не дружит с изящной словесностью, Мятлин знал со школы, когда пролистывал его сочинения, стащив тетрадь со стола матери. С годами дружбы не возникло, фразы по-прежнему звучали коряво, а попытка слепить сложное предложение с парочкой причастных оборотов, как видно, выжимала из Рогова семь потов.

Лишь спустя время Мятлин начал различать за каракулями смысл. Рогов писал про то, что они все — жертвы, которые приносятся непонятно кому и ради чего. Что их корабль — это машина, которая питается человеческими жизнями, они ей нужны даже больше, нежели авиационный керосин для турбин. А вот и название корабля всплыло: «Кашалот», что было вполне логично и объясняло кое-что из последующих делишек. Типа юмор такой, хотя в то время, что описывалось в тетради, Самоделкину было не смешно. Страшно ему было на корабле, по которому невидимой тенью бродил пресловутый белый мичман. А

ведь могли и белые кони ходить, как в анекдоте про алкоголика. Что тут удивительного, если пили отраву под названием *шило*, и явно в изрядных количествах?

Спасением могла быть некая База, которую Рогов описывал с явной надеждой на лучшее. Расположенная где-то на Севере, База собирала под крыло остатки советской технической интеллигенции, которая могла бы в изолированных условиях продолжить свою работу на благо непонятно кого и чего. Страна разваливалась, трещала по швам и летела в тартарары, а эти о технической Мекке мечтали, черт бы их побрал! База была светом в окошке, путеводной звездой, а еще предметом ожесточенных споров, например, с неким Жарским, который в тексте иногда обозначался инициалом Ж. «Не знаю, есть ли на самом деле эта База, — сказал недавно Ж. — А я верю: есть! Должна быть! Без нее мы умрем в этом море, в одной большой холодной могиле...»

Дальше, однако, тональность менялась, автор вроде как примирялся с неизбежностью, поскольку обнаружил странные изменения в себе и своих коллегах. И про белого мичмана писал теперь без страха, вроде как сроднился с этим посланцем загробного мира. «Мы разговаривали на палубе с белым мичманом...» «Он приведет нас на Базу...» «Мы спасемся с его помощью...» Это была уже клиническая картина, «делериум тременс», и все же Мятлин не бросал чтения. Каракули завораживали, сквозь них проглядывала иная картина мира, недоступная гуманитарии. Или это всего лишь иллюстрация бесчеловечности системы, доведшей людей до маразма? Ответа в тетради не было, увы, писал не аналитик, обычный хроникер с не очень здоровой психикой...

В конце концов, Мятлин сделал выбор в пользу бреда, мол, допился, голубчик, свалившись в дурную мистику и примитивную мифологию. Память услужливо подсовывала схемы, по которым строилась горячечная выдумка — например, миф про Моби Дика, за которым гонялся неистовый капитан Ахав. Здесь сам корабль назывался «Кашалотом», капитанов было два, но кто сказал, что схему копируют один к одному? И «Одиссея» просматривалась, поскольку обреченному кораблю не светило вернуться к родным берегам, он должен был сгинуть в морской пучине. Судя по записям, экипаж все время пребывал где-то между Сциллой Ивановной и Харибдой Моисеевной, разве что вынужденный заход в Таллин был долгожданным (но кратковременным) отдыхом подобно остановке на острове Цирцеи. А База была чем-то вроде выдуманной Касталии, где интеллектуалы-электронщики могли вести беззаботную жизнь, изобретая невиданные устройства и аппараты. Или тут все проще, то есть Рогов просто зачитался фантастической повестью «Понедельник начинается в субботу»? Похоже на то, техническая камарилья всегда мечтала самозабвенно трудиться, не отвечая за чудовищные результаты своих трудов.

Мятлин вроде как раскапывал культурный слой, пытаясь в его глубинах обрести противоядие от стихии, к которой прикоснулся его оппонент. Но получалось плохо. «Мертвое поглощает живое, — писал Рогов. — И с этим надо смириться. Надо служить мертвому, только в этом шанс». И Мятлин скрепя сердце вынужден был соглашаться: поглощает, ничего не попишешь. Мертвая материя сделалась гибкой, изобретательной, стала настолько похожей на живую, что многие уже не отличают одну от другой. А тогда, может, стоит поклониться стихии?

Ближе к концу по сердцу резанула фраза: «Если бы она осталась жива, все

было бы по-другому. Потому что она...» Далее синева химического карандаша расплывалась смутными пятнами — на бумагу то ли попала морская вода, то ли пролились слезы. Впрочем, Мятлину не требовалось продолжение, он мог и сам продлить фразу. Если бы она была жива, все действительно могло повернуться иначе. В ней было то, чего так не хватало им обоим, у нее внутри жила невидимая сила, на поверку оказавшаяся слабостью. А ведь им не хотелось быть слабыми! Они стремились обустроить свои плацдармы, *физик*, блин, и *лирик*, а самое важное — проглядели!

В финале опять застучала в мозгу фраза: «Смерть — это все мужчины». Не из Рогова, он вряд ли читал этого автора, просто подумалось: справедливо. У мужчин не жизнь, а вечный бой, покой им только снится, а в бою что делают? Разрушают и убивают, больше ничего!

После чтения в голове долго теснились странные образы, что означало: записки взволновали. Но не сильно продвинули в главном — он не получил «джокера», с которым можно выиграть партию. Может, разузнать что-то об этом корабле? Не фикция же он, Рогов действительно трудился в оборонной отрасли, а она никуда не делась, хоть и стала скромнее.

Здесь помог сориентироваться Пухов, в последние год-два освоивший оригинальный экскурсионный маршрут: он усаживал в ЗИМ иностранцев и возил их по заброшенным предприятиям оборонного комплекса. Кораблестроительные заводы тоже входили в маршрут; на одном из таких предприятий они вскоре и оказались.

Забрались в такой медвежий угол острова Голодай, где блистающему хромом «членовозу» было уже не проехать. ЗИМ встал перед огромной рытвиной в асфальте; справа серел полуразрушенный бетонный забор, слева текли воды замусоренного канала.

— Индастриал-туризм нынче популярен, — пояснил Пухов. — От таких мест иноземцы балдеют, это тебе не Эрмитаж. Привезу их на ЗИМе в такой анус — только треск фотоаппаратов стоит! А если на территорию попасть, память на всю жизнь останется! Ну, пошли?

Оставив машину, двинулись вдоль забора, чтобы вскоре оказаться перед лазом в рост человека.

— Прощу! — вытянул руку Пухов. Мятлин оглядел заводские корпуса из красного кирпича.

— Недавно я что-то похожее видел — на родине. В Пряжке такого добра завались, все заводы умерли. Может, туда возить твоих клиентов?

— Может, и туда. Здесь-то завод не умер, это просто старая территория. А на новой в режиме совершенной секретности по-прежнему что-то производят.

— А охраны здесь нет?

— Может, и есть. Но для охраны у меня припасено вот это.

Пухов вытащил из кармана бутылку коньяка.

— Действует безотказно. На крайний случай бабок дашь — и отстанут.

От корпусов тянулись мощные ржавые рельсы к Неве, куда, надо полагать, спускались изготовленные морские посудины. Перешагивая рельсы, они миновали один корпус, другой, после чего свернули к реке. Берег был усеян искореженным железом, остовами брошенных катеров и кораблей, так что Пухов даже присвистнул.

— Вот куда надо народ возить! Это ж такой индастриал, от которого кипятком будут писать!

Но если у приятеля был резон играть в «Сталкера», то Мятлин не видел в этом смысла. Как и в Пряжке, не отпускала мысль: что может родить этот склад металлолома?! А поскольку склад все-таки родил нечто особенное, опять накатывало чувство беспомощности.

— Идем дальше? — предложил Пухов. — Или достаточно?

В этот момент сзади прозвучало:

— Стоять на месте! Руки вверх!

Что-то в реплике было киношное, не всамделишное, и все же Мятлин поднял руки. То же, увидел он краем глаза, сделал приятель.

— Кто такие? Как сюда попали? Что делаете на территории?

Вопросы звучали отрывисто, жестко, вроде как начальник погранзаставы допрашивал нарушителей границы. Но, когда обернулись, вид «начальника» едва не заставил расхохотаться. Перед ними стояло, покачиваясь, пьяное существо с сизым носом, в рваной тельняшке с накинутым на плечи грязным бушлатом. Из оружия у существа имелся дрын, но, поскольку на него приходилось опираться, охранника можно было счесть безоружным.

— Мы на экскурсию, — ухмыляясь, проговорил Пухов. — А вы, наверное, экскурсовод?

— Я капитан-лейтенант Военно-морского флота! — заносчиво ответило существо.

— В отставке, надо полагать?

— Это роли не играет!

В воздухе заплясала бутылка с янтарным напитком.

— А это играет?

Физиономия экс-каплея тут же разгладилась, утратив напускную суровость.

— С этого бы и начинали... — пробурчал он. — Пошли в каптерку!

Каптеркой оказался вагончик, где сбоку от входа была прищиплена табличка с аббревиатурой НИИ «ЭРА». Войдя внутрь, они обнаружили лежанку, стол с грязной посудой, печку-буржуйку и кучу опорожненной стеклотары. Сдвинув посуду к краю стола, каплей выставил эмалированные кружки, но Пухов перевернул свою вверх дном, мол, за рулем.

— Тогда с тобой будем пить, — ткнули в грудь Мятлина. — Капитан-лейтенант Деркач в одиночку не потребляет, запомни!

Приняв на грудь, Деркач тут же разразился потоком матерной брани в адрес руководителей государства. Развалили, суки, отрасль, загубили флот, а ведь хотят иметь оборонный щит! Хотят понтиться перед супостатом, мол, тоже не лыком шиты! А на самом деле — шиты, потому что вместо щита теперь что?!

— Что вместо щита? — спросил Пухов, поскольку хозяин взял паузу.

— Жопа! Раньше тут такие корабли делали, а теперь... Слышали про «Кашалота»?

Мятлин вздрогнул.

— Так, краем уха... — пробормотал.

— Краем уха... Откуда слышать-то мог? Это ж секретный проект! А принимал «Кашалота», между прочим, капитан-лейтенант Деркач! Официальный военпред Министерства обороны! Так, за это нужно по пятьдесят...

Когда еще раз выпили, Мятлин понял: на коньяке для охраны приятель сэкономил. Но ради своего дела он готов был пить даже портвейн «777».

— Тогда был «Кашалот», а теперь что? Один смех! Вон там, за забором, клепают корабли этой серии...

Деркач указал в окошко на забор, отделявший новую заводскую территорию.

— А потом продают — кому бы вы думали? Грекам! Наши летающие корабли — грекам, чтобы они контрабандистов ловили в Эгейском море!

Деркач наклонился ближе, так что стали видны красноватые прожилки в глазах.

— Но это они думают, что корабли — той серии. На самом деле «Кашалот» был уникальным кораблем. У-ни-каль-ным! Такой был сделан в единственном экземпляре!

Мятлин сглотнул комок.

— А где теперь этот уникальный корабль? Где люди, которые его делали?

— Где, где... В Караганде! На базу ушел «Кашалот»! На секретную оборонную базу, что на далеком Севере. А люди... Люди тоже туда ушли — вначале. Но потом разбежались — кто куда. Я вот сюда, например, вернулся. Должен же кто-то охранять это место, правильно? Здесь ведь такие ребята работали... — он обвел рукой занюханную каптерку. — Такие дела делались... Эх, вам этого не понять!

— А Рогов здесь работал, не помните? Всеволод Рогов?

Деркач хмыкнул.

— Как же не помнить? Тоже уникальный был мужик. Электричества не чувствовал, представляете? Его даже 380 вольт не брало, вот такой он был! Ну и дока, конечно... Я их всех подлавливал на халтуре, и только у него система работала, как часы!

— А где он... Ну, сейчас?

— А хрен его знает. Но с такими мозгами и руками, думаю, не пропадет!

Когда добились коньяка, каплей присел у подоконника, взявшись перебирать стеклотару. Он разглядывал бутылки на просвет, встряхивал их, но внутренности были пусты, как пески Сахары.

— Сейчас, сейчас, где-то должно было остаться... — бормотал он. — Есть! Соточка всего, но тут уж извините!

На стол была торжественно водружена залапанная пальцами и обсиженная мухами бутылка, на дне которой плескалась какая-то жидкость.

— Что это? — осторожно поинтересовался Пухов.

— Шило! — был ответ. — Иначе говоря, напиток богов.

— Морских богов? — уточнил приятель.

— А каких еще? Не сухопутных же...

Пока Деркач разливал, тщательно выверяя пропорцию «фифти-фифти», Пухов быстро проговорил на ухо:

— Пить или не пить — дело твое, но мой ЗИМ — не реанимобиль, учти.

Мятлин все-таки решился, получив ожог гортани вместе с ощущением того, что в рот запихали жженую резину.

— А?! — требовал восхищения каплей. — Каково?! На таком горячем можно хоть к черту на рога!

— Можно... — кивал Мятлин, закусывая засохшей коркой. — А еще жертвы кораблю можно приносить, верно?

— Жертвы?!

Благостное выражение лица Деркача вдруг сменилось тревожным.

— Откуда знаешь? — спросил отрывисто.

— Я много чего знаю. Про белого мичмана, например...

— Вон оно как... — покачал тот головой. — А вы мне сразу показались подозрительными. Я как увидел вас, тут же подумал: не наши люди! С каким заданием явились?! Кто послал?! Как проникли на территорию?!

— Ну, понеслось... — протянул Пухов. — Але, гараж! Тебе же объяснили: экскурсанты мы! И ты нам, между прочим, экскурсию обещал провести!

— Молчать!

Кулак военпреда с грохотом опустился на стол. Бутылка с шилом подпрыгнула, но Деркач умело ее поймал, чтобы тут же вылить остатки в рот.

— Сидеть на месте! Я вызываю охрану!

— Может, «скорую» из психушки? — отозвался Пухов.

— Молчать!

Деркач очумело вращал глазами.

— За разглашение государственной тайны — к высшей мере! Оружие на изготовку... Пли!

— Надо же: попал! — потешался приятель. Мятлин же за курьезностью различал что-то жуткое и, как ни странно, связанное с тем, что вылезло из компьютера и начало разрушать жизнь...

Деркач потух так же быстро, как вспыхнул.

— А-а, к хренам все — знаете так знаете! Все равно того корабля уже нет. Ему не жалко было жертвы приносить, ясно вам? За ним такая силища стояла, такая мощь... Только вам, хлюпикам, этого не понять. Да и где теперь «Кашалот»? Был, да весь вышел!

— Не весь, — отозвался Мятлин, вставая. — Не весь вышел, в том-то и дело. Ладно, идем отсюда.

Странное ощущение преследовало потом несколько дней. Детские выдумки резонировали с записками Рогова, а они, в свою очередь, аукались с теми страхами, какие пробуждал неуправляемый компьютерный космос. Из какой зоны этого космоса прилетит злобная Немезида, звезда смерти? Что за комету она пошлет, и останется ли что-нибудь после последнего удара?

Их разговор с Пуховым тоже был странным. Когда добрались до ЗИМа, он уселся в машину, но мотор заводить не спешил.

— Я, конечно, ничего не понимаю, но вижу: достала тебя жизнь. Чего ты ищешь в таких местах, если не секрет?

— Скелет в шкафу... — через силу усмехнулся Мятлин. — Правда, очень трудно искать скелет в темном шкафу, особенно если там его нет.

— Ну-ну, шутник. Тогда я тебе скажу, что тут ищут мои индастриал-туристы. Я думаю, им приятно видеть поражение цивилизации, в таком лунном пейзаже человеку кажется, что он — главный. Сильный, вечный, всепобеждающий, а тут — фуфло, мертвое железо. Но это иллюзия. Железо давно преобразовалось в такие формы, что нам его уже не понять. Вот мой «членовоз» мне понятен, я его своими руками до последнего винтика перебрал. И моя котельная мне понятна, и зачем она сделана — тоже. Но другие вещи мне совсем

непонятны. Ведь этот алкаш в чем-то прав. Мы хлюпики, нам трудно восхититься чем-то нечеловеческим.

— И поэтому ты примкнул к луддитам?

Приятель удивился (а может, сделал вид).

— К каким луддитам?!

— К которым ездили вместе с Башкиром.

Пухов потрогал мятлинский лоб.

— Вроде не температуришь, а несешь такое... Ты поосторожнее с этим наркошей. Он, конечно, в компьютерах сечет, за что его и ценят. Но вообще-то Башкир — человек без башни.

— Хочешь сказать: мы к ним не ездили?!

— Хочу сказать, что курить надо в меру. Ладно, поехали из этих диких мест...

Удалившись из диких мест наяву, Мятлин вернулся к ним в очередном кошмаре.

Он стоял на пустынном скалистом берегу океана, кишевшего морскими хищниками. Кашалоты с косатками курсировали вдоль береговой линии, выпрыгивая из воды в надежде урвать добычу, что сбрасывали сверху. Две фигуры — белая и черная — время от времени швыряли со скалы в океан очередную жертву, делая это известным способом: раскачали за руки, за ноги, и — плюх несчастного в набежавшую волну! Дальше, понятно, начиналось такое, на фоне чего Тузик с грелкой выглядели невинной шалостью.

Приговоренные жались друг к дружке тут же, на скале. И среди них — Лариса! В обвислой балетной пачке, с почерневшим лицом, она умоляюще смотрела на него, мол, спаси! А как спасешь?! Он уже разглядел палачей, Черного мухобоя с Белым мичманом, а с этими ребятами не забалуешь. Чего доброго, и его схватят за руки, за ноги, чтобы бросить на съедение хищникам...

И тут откуда-то сверху, по скальным тропам спускается толпа с гаечными ключами и отвертками в руках. Ура, братья-луддиты! Подбадривая себя криками, они бросаются на черно-белую парочку, ожесточенно с ними дерутся, и тогда Мятлин тоже кидается в бой. Его цель — Лариса, которую надо вывести из пекла сражения любой ценой. Он продирается сквозь толпу, полные мольбы глаза все ближе, и тут ее хватает и утаскивает за собой человек в берете и с костылем!

Ах, вот как?! Вырвавшись из толпы, он преследует хромого, уверенный, что догонит. А тот удаляется! Непонятно, как тому удастся так резво скакать по скалам, только расстояние между ними увеличивается, а значит, Ларису уведут навсегда!

— Эй, постойте! — кричит он. Но парочка скрывается за скальной грядой, а он в бессилии опускается на камень. На уступе по-прежнему продолжается тупая бессмысленная драка. Зачем борьба, если нет той, ради кого все затеяно, без кого жизнь утрачивает смысл?

Мятлин смотрит вниз, где в бурлящей воде мельтешат черные глянцевые спины китов. Потом встает, оправляет мятую одежду и приближается к краю обрыва. Обойдемся без Черного и Белого, так сказать, сами с усами. Он поднимает взгляд к небу, на котором ни облачка, и солнце сияет раскаленным медным тазом. Он смотрит, не мигая, на огненное сияние, пока не слепнет, и уже лишенный зрения, делает шаг в бездну...

10.

Ответы на мучающие его вопросы были получены на улице Чайковского. Да, есть такой Борисыч из Ларочкиной лаборатории, всегда относившийся к ней по-особому. Возможно, питал чувства, хотя больше хвалил профессиональные достижения, ведь Ларочка была близка к серьезному открытию. К какому? Что-то с клеткой связанное, как она живет, точнее, возникает. В силу известных обстоятельств сенсации не состоялось, но Борисыч не забыл Светлану Никитичну и, несмотря на проблемы со здоровьем, иногда ее навещает.

— Чего же вы раньше об этом не говорили? — с обидой спросил Мятлин.

— А вы спрашивали? Возможно, он прав, вы оба чего-то не поняли. Да и я не сразу... Она тайну жизни хотела разгадать, а мы своим были озабочены, чем-то мелким, ничтожным...

Он не заметил былого радушия, когда его визита ждали, даже не хотели отпускать. А на улице вдруг возникло желание отписать Рогову, мол, зря стараешься, нас отправили в отставку, на посту у мавзолея уже некто третий. Не особо заслуженный, если не сказать — убогий, зато нашедший ключик к сердцу безутешной матери, так что отдыхай, второй Никола Тесла!

Но он ничего не написал. Во-первых, бессмысленно, во-вторых — куда? На деревню Рогоффу? А потом вообще увлекло другое — было получено неожиданное предложение поехать в Иерусалим.

— Надеюсь, на этот раз... — сказал директор.

— На этот раз — со всей душой! — заверил Мятлин. — Тема доклада — та же?

Он с радостью уцепился за предложение съездить туда, где в иссушенной земле пустыни пустили корни три цивилизации. «Приникать к корням» (с его-то мировоззрением!) было смешно, но лучше уж бродить по жаркому Израилю, чем лазить по надоевшей виртуальной вселенной. В первый раз за последние годы он не взял с собой ноутбук. Без него в поездках всегда было как-то неуютно, а тут оставил «ящичек Пандоры» с удовольствием, словно сбросил гору с плеч.

В Бен-Гурионе его встречал Марк, старый знакомый, давно звавший в гости. После объятий и хлопков по плечу приятели вышли к остановке, уселись в желтый автобус с мигалкой и минут десять куда-то ехали.

— Ты же сказал: на машине встретишь? — в недоумении спросил Мятлин. Марк рассмеялся.

— Так до машины еще добраться нужно! Видишь, сколько их?

За окном автобуса тянулись бесконечные ряды колесного железа: казалось, весь моторизованный Израиль выставил тут свои авто. Вот только владельцев видно не было. Отсвечивали на солнце лобовые стекла, сверкали хромированные бамперы, но люди исчезли, будто железные друзья их сожрали, а теперь нагло пялили фары, мол, мы тут главные! Мятлин настолько живо представил автомобиль, который чавкает капотом и урчит от жадности, перемалывая кости хозяина, что на секунду стало дурно.

— Эй, что с тобой?! — обеспокоился Марк. — Не перегрелся часом? У нас тут тридцать пять, не каждый выдерживает...

— Ничего, пройдет... — натянуто усмехнулся Мятлин.

В себя он пришел в старом городе, где поселился в одной из эконом-

гостиниц неподалеку от Яффо. Стеснять приятеля не хотелось, да и свободнее одному, поэтому он бросил вещи в номере, переоделся сообразно погоде и вышел на прогулку. С жизнью, как ни странно, примирила грязь, каковую встретил в центре древнего города. Иерусалим явно отличался от вылизанных европейских городов: на тротуарах валялся мусор, помойные баки были переполнены, и по ним шныряли стаи бездомных кошек.

— А что ты хочешь? — растолковал на следующий день Марк. — Это же Азия! В Тель-Авиве, конечно, чище, но здесь азиатская гигиена, точнее, пофигистское к ней отношение.

После чего затащил Мятлина на Махане Иехуда, наверное, чтобы доказать сей тезис. Рынок не был грязным, но и гипермаркетом там не пахло — пахло чем-то другим. В нос бил аромат десятков специй, запах разнообразных фруктов, копченой рыбы, чесночной колбасы, короче, это был удар по обонянию, так что через полчаса нос уже отказывался быть полноценным органом чувств. И уши отказывались, потому что со всех сторон слышались пронзительные выкрики на иврите, арабском, даже русский зазывала прорезался на секунду, чтобы тут же пропасть в многоголосом гвалте. А глаза? Разноцветье даров природы, ярких одежд и лиц — от бледных до иссиня-черных — било по зрению, будто перед твоим взором быстро-быстро крутили калейдоскоп. «Хватит мельтешить, люди!» — хотелось крикнуть многотысячной толпе, что бродила вдоль сотен прилавков, пробовала еду на вкус и темпераментно торговалась. Но Мятлин не кричал, покорно следуя за Марком, который то и дело подтаскивал его к очередной вкусности.

— Вот этих вяленых фруктов попробуй! Попробуй, попробуй, у вас таких нет!

Он запускал руку в лоток, заставляя пробовать что-то, напоминающее красноватый изюм. Из другого лотка изымались на пробу вяленые персики, а спустя минуту перед носом уже маячило нечто оранжевое сверху, а внутри — белое. Называлось лакомство «кнафе», на вкус было приторным, но Мятлин безропотно глотал то, что предлагал Марк. Этот полноватый небритый брюнет всегда отличался неумным жизнелюбием, местное торжище лишь проявило его истинное качество. Кипа постоянно сползала с чернявой макушки, Марк то и дело водружал ее обратно, глаза же по-прежнему горели нездоровым (или здоровым?) блеском.

— Хумус попробуй, этот хумус — зе бест! А от фалафеля отвернись. Отвернись, тебе говорю! Фалафель будем есть вечером, в одной арабской забегаловке. Там он тоже — зе бест и просто супер!

Откровенный гедонизм Марка, как ни странно, вполне сочетался с докторской диссертацией, защищенной еще в «совке», и с престижной работой в Иерусалимском университете. Еще он сочетался с тремя детьми и двумя женами, с каждой из которых Марк имел нежнейшие отношения. В каком-то смысле он был антиподом Мятлина, они являли собой яркий пример того, как сходятся противоположности.

От солнца, бившего в темечко, перед глазами шли радужные круги. Мятлин поискал глазами тент, и вдруг заметил стройную женщину в светлом брючном костюме — та стояла спиной, выбирая что-то на рыбном прилавке. Звуки и запахи тут же приглушились; и толпа вроде как поредела, осталась лишь незнакомка, что засовывала в пакет большого лосося...

Он устал от игр воображения (дежа вю!), и все же ноги сами зашагали вслед за той, кого видел лишь со спины. Главное, чтобы она не оборачивалась. Пока объект не показывал лица, игрок мог воображать что угодно, но поворот головы моментально все рушил. Забыв про палящее солнце, Мятлин двигался, как привязанный, в сторону Агрипас, пока на выходе с рынка его не нагнал Марк.

— Ты куда сбежал?! Смотрю: почесал куда-то, даже до свиданья не сказал!

Мятлин бросил взгляд в толпу, однако женщина уже исчезла.

— Мне что-то не очень... — облизнул он пересохшие губы. — Я, наверное, дома отдохну.

— Давай, отдохни. Твой симпозиум ведь только завтра начинается? Тогда вечером встретимся на Бецалель, посидим за бутылочкой.

И впрямь сделалось дурно, причем не только от жары. Он быстро наелся жизнью, оказавшейся очень острой и пряной, так что в горло это блюдо уже не лезло. Зачем эта прорва жратвы?! Зачем потная биомасса клубится в поисках хлеба насущного?! Рыночный организм вроде как исторгал из себя Мятлина, и тот заторопился в гостиницу, где полчаса, не меньше, стоял под холодным душем.

Вечером усьелись на открытом воздухе. К заказанному фалафелю Марк присовокупил бутылку красного вина, прихваченного с собой. Открывать напиток тоже следовало самим, что для приятеля вроде труда не составляло.

— Ножичек из Углича!

Марк торжественно поднял над головой складной нож.

— Здесь такой штопор, скажу тебе... Сколько я им бутылок откупорил! И на первой родине, и на второй, и в странах, так сказать, третьего мира...

Он вкручивал штопор, готовясь произвести победный «шпок», но прозвучал короткий «хряск», ознаменовав поражение хвостуна.

— Н-да, подвел Углич... — пробормотал Марк, оглядывая торчавший из пробки стальной хвостик. — Теперь что ж? Будем открывать методом проталкивания...

Сходив к арабским хозяевам заведения, он вскоре вернулся с ножом в руке и принялся, пытая, заталкивать пробку внутрь бутылки. Однако застрявший штопор распер пробочное тело, и оно не желало даже с места сдвигаться. Марк напрягся до такой степени, что щеки сделались багровыми от напряжения, — и тут взметнулся фонтан! Мятлин успел уклониться от хлестнувшей из горлышка струи, у Марка же и белая рубашка, и кремовые брюки оказались в красных винных потеках.

— Твою маму... — изрек приятель, утирая кипой физиономию. Внезапно оба принялись хохотать. Они раскачивались в плетеных креслах, закатываясь от смеха; и за соседними столиками смеялись; и молодой араб, что принес фалафель, радостно скалил белые зубы, и было почему-то так хорошо, как давно не было.

— Почему мы не живем просто? — вопрошал приятель, разливая остатки. — Все время усложняем себе жизнь, громоздим одну проблему на другую... На тебя, к примеру, без слез не взглянешь, у тебя ж на лбу большими буквами написано: нервное расстройство!

— Ну, прямо...

— Только не спорь, хорошо? Ты вот завтра на своем симпозиуме наверняка будешь делать доклад о том, как левой пяткой чесать правое ухо. Ведь правда?

Нынешний спец по изящной словесности — он же слова в простоте не скажет, обязательно кунштюк какой-нибудь придумает. А цена этим кунштюкам — полшекеля в базарный день! Мертвечина все это, понимаешь? Тридцать три фуэте — только не на сцене, а на кладбище! И не для людей, а для трупов, лежащих под могильными камнями!

Когда сбегали за второй, вдруг возникло желание обо всем рассказать. О Рогове, Ларисе, о его «вроде бы романе», где он тоже что-то чем-то чесал, не понимая, ради чего? Но Марк отвлекся на семейство хасидов, что возникло в двух шагах, но в другом кафе. Высоченный глава семейства в шляпе и лапсердаке рассаживал полдюжины детишек, одетых точно так же, даже у самых маленьких имелись и шляпы, и смешные белобрысы пейсы.

— Кошерное хавать пришли... — ухмыльнулся Марк. — Сюда, к арабам, они хрен зайдут — что ты! И обязательно всем кагалом выходят пропитание добывать, чтоб все видели — мы плодимся и размножаемся!

Уже привыкший лицезреть людей в черном, что попадались на каждом шагу, Мятлин пожал плечами.

— Пусть каждый делает, что считает нужным.

— Просто их слишком много стало: возле Яффо целый район появился, где одни эти живут. Если бы они работали — другое дело, но они ведь просто живут! И тупо плодятся! Мы работаем, платим налоги, а они на наши деньги размножаются! Ну, еще молятся, конечно, но профита от их молитв никто не подсчитывал...

Мятлин бросил взгляд туда, где глава семейства водил пальцем по меню и что-то быстро говорил официанту.

— А может... — неуверенно проговорил он. — Они что-то такое знают, чего не знаем мы? Может, их тупое, как ты говоришь, размножение — это голос жизни? Мы о ней забыли, перестали ее слышать, а они живут под ее диктовку?

Марк удивленно на него уставился.

— Тебе в ешиву пора поступать, — пробурчал он. — И пейсы отращивать. Хотя... — он задумался. — Может, ты и прав. Мы же действительно с жизнью давно не на «ты». Мы плохо понимаем: кто мы, откуда, зачем... Протезов себе наизобретали — что железных, что интеллектуальных, и радуемся, мол, очень крутыми стали! А на самом деле как были придурками, так ими и остались... Ладно, ле хаим!

Они опять пили, хасидские детишки испуганно пялились на Марка, чья рубашка алела красными пятнами, а тот оскаливал зубы, изображая вампира. Но даже в такой располагающей обстановке Мятлин не решился рассказать о своих проблемах. Это был его личный крест, который следовало нести до конца.

По дороге к отелю Марк почему-то вспомнил о его способности ассоциировать буквы и цвета.

— Помню, ты в универе хвастался, мол, каждая буква у тебя ассоциируется с цветом. «Ж» была зеленой, «Л» — желтой...

— Было дело. А чего ты об этом заговорил?

— Хочу тебя на другом алфавите проверить.

Подскочив к одной из вывесок, он ткнул в некий знак, напоминающий искаженный икс.

— Вот буква «алеф». Какого она цвета?

— Никакого.

— А вот эта буква — «нун»?

Но перед внутренним взором разворачивалась равномерно-серая панорама.

— У меня с этим проблемы... — запинаясь, проговорил Мятлин. — Раньше действительно была способность, особенно в детстве. А сейчас... Почти ничего не осталось.

Марк только головой крутанул. До гостиницы шли в молчании, лишь перед дверью приятель сказал:

— А мы действительно с жизнью не на «ты». Она нам что-то дает, запрягивает в нас необычное, а мы, бездарные, все профукиваем... Не обижайся только, я ведь и про себя тоже. Спокойной ночи.

Синестезия была забавой, в практической жизни абсолютно бесполезной. Однако утрата способности почему-то беспокоила. Мятлин вообще побаивался слова *утрата*, это отзывалось внутри погребальным звоном, пробуждая волну протеста. Не хочу утрат; а если таковые произошли, хочу вернуть то, что потерял! Это детское чувство владело им в гостинице, на людной улице, даже во время симпозиума, где он без всякого энтузиазма отчитал свой доклад. Сославшись на плохое самочувствие, даже на вопросы отвечать не стал, по-тихому сбежав из аудитории.

После чего долго утюжил улицы Иерусалима, будто рассчитывал на помощь древних камней. Почему нет? Здесь произошло много такого, что выходит за рамки обыденности, позволяя даже детские мечты сделать реальностью. Вот утратили, к примеру, Христа, а он воскрес! И этого, как его... Ага, Лазаря — тоже вернули из небытия! Встань, мол, и иди, и ведь пошел! Не то, чтобы Мятлин с бухты-барахты обратился в веру, скорее, он подпитывался от чуждой традиции, чтобы решить свои проблемы. Какие? Он боялся себе в этом признаться, чтобы очередной товарищ не сказал: у тебя, Женя, на лбу большими буквами написано: психоз!

— Ты странный, — говорил Марк, когда на следующий день бродили по Масличной горе. — Тут интересно, конечно, но ты же Старый город еще не посмотрел!

Идею поехать сюда подал Мятлин, что в жару было, наверное, глупостью. Солнце опять нещадно било в темечко, и рубашка Марка, уже отстиранная, темнела пятнами пота.

— Посмотрю, успею... — бормотал Мятлин, останавливаясь у гробниц. Эти параллелепипеды, казалось, были сделаны из песка, ткни рукой — рассыплются. На ощупь, однако, они были очень твердые и прочные, так что у них имелся шанс дожить до Судного дня.

— А правда, что захороненные здесь воскреснут первыми? Ну, в тот самый день?

— Предание говорит так. Поэтому отдельные чудаки, чем-то похожие на тебя, скупают здесь участки для будущего захоронения. Недавно, говорят, одна ваша эстрадная примадонна участочек прикупила. Совсем у людей крышу сносит...

Марк зазывал в кафе, к кондиционеру и холодному пиву, Мятлин же с маниакальным упорством выискивал подтверждения тому, чем давно бредил. Его занятие и было тем самым «Встань и иди!», просто он боялся себе в этом признаться. А тут вдруг перестал бояться; а может, горячие древние камни поддержали, напитав записного скептика энергией заблуждения.

Прощаясь в аэропорту, Марк сказал:

— Похоже, ты не на симпозиум приезжал.

— Да? А куда же?

— Не куда, а для чего. Чтобы мысль разрешить, как писал классик. Сюда многие приезжают за этим, очень уж место располагающее. И тебе, судя по довольному виду, что-то там разрешить удалось. Я прав?

— Возможно, — уклончиво ответил Мятлин. — Ну, я пойду?

— Иди, иди, безумец...

11.

Наверное, им и впрямь овладело безумие. Даже не отчитавшись за поездку, он оформил две недели без содержания, заперся в квартире и стал лихорадочно писать. Подробности выскакивали из анналов памяти, как готовые к употреблению полуфабрикаты, и тут же встраивались в текст. То была не работа художника, вдохновенно наносящего мазки на холст; скорее, это напоминало вышивание, когда портрет создается тысячами стежков. В итоге получается не Джоконда и не «Девочка с персиками», но тоже вполне убедительный портрет. Может, еще убедительней Джоконды, потому что соткан из множества деталей, взятых из реальности, а не выдуманных ради смутных целей творца. Какой скелет в шкафу?! Нам не нужны кости и череп, мы нарастим мясо, кожные покровы, сошьем кучу нарядов, и вот, извольте радоваться — перед вами вовсе не скелет! Такого и в шкафу держать совестно, хочется уже представить его Urbi et Orbi и кое-кому утереть нос.

Вынуть преобразенный скелет Мятлин решил не сразу. По истечении двух недель он оформил больничный, чтобы дошлифовать внушительный текстовый массив, но пока боялся резать пуповину, зная, что отделившийся от автора текст делается чужим, как выросшее дитя. Ему же хотелось еще понынчиться с вербальным гомункулусом, который он породил. Для себя ведь породил, значит, можно вечно читать и перечитывать, погружаться в словесное море, где можно быть хоть косаткой, хоть осьминогом. Но хозяином-барином он оставался лишь до тех пор, пока созданное не прочтут чужие глаза.

Первым должен был прочесть Бытин, только стоила ли игра свеч? Заключить написанное в обложку, выпустить скромный тираж, устроить презентацию, организовать пару рецензий в СМИ... Подобная суeta представлялась пошлой. Не для того он не спал ночами, залезая в потаенные уголки души, в запертые темные чуланы, чтобы вынуть оттуда на свет божий нечто забытое и дать ему вторую жизнь.

Его выход в Сеть напоминал выезд на поле сражения одинокого всадника, перед которым стоит целая рать. То был отчаянный прыжок в неизвестность, ва-банк, выразившийся в размещении на одном из ресурсов части написанного. Мятлин долго выбирал подходящий фрагмент, где имелись бы узнаваемые детали, забил его в буфер отправки и, поколебавшись минуту-другую, кликнул на «Разместить». После чего замер перед экраном, будто ожидал, что оттуда вылетит разряд молнии и его испепелит.

Спустя время пошли комменты, в основном недоуменные, мол, что это такое?! Автор явно профи, только повествование-то рассыпается, его просто нет! Изредка его хвалили, однако ни хула, ни хвала левых читателей Мятлина не

волновали — не они были мишенью пушенной стрелы. На всякий случай Мятлин «наследил» на других ресурсах, подавая знак, мол, я здесь! Засек меня? Тогда насылай своих дурацких монстров, только учти — это будет тавтология. Лучше прочти, Рогов-Rogoff, мой месседж, а если уж не проймет, опять становись Тузиком, рвущим на части жесткие диски и прочую железную муру.

Реакции не было долго, Мятлин даже нервничать начал: может, к нему утратили интерес? Поиграли, да и бросили, занявшись чем-то другим? Но вскоре был получен файл под названием «Dance, dance, dance», давший понять: рыбка клюнула. Но как необычно клюнула! Всего Мятлин ожидал, а вот такого — нет!

Для подстраховки он либо убивал приходящие приложения, либо трижды прогонял через антивирус. Понимал, что для визави эти преграды преодолимы, и все же лучше следовать старой истине: береженого бог бережет. Файл со странным названием он тоже проверил на вшивость, после чего открыл, чтобы увидеть движущуюся картинку. Это был женский силуэт, который крутил фуэте. Абсолютно черный, без черт лица, силуэт, тем не менее, был довольно пластичен, а главное, казался на удивление знакомым. То есть не казался — он и был знакомым!

Мятлин долго ломал голову над тем, что же значило сие послание. Он ожидал очередной схватки, военных действий на виртуальном поле, а получил нечто такое, отчего защемило сердце. Ну, не верил он повелителю косаток, считал того холодным и расчетливым лукавцем, способным только сводить счеты и устраивать каверзы. При таком раскладе Мятлин выглядел на порядок благороднее и мог с полным правом начертать на своих знаменах: «Погибаю, но не сдаюсь!» Расклад, однако, оказался другим, и что теперь «чертатъ» на знаменах — было непонятно...

Второй выложенный фрагмент спровоцировал веер мнений от «Заткните графомана!» до «Аффтор, пиши исчо!» Но Мятлина интересовал личный диалог. Или, если угодно, дуэль, которая закончится непонятно чем.

В ответном послании силуэт сделался расцвеченным. Проявились тронутые загаром руки и шея, синяя майка с глубоким вырезом, короткая белая юбка, черные обтягивающие колготки и атласные балетки. Черты лица даже при увеличении смазывались, были смутными, однако никаких сомнений в том, *кто* послужил прототипом, не было. Мятлин отлично помнил выступление в Доме культуры ПЭМЗ, когда она танцевала свою балетную партию именно в таком костюме. Больше того — он подробно описал этот наряд, не упустив ни малейшей детали. Неужели Рогов использовал его текст?! Да как он смел, жалкий Самоделкин?!

Пока обдумывал язвительную отповедь, пришло изображение, где уже распознавалось лицо. Черты были взяты с фото школьного выпуска, в этом Мятлин был уверен. На той коллективной фотографии он стоял через две фигуры слева, а его соперник — правее, в верхнем ряду. Исходное изображение, правда, было черно-белым, здесь же лицо Ларисы оказалось приятно-смуглым, как в жизни. Что означало: память Рогова тоже работала идеально, это следовало признать.

А в следующем послании лицо начало жить! То улыбка на нем расцветала, то задумчивость проглядывала, то недовольство, когда брови сводились вместе (ее мимика!). Количество балетных «па» тоже возросло. Кроме фуэте исполнялись батманы, балерина садилась в плие, отводя руку в сторону, после чего

усаживалась на пол, чтобы перевязать балетку. Поза была настолько знакомой, что Мятлин вздрогнул.

Сердце учащенно забилося, и он протянул руку за коньяком. Глоток, еще глоток, и вот уже пробуждается дух состязания — как выяснилось, они были даже сейчас готовы меряться, у кого длиннее. Когда Мятлин выложил фрагмент, где живописались интимные подробности, завсегдатаи чата зашевелились: мол, круто! Не сопли надо жевать, а давать клевое порно! Пиши исчо! Ответ Керзону: балерина снимает с себя юбку, колготки, оставаясь, в чем мать родила. Вроде как трехмерная, фигура поворачивалась, так что сзади делалась заметной родинка на пояснице. Это овальное пятнышко Мятлин не раз целовал, но ведь и Рогов, гад такой, наверняка делал то же самое!

Он нутром почувал грань фола: дуэль не предназначалась для других, была их личным делом. И тут (счастье!) — звонок Бытина.

— Привет, старичок. Как ты? На больничном?! Тогда лечись... Вылечишься — неси свой опус, начнем предпечатную подготовку. Только в Инете не выставляй целиком, хорошо?

— А ты откуда знаешь, что я выставляю?

— Так тоже шарю иногда в Сети. Кусочек показать — это вроде реклама. Но если целиком — какой резон дублировать? И так на хит продаж не тянет, а если еще скачать можно будет...

Просьба оказалась кстати. Прервав публикацию, Мятлин и издателю услугу оказывал, и риск скатиться в порнописики ликвидировал.

Дуэль продолжилась в личном обмене посланиями. Один создавал паутину из слов, живописал предмет средствами языка, другой задействовал программы, позволяющие изображению ожить. Две стихии устремлялись навстречу друг другу, и уже было не разобрать — конкурируют ли они, работают ли в унисон... Дай волю, они бы до бесконечности лили друг на друга слова и компьютерные картинки. Но вот уже отправлен финальный фрагмент и получено встречное послание, где фигура, давно жившая своей жизнью, вдруг заговорила. Сымитированный непонятным способом голос (тембр был резковатый, как в подростковом возрасте) произносил два имени: «Женя» и «Сева», и эта деталь завершила создание образа. Иллюзия жизни получилась полная, так что пора было, наверное, ломать шпагу — проигрывать надо с достоинством.

Только чутье подсказывало: в этой игре победителей нет, любая победа — пиррова. Соперник (собрат по несчастью?) думал, вероятно, схожим образом, иначе имя произносили бы одно, и понятно — чье.

Мятлину вдруг сделалось тоскливо, он бы страшно огорчился, если бы Рогов исчез из сетевого эфира, посчитав, что дело сделано. Или то был испуг? Остаться один на один с тем, что они натворили — было жутковато: иллюзия начинала казаться чем-то более ужасным, чем сама смерть!

Повисла пауза, вроде как дуэлянты переводили дух, оглядывая поле сражения. Они уже забыли, с чего пошла кутерьма, зачем дрались, а главное — дальше-то что?!

Дальше был вопрос:

«Давно был на ее могиле?»

Ответ:

«Давно».

Вопрос:

«Почему? Ты же близко...»

Ответ:

«Ты тоже близко. Во всяком случае, мне так кажется».

Опять пауза, и вновь реплика:

«Когда пойдешь к ней, отнеси на могилу цветы».

«Конечно, отнесу».

«Только не розы и не гвоздики — нужно достать особенные цветы».

«Я даже помню, как они называются».

«И как же?»

«Орхидея-фаленопсис».

Пауза.

«Я тоже помню».

Впоследствии Мятлин удивлялся абсурдному порыву, когда с обеих сторон прорвало плотины, и в образовавшиеся прорехи устремилось то, что ранее тщательно скрывалось. Рогов действительно едва не погиб на своем корабле, но работать дальше на оборону не стал — как и многие светлые головы, эмигрировал. Теперь работал в известной информационной компании, имел кучу денег и двухэтажный дом, напичканный электроникой до такой степени, что домработница не нужна. И жена не нужна, только по иной причине. Он пробовал жить с одной ирландкой, но не срослось. Попробовал с русской, с которой вместе работали — тоже не получилось, а тогда и стараться нет смысла. Он имеет возможность работать столько, сколько душе угодно и когда угодно — даже ночью. Что они иногда и делают с вьетнамским приятелем Кьюнгом. Когда-то судьба свела их в советском Таллине, а спустя годы они встретились в Силиконовой долине, что не удивительно. В свое время, болтаясь в холодном море, они мечтали о некой Базе, где могли бы спокойно, отрешившись от нужд скучной жизни, заниматься созданием невиданных конструкций. Так вот База нашлась, и конструкции здесь создаются просто фантастические. Их создают индусы, русские, китайцы, вьетнамцы, жители Штатов и Старого Света и, похоже, чувствуют себя едва ли не солью земли.

Но почему-то иногда накатывает тоска. И хочется улететь в забытый богом городишко, где был завод, карьер и бронированная машина, что ползла по барханам, чтобы плюхнуться в озеро. Где были поломанные часы, что чинились на раз, и мотоциклы, на которых гонял со страшной силой... Нет, мотоцикл есть и сейчас, чоппер «Suzuki boulevard», на нем 250 выжимаешь за полминуты! Но не хочется выжимать, потому что некого сажать на заднее сиденье. Да и не хочется никого сажать.

Поддавшись наваждению, Мятлин тоже писал о брошенных женах, холостяцкой квартире, надоевших поездках за рубеж, о Пряжске, о Клыпе, о встрече с военпредом Деркачом, даже о тетрадке, которую хитростью выцыганили у матушки Рогова. А в финале пространного пассажа зачем-то написал о том, что утратил способность к синестезии.

«Способность к чему?» — попросили уточнить. В другое время Мятлин съехидничал бы, но тут терпеливо разъяснил особенности феномена.

«Понятно, — откликнулся визави. — Я тоже кое-что утратил».

«Ну да? Судя по твоим картинкам, ты только приобретаешь, а не утрачиваешь!» (не удержался-таки от иронии).

«Я теперь уязвим для электричества. Удивительно: в Штатах даже напря-

жение в два раза меньше — 110 вольт. Но меня недавно так потрянуло, когда в блок питания полез... Как думаешь, что это значит?»

Мятлин задумался, отстучал:

«Один мой друг сказал: нас наказывает жизнь. Она что-то нам дает, но мы не можем понять — зачем? А если дар не используют, его лучше забрать назад».

Мировая паутина дрожала от напряжения, связывая миллиарды людей, и одной из бесчисленных связей была нить, соединявшая два одиночества, что неожиданно слиплись и боялись отлипнуть. На время они забыли о том, что были участниками матча с невероятным количеством раундов, и жажду того, чтобы судья встал между ними и поднял руку победителю. Увы, судьи вообще не было. И зрителей в зале не было, их окружала пустота, и тут, хочешь не хочешь, а приходится наводить мосты.

Их лихорадочное замирание напомнило сцену, когда Мышкин с Рогожиным, наконец, успокаиваются возле тела мертвой Настасьи Филипповны. Только покой был иллюзорным: когда лихорадка прошла, желание общаться испарилось. Вскоре Мятлин даже убил адрес на gmail, дававший возможность мгновенного контакта с бывшим (бывшим ли?) соперником.

Несомненно было одно: ушло что-то важное, придававшее жизни если не смысл, то хотя бы видимость смысла. Так бывает, если вынуть краеугольный камень из строения: оно может простоять какое-то время, но потом непременно обрушится, превратившись в груды битых кирпичей. А поскольку грудой становиться не хотелось, нужно было сделать еще шаг. Вот только какой?

Между тем подкатила зима, закружили вьюги, а свободные дни заканчивались. Не желавший выходить на работу Мятлин тупо глядел в окно, за которым на карнизе скопился небольшой сугроб, и размышлял о смысле слов «дни без содержания». С бюрократической точки зрения все было понятно, а с общечеловеческой? Дни без содержания — это же большинство дней нашего бренного существования! Кажется, еще вчера содержание было, жизнь чем-то наполнялась, и вот — дырка в бурдюке твоего личного бытия, и содержание неумолимо из него утекает...

За пару дней до выхода на службу он оторвал себя от кресла и, тепло одевшись, вышел на холод. Ехать пришлось далековато, на Тихорецкий, где возле трамвайного кольца высился комплекс современных зданий с небольшой пристройкой справа. В пристройку, где располагалась цитологическая лаборатория, он и направился.

Взбежав по ступеням, долго нажимал кнопку звонка, не понимая: звонит ли тот вообще? Но спустя минут пять лязгнула щеколда, большая металлическая дверь приоткрылась, и на пороге возникло существо женского рода, в облезлой шубе и вязаной шапочке.

— Чего надо? — недовольно спросило существо. — Вход в институт — через центральную проходную!

— Извините, я привык здесь...

— Мало ли, к чему вы привыкли!

Когда собрались хлопнуть дверью, Мятлин подставил ногу.

— Мне нужен Вольский, — проговорил он быстро.

— Артем Борисыч, что ли? — пробурчала привратница.

— Именно он. Он сам меня пригласил, и сказал, чтобы я входил через эту дверь!

— Тогда заходи, что ли...

Помещение было поделено на нижнюю часть и что-то типа антресоли, куда вела железная лестница. Он был здесь так давно, что не помнил — была антресоль или появилась годы спустя. Да и не интересовало его тогда устройство лаборатории, где коллектив фанатиков влезал в тайны «ее величества клетки». Так выражалась Лариса, пытавшаяся внедрить в мятлинскую башку азы цитологии, которую она же именовала «виталогией». Дескать, тайна жизни гнездится именно там, в крохотной клетке, в ее загадочной плазме, вот только не дается тайна уму человеческому. Мятлин же скептически усмехался и норовил побыстрее утащить искательницу жизненных тайн на очередную тусовку...

Сняв пальто, он тут же пожалел: в лаборатории царил дубак (потому и шуба с шапкой!).

— Вам туда! — ткнули пальцем на антресоль. Наверху было чуть теплее, но Мятлин все-таки накинул пальто и двинулся вперед, озирая закутки за шкафами. Людей почти не было, похоже, нынешняя коммерческая волна накрыла и похоронила тех, кто докапывался до природных глубин. Главная тайна жизни, по нынешним меркам, это умение извлекать *бабло*, а такую задачку может решить и тот, кто не отягощен интеллектом.

— Вы?! — возглас издал хромец Вольский, выглянувший из-за очередного шкафа. — А что вы тут... Хотя понятно.

Он нервно натянул куртку с капюшоном и, прихрамывая, зашагал к лестнице, похоже, намереваясь сбежать. Мятлин двинулся следом.

— Что вам понятно?

— Все!

— А мне вот не все, поэтому я и пришел...

— А я ухажу!

Пришлось крепко прихватить его за локоть и даже встряхнуть.

— Хватит ребячиться! Мне действительно надо с вами поговорить.

Спустя час склянка со спиртом, выставленная Вольским, была ополовинена, а они так и не сказали главного. Или главное им было неизвестно?

— Я про вас обоих знал, — говорил хромец. — И обоих не любил. То есть это мягко сказано, я вас просто терпеть не мог! Но она не только вас терпела, а еще и любила!

— Двоих сразу? — усмехался Мятлин.

— Представьте: двоих! Хотя каждый из вас считал, что настоящее чувство подарено только ему, и никому другому! А на самом деле вы оба... Знаете, что такое раковая клетка?

— В общем и целом.

— Такая клетка активна, даже гиперактивна. Несведущий человек, глядя на ее интенсивное деление, подумает: это жизнь! А ведь это смерть, вот в чем дело!

В стаканы очередной раз плеснули ректификата.

— Я не слишком резок? Ну, вы же хотели поговорить — так слушайте правду! В общем, мы тогда работали, как проклятые, нам казалось: еще чуть-чуть, и мы схватим тайну образования живой материи за хвост! Выявим ту витальную энергию, что движет и плесенью, и зябликом каким-нибудь, и хомо сапиенсом. А ближе всех к этой тайне подошла она, это абсолютно точно. Знаете, почему?

— Почему? — с напряжением спросил Мятлин.

— Потому что сама была олицетворением жизни. Она в себе эту тайну воплощала, ясно вам? Только разве вы такое поймете...

Он пропустил мимо ушей обидную реплику. Почему-то перед глазами встали река, пляж и Лариса, купавшаяся с каким-то танцором. Помнилось, она вышла на берег, отжала волосы, встряхнула ими, обдав напарника брызгами, и засмеялась. Она стояла у кромки воды, загорелая, покрытая каплями воды, и смеялась, запрокидывая голову. А затем вдруг встала на полупальцы и крутанула фуэте; и хотя влажный песок под ногами исключал совершенство исполнения, кто-то из пляжников даже заплодировал. А Мятлин ею залюбовался. Почему-то исчезла ревность к танцору, который терся вокруг нее, осталось лишь чистое наслаждение от того, что она — такая. Можно было вечно смотреть на загорелое тело, мокрые волосы, счастливую улыбку и мечтать о том, чтобы это никогда не исчезало...

— Вы, наверное, правы... — пробормотал он, отгоняя внезапно нахлынувшую грезу. — А есть у вас... Ну, куда диск вставить?

— Диск?!

— Компьютерный.

Мятлин вынул диск из кармана, протянул Вольскому. Тот с недоумением воззрился на непонятный предмет (на фигу козе баян!), потом взял его и полез куда-то под стол, где виднелся облезлый системный блок.

Экран вспыхнул, началась загрузка, и вот уже выпрыгнула иконка с подписью: «Песни китов».

— Можно, я включу?

Пожав плечами, Вольский поднялся, уступая место у стола. Мятлин пересел, нашел нужную дорожку, и вскоре своды лаборатории огласили странные звуки. Они выплывали из загадочных океанских глубин, протяжные, мелодичные, говорящие — о чем? Может, так переговаривались отдельные особи, отплыв друг от друга на изрядное расстояние; а может, то давала о себе знать живая первоматерия, зародившаяся именно в океане. Мятлину, во всяком случае, хотелось думать так. Звуки несли какой-то таинственный код, были шифрограммой, и очень удивляло, что вооруженное технологиями и философиями человечество до сих пор не изволило сей шифр разгадать. Вот сидят двое у монитора, слушают с тупым видом, но слышат ли?

Вскоре к двум слушателям присоединилась третья, в лыжной шапочке. Показавшись из-за шкафа, она уселась рядом, толкнула Вольского.

— Борисыч, это ж Ларкины киты! Помнишь?

— Помню... — хрипло произнес хромец.

— Она еще на магнитофонных бобинах приносила эти записи, они у меня в шкафу лежали несколько лет, потом пропали куда-то. Да и Ларочка наша... Сколько времени прошло, а я ее забыть не могу!

В огромные окна лаборатории злая питерская зима пригоршнями швыряла снег. Люди смотрели на стекла, изукрашенные витиеватыми морозными узорами, кутались в пальто и шубы, а звуки баюкали, погружали в задумчивость, наверное, даже примиряли...

И пусть расстались прохладно, Мятлин чувствовал: поездка не напрасна. Прошедший день не был *днем без содержания* (скорее, наоборот), вот только содержание это пока не формулировалось. Да и нужна ли была формулировка? Мятлин выходил на улицу, слышал скрип снега под ногами, смотрел на

замерзшую Неву, и среди этой ледяной реальности выискивал какие-то мелочи: скачущую по снегу синицу, зеленоватую траву на проталине, идущего навстречу холодному ветру человека... Банальные вещи, которые почему-то обретали большой смысл. Будь рядом Лариса, он бы смог рассказать о том, что чувствует; а если не смог бы — его бы все равно поняли.

12.

Огромный желтый экскаватор высился посреди площади и медленно вращался. То есть гусеницы стояли на месте — круговое движение совершал корпус с вытянутым вперед железным ковшом. Зубья ковша двигались по окружности, скользя в нескольких метрах от публики, что отодвинулась на безопасное расстояние; лишь один безумец, в джинсах, белой рубашке и босой, находился на линии вращения. Он хватался иногда за ковш, повисал на нем и, замерев в экспрессивной позе, летел по кругу над землей. Менял позу, повисая так, чтобы семенить по брусчатке, потом подпрыгивал и, забравшись в ковш, сворачивался там калачиком. В сущности, это был танец человека и машины. Могучий механизм, который мог бы запросто размозжить стальными зубьями голову безумца, выступал тут партнером в танце. Иногда человек отрывался от ковша, падал на брусчатку, корчился, и вдруг — очередной прыжок, и он опять оседлал машину. Потом делает стойку на руках, и экскаватор несет над толпой вытянутое свечкой тело...

— Симбиоз возможен, — проговорил кто-то над ухом Мятлина.

— Думаете? — усомнился он.

— Уверен. Да ты сейчас в этом убедишься!

С этими словами Мятлина вытолкнули из толпы туда, где мелькали зубья.

— Почему я?! Я не готов к симбиозу!

Но его подталкивали в спину, не пуская обратно, так что ковш с танцором возник прямо перед носом. Мятлин оглянулся и, по счастью, заметил просвет в плотном ряду людей, что с азартом за ним наблюдали. Он юркнул в дыру между человеческими телами, прошел толпу, как иголка ситец, а экскаватор — следом! А это все-таки машина, попробуй погоняйся!

Мятлин мчался во весь дух, только желтый монстр не отставал. Поворот, еще поворот, а экскаватор по-прежнему катит на своих гусеницах с человеком в ковше. Эх ты, человек! Продался машине, подчинился ей, даже собрата готов раздавить-размозжить!

Внезапно Мятлин оказался в тупике. Обернувшись, он прижался спиной к кирпичной стене: что ж, встретим конец достойно, лицом к лицу с монстром. Когда ковш завис почти перед носом, внутри оказался Вольский (ну и ну!), который раскрыл книгу, чтобы прочесть вслух:

— Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий!

— К чему это вы? — нервно спросил Мятлин.

— К тому, что вы оба кое-чего не поняли. А она поняла. Ты хоть сейчас это пойми, ладно? И сопернику своему передай, он ведь такой же упертый, как ты.

Почему-то осознание того, что избежал гибели, не грело. Наоборот, накатывала тоска, а экскаватор таял, растворялся в воздухе, и хромец с книгой растворялся, и расспросить обо всем было некого...

Пробудившись, он не сразу понял, откуда взялось странное видение. Лишь потом вспомнилось: Париж, площадь Ля Конкорд, и безумный француз, что устраивал это магическое шоу с экскаватором. Мятлина тогда поразил танец с машиной, хотя послания к Коринфянам, конечно, никто не цитировал. «Если любви не имею, то я кимвал звучащий...» Он умывался, заваривал кофе, а слова, которые выплыли откуда-то из глубин сознания, все отдавались эхом в голове...

День вообще предстоял странный: нужно было отправиться за город, чтобы обернуться до темноты. Потеплее одевшись, Мятлин вначале заехал в цветочный питомник, где у него был оформлен заказ, потом направился на Финляндский вокзал. Несколько остановок на электричке, заледеневшая платформа, и вот уже ворота Северного кладбища, перед которыми притопывают на морозе торговки искусственными цветами.

— Купи букетик!

Рыжеволосая деваха в красном пуховике протягивала букет искусственных хризантем.

— Спасибо, у меня есть... — пробормотал Мятлин, у которого под пальто согревался прозрачный пластиковый куб с горшочком внутри.

— Да где ж есть?! Без цветов на могилку идти — не по-человечески!

Когда он вынул из-под пальто куб, деваха с удивлением на него воззрилась.

— И что же это такое?!

— Орхидея-фаленопсис, — усмехнулся Мятлин.

— А-а... — она махнула рукой. — Замерзнет твоя орхидея! Через пару часов загнется на таком морозе!

— Зато она живая, — сказал он, пряча цветок.

— Не тот народ сегодня, — отозвалась пожилая торговка, закутанная в пуховую шаль. — Одного окликнула, так он шуганулся от меня, как черт от ладана! В воскресенье нормальная родня приедет, те сразу все раскупят!

Вежливо пожав плечами, Мятлин направился к воротам. Дорога предстояла длинная, это же целый город мертвых, убегающий за горизонт. Мятлин прошел до десятой по счету линейки, свернул и с полкилометра тащился по узкой протоптанной тропке. Иногда он поглядывал влево и вправо, дежурно прочитывая надписи на невысоких серых и черных стелах. «Мы тебя никогда не забудем — среди нас ты остался живым...» «Неизлечима боль разлуки. Разлуки той, что навсегда...» «Когда тело во прах превратится навек...» Эти немудрящие строчки вгоняли в тоску своей банальностью, если не сказать — пошлостью. Мятлин всю жизнь посвятил словесным конструкциям, выискивая подтексты и дешифруя темные места, а итог любой жизни, оказывается — вульгарный слоган, выбитый мастером из бюро ритуальных услуг. Можно, конечно, завещать, чтобы твое надгробие украшал глубокомысленный афоризм, но это выглядело бы не менее пошло...

Вдалеке были заметны движущиеся черные фигурки — по городу мертвых перемещались такие же, как Мятлин, живые. Их было немного (холодно!), когда же в воздухе закружила снежная взвесь, фигурки и вовсе пропали. По счастью, до синего контейнера, служившего ориентиром, было уже рукой подать.

Контейнер оказался наполовину коричневым — краска облупилась, и железная подложка неумолимо ржавела. Теперь направо, пройти две линии, а дальше еще ориентир — памятник военному, чей портрет в форме красовался на черном мраморе. Вот он, полковник Быков Федор Иванович. «Ты родине

служил, семью свою любил...» Отметив маршевый ритм, что для военного было нормально, Мятлин двинулся между рядами могил. Снежная пыль вихрилась в воздухе, закрывая оком белой пеленой. Неподалеку, через одну-две линии, показалась фигура очередного живого, чтобы тут же исчезнуть. Или фигуры не было? Окрестности сделались зыбкими, нечеткими, и кладбище наполнялось странными тенями...

Добравшись до цели, он вытащил орхидею. Снег залепил очки, Мятлин протер их, чтобы оторопеть: надгробие украшал такой же куб! Кто его принес?! И хотя ответов предполагалось множество, верным следовало считать понятно, какой. Поставили куб недавно, его даже не запорошило, и стоило немалых трудов выдержать положенный ритуал: обнажение головы, свечка, замерзшие пальцы, что с трудом справились с зажигалкой и т.д. Выходит, фигура все-таки была, они лишь чудом не столкнулись нос к носу.

Она бы простила его, буквально сбежавшего с могилы: жители города мертвых подождут, а они ждать не могут! Мятлин спешил, проваливаясь в сугробы и с трудом находя ориентиры. Смутный силуэт контейнера, памятники, поменявшие обличье, и те же повороты. Или другие? Он должен отсюда выбраться, должен найти выход!

Входная арка выплыла из пелены белым полукружьем. Под аркой стоял человек в куртке с капюшоном, прикуривал. Чуть в стороне сустились торговки, прикрывали целлофаном товар; кое-кто, собрав цветы в охапку, направлялся к платформе. Человек тоже двинулся туда, затем обернулся — и застыл.

Мятлин остановил бег, чувствуя, как колотится сердце. Снег смазывал черты лица, но сомнений в том, что перед ним Рогов, не осталось. Признал ли его вечный соперник? Неизвестно, он просто стоял и смотрел. И Мятлин смотрел, не решаясь сделать последние шаги. Снег кружил в сером небе, засыпая могильные плиты, дорожки, промерзшие клумбы, лишь два теплых сгустка материи оставались живыми в этом ледяном мире...

Третий открытый Чемпионат Балтии по русской поэзии — 2014

Портал Stihi.lv три года подряд проводит Международный поэтический конкурс: открытый Чемпионат Балтии и Кубка Мира по русской поэзии... В 2014 году на портале Stihi.lv проходил «3-й открытый Чемпионат Балтии по русской поэзии». Цель конкурса — в игровой, зрелищной форме организовать встречу читателей, литературных обозревателей и членов профессионального жюри с новыми стихами самых разных авторов из стран Балтии и всего мира, пишущих на русском языке. Наш журнал знакомит читателей со стихами финалистов и лауреатов этого конкурса.*

Михаэль Шерб (г. Дортмунд, Германия)

Холщовые поля

Внезапно кислород тебя щадит:
Наматывает сон, как чистый бинт, —
И видишь тополь, — выше колокольни,
Из под асфальта выпроставший корни.

И видишь холодеющий канал,
За ним кирпичный домик в два окна:
Льёт лампа желатиновый уют
И ходики мгновения клюют.

И дальше лес, который тоже сон,
Столбы стволов, соцветья чёрных крон.
И за стеной деревьев, розоват,
Горит рассвет, а может быть закат.

С прищуром птичьим сквозь небесный лёд
Луна в канал густые сливки льёт,
И под рукой — метёлки ковыля,
И под щекой — холщовые поля.

* Стихи лауреата конкурса Елены Фельдман см. в «Дружбе народов», 2014, № 8.

Возрождение

Сотворенный из света спускался во тьму,
Лечь на влажные листья и травы.
И река распахнула навстречу ему
Оба берега — левый и правый.

Он сошёл в камыши, словно в жаркую рожь,
На лишайники, в мягкие лапы,
Под прозрачную воду, где нежную дрожь
Выдыхают надменные карпы.

Где молока густых облаков и икра
Мелких звёзд, и туманные тени
Истекают росой в истоме песка,
Ноют птичьей поилкой в коленях.

Сотворённый касался плодов и корней,
Тонких веток и сладостных клубней.
Несмолкаемый стон комариный звенел
В паутинах каштановой лютни.

И шумел водопад, словно сдавленный смех
Из речного зажатого горла.
Сотворённый из света карабкался вверх
Изнутри, опираясь на рёбра.

Кома

Путешествовать светом гораздо быстрее, чем пешком
В невесомую ночь подниматься по лестнице тенью,
Расставаться с собой понемногу на каждой ступени,
На последней смешавшись со звёздным сухим порошком.

Лучше светом лететь, впереди хиросим, вопреки
Расцветающей ране, пока не настигнутой болью,
Прикрывая ладонью глаза, чтобы острою звёздной солью
Не порезать зрачки.

О, не дай, Корабел, растворённым в немой синеве
Дрейфовать без ветрил в двух шагах от спасительной бухты.
Лучше светом лететь, навсегда позабыв о Земле —
Что с заглавной, что с маленькой буквы.

Михаил Юдовский (г. Франкенталь, Германия)

* * *

Она писала мне из Испании — буквами, как бесенята, мелкими,
что скучает, купается в море, везёт в подарок часы —
недорогие, но очень красивые, с необычными стрелками,
изящными и поджарыми, как андалузские псы.

Она описывала деревья, многорукие, как менора
с апельсинами вместо свечек. Об испанцах — не очень к месту —
сообщала, что галантны, обращаются к ней «сеньора»,
удивляются, что одна, и зовут разделить сиесту.

Признавалась вдруг, что поверила в жизнь иную
впервые и здесь, где ничто ни на что не похоже.
Я читал её строчки, делая вид, что ревную,
удивлённому воздуху корчил страшные рожи,

расправлялся с андалузцами одним ударом навахи,
доставал из бара бутылку риохи,
бормотал про себя: «Ах уж эти испанские махи...»,
добавляя зачем-то: «Ох уж эти еврейские лохи...».

Её письма, меж тем, истончались, как влага
под субтропическим солнцем, читаясь кондово:
«Изумил Кадис... поразила Малага...
несравненна Севилья... хороша Кордова».

Затем пришла бандероль. С часами. К часам прилагалась записка:
«Остаюсь в Испании. Весной расцветёт миндаль.
Не грусти, я люблю тебя. Лишь отбрасывая то, что близко,
видишь даль».

Я пил кое-что покрепче. Вспоминал её родинки — десятки родин
на теле. Говорил себе, что бессмысленно стоять на пути к
совершенству... По слухам она то ли вступила в монашеский орден,
то ли открыла на набережной бутик.

Я сидел, у безморья ожидая шторма.
На её часах, заблудившись меж точками и тире,
околевали стрелки — как собаки, лишённые корма,
умирают в собственной конуре.

* * *

Пора перелётных птиц отпускать на волю —
в нездешние палестины, в невидимые леванты.
Красный ветер гуляет по маковому полю.
Сиреневый ветер шевелит стебли лаванды.

Вечер опускает голову, как усталый вол,
волк за горой поднимает привычный вой.
Ты всего лишь одна волна из тысячи волн.
Ты всего лишь одна война из тысячи войн.

Сосчитай черепа — хорош ли сегодня улов?
Сквозь плетение невода льётся квадратно свет.
Говори со мной — у меня достаточно слов,
чтоб глядеть на тебя, ничего не сказав в ответ.

Я бросаю твой невод в небо и вновь молчу.
И глядит, подрагивая, жёлтой луны свеча,
как приходит вечер, тебя прислонив к плечу,
и приходит вечность, тебя отряхнув с плеча.

* * *

...но внутри неприятно — становится тесно извне.
Улыбается преданно то, что давно уже продано.
Хорошо быть улиткой и всюду носить на спине
бесподобно красивую, трепетно хрупкую Родину,

ощущать каждой клеточкой тела, что вы — заодно,
неразлучные спутники, верные дружбе соратники,
сообща опускаться по скользкому илу на дно
и по тучному склону соборно ползти в виноградники.

Истончав, как слюда, за собой не оставив следа,
времена и места, как тоска и тоска, одинаковы, но
рассыпается мир, и сочится морская вода
застывающей каплею соли из треснувшей раковины.

Анна Маркина (г. Климовск, Россия)

* * *

Я жила в каморке. Тополя шелестели сладко.
А в каморке не было пола и некуда было сесть.
И в виду отсутствия мест для любой посадки
всем гостям приходилось в воздухе повисеть.

Приходил отец, летал и рыдал обильно,
жарил рыбу и сверху слезами, слезами капал...
Извинялся, мол, не очень тебя любил, но...
но зато, как ловко пожарил карпа!

Приходила мать. Кто поймёт её, кто поймёт?
Проходяща мать, как дождь за твоим окном.
Говорит, улетаю к солнцу я собирать там мёд,
говорит, что солнце красиво опылено.

Забегал дружбан, перепачкан, смешон, сутул,
загребал в воздушных волнах руками пьяными,
щёлкал семечки, убеждал прикупить хоть стул,
мол, итак полжизни в пролетающем состоянии.

Я пошла в Икею, выбрала табурет,
отдала всего четыреста пятьдесят рублей,
прихожу, смотрю, а друга уже и нет,
прихожу, смотрю — ни мамы, ни папы нет,
только пух набежал с уличных тополей.

Слон

Приходит человек в больницу,
суётся в нужное окно,
но всё без толку, всё без толку —
теперь там принимают только
слонов.

И человек уже боится,
он ждёт устало у окна,
он ждёт, когда отправят на,
он прямо чувствует в себе
слона.

Приходит человек в больницу,
ему необходим талон,
он просит, просит, просит, просит
его принять. Он, дескать, просто
нечётковывраженный слон.

В регистратуре говорят:
пришли вы зря, пришли вы зря,
ведь вы же слон,
ведь вы больны.
Сидели б дома до весны,
как все приличные слоны.

И человек трубит в окно:
не понимаю я одно —
куда тогда деваться нам,
добропорядочным слонам!?

В регистратуре говорят:
такой закон, такой уклон,
мы вам простили б, что вы слон.
Но, откровенно говоря,
вы с середины октября
по нашим записям, увы,
мертвы.

Рекомендуем уходить,
касторку пить, махать хвостом,
рекомендуем приходить
потом.

Так что, приятель, будь здоров!
Нам не до умерших слонов.
И человек идёт домой,
полулябой, полуживой,
идёт, идёт он дотемна,
несёт в себе домой, домой
большого мёртвого слона.

Ирина Ремизова (г. Кишинев, Молдова)

Горячий чай

звякает кочерга,
бродит в печной золе...
а над землёй — снега
выше, чем на земле.
как самоцветный клад,
взятый с морского дна,
светится мармелад
в сладкой горсти зерна,
в кипенных блондах пен
дремлет, вздыхая, взвар —
из-за небесных стен
тянется тёплый пар.
ходит в потёмках Бог
со слюдяной звездой —
носит падуб и мох,
радостный, молодой.
чашечный перезвон,
запросто, без затей:

чай, молоко, лимон —
в доме, где нет гостей,
здесь их не ждут — и ждут,
сами боясь того:
только на пять минут,
только на Рождество,
только взглянуть — тайком,
будто никто не звал...
просто у них есть дом,
прежде же — был привал.
не доберёшься вскачь,
не передашь письма...
... чай до того горяч,
что запотела тьма,
так, что не видно глаз
в праздничной пряной мгле
путников, что сейчас
странствуют по земле.

Милая бабинька

Милая бабинька, это я.

Финским ножом по треске солёной пишется весело — чешуя светится, щёлкая удивленно. И угораздило же — пропасть, не перемолвившись даже словом... Помню, метель разевала пасть, снежную сплёвывала полосу, ветер хватался за молоток, в дверь колотил, угрожал бедламом... Кто-то меня завернул в платок, и показалось, что это мама. Молча, высокая, обняла — щёки кололись о платье в звёздах. Не было в ней твоего тепла — только покой, тишина и воздух.

Бабинька, знаешь, наш дом видать в посеребрённый бинокль нагрудный. Здесь хорошо ничего не ждать, только дышать с непривычки трудно. Слышно, как лемминги к сундукам гномьим идут из подснежной кельи... Мне бы прижаться к твоим рукам, пахнущим кухней и рукодельем, внюхаться в розовые кусты до перестукиваний височных...

Бабинька, здесь не растут цветы. Здесь и земли не бывает, впрочем.

Люди соврали — она не зла и не ворует детей окрестных, просто огромные зеркала застыт ей солнечный свет небесный. Я у неё погощу чуть-чуть: льдинка — и сложится слово ВЕЧНОСТЬ. Жаль, позабылся обратный путь, ну да спрошу у кого из встречающих.

Вот и приходит письмо к хвосту, кстати, и нож заскучал по ножнам.

Бабинька, милая, я приду — только прости меня, если можно.

P.S. Герде скажи, что живу теперь в славном Слагельсе — удачный случай! Стал подмастерьем из подмастерьев у сапожника, самым лучшим. Не предаюсь никогда нитью, хоть и бывает мне не до смеха. Выучусь — туфельки ей сошью, бархатные, а скорей, из меха.

Ганна Шевченко

Рассказы

Подарок

Как и при каких обстоятельствах попал ей в руки этот сверток, Анастасия уже не помнила, хотя случилось это недавно. Мысленно она называла его подарком, хотя не знала, кому он предназначался. Чтобы это узнать, Анастасия решила его развернуть.

В трехслойной бумажной обертке лежала небольшая черно-белая фотография с резными краями. На ней был изображен мужчина средних лет с густой темной шевелюрой и ямочкой на подбородке.

Увидев мужчину, Анастасия погрузилась в сладкие дремы. Она представила себя идущей по улице с подарком в руке. Подарок она положит в объемную коробку, а продавщица сувенирного отдела обернет его красной бумагой. Именно красной, потому что Анастасия видела себя одетой в черное короткое пальто. Под ним непременно будет ярко-красная трикотажная туника с хомутом и такие же красные леггинсы. Тонкие, как прутья, ноги будут вставлены в тяжелые черные сапоги. Лица своего она почти не видела. Оно, как засвеченный снимок, являло только отчетливые черты — глаза, обведенные черным карандашом, бледную линию носа, губы, покрытые жирным слоем помады. Анастасии казалось, что она нашла стильное решение, и когда она войдет с подарком в прокуренную холостяцкую комнату, мужчина с темной шевелюрой и ямочкой на подбородке невольно приподнимет левую бровь.

В момент, когда Анастасия сидела за кухонным столом и представляла, какой эффект произведет, за открытым окном послышался громкий смех. Она выглянула на улицу. Вскакивая, она задела краем халата сверток с фотографией. Он соскользнул со стола, сделал кувырок и въехал в щель между холодильником и тумбочкой для овощей.

Анастасия жила на первом этаже и часто наблюдала за прохожими, облокотившись на подоконник. Теперь она видела мужчину и женщину. Они шли, взявшись за руки. Это были ее соседи со второго этажа, люди пьющие и беззаботные. Она — толстая и легкая как мешок с пухом, он тонкий и напряженный, как электрокабель. На ней был надет халат с запахом. Одеваясь,

Ганна Шевченко родилась в городе Енакиеве Донецкой области. Пишет стихи, прозу. Автор книг «Подъемные краны» (2009) и «Домохозяйкин блюз» (2012). Живет в Московской области.

женщина так слабо повязала пояс, что теперь полы разошлись как верхняя юбка императрицы. Из внутренней темноты подола виднелся обвислый, как оладья, живот. Женщина хохотала оттого, что заметила свою случайную наготу.

Анастасия давно не слышала такого живого смеха. Потрясенная, она отошла от окна и села за стол. Она попыталась вспомнить, о чем думала до этого, но так и не смогла.

Жук

Я с детства чувствительна к чужой боли. Соседские мальчишки, зная эту особенность, устраивали мне пытки. Ловили котят и дергали их за хвост у меня на глазах. Или собирали в спичечную коробку колорадских жуков и бросали в разведенный посреди двора костер. Им нравилось смотреть, как я бросалась на них, пытаюсь спасти живность. Они бегали от меня по двору с веселым хохотом, дразнили обидными словами.

После этих испытаний я бежала вниз, через огороды к реке, падала лицом в траву и лежала некоторое время, вдыхая запах земли и осоки. Потом забиралась на старую вербу, которая стояла на берегу, толстым стволом вдаваясь в реку. Моя любимая ветка росла над самой поверхностью, и я подолгу смотрела, как кучерявится вода, огибая дерево.

В школьные годы я мучительно переживала моменты, когда одноклассники издевались над девочкой Ларисой. Слабая, тонкая, с прозрачной кожей и белесыми ресницами, она никогда не отвечала на обиды, только сидела, опустив голову и мяла пальцами подол черной юбки.

Я хватала ее за руку, уводила в самый дальний коридор возле трудовых мастерских и начинала рассказывать анекдоты. Лариса сначала молчала, опустив глаза, но потом все-таки начинала улыбаться. Когда Лариса забывала о боли, у меня переставало ныть нутро.

Я и по сей день не могу убивать насекомых, которые появляются в моем доме. Когда в окно залетает муха, я бегаю за ней с полотенцем, стараясь выгнать в окно. Не могу давить пауков. Загоняю их веником под мебель, и мысленно прошу никогда не показываться.

Однажды я обнаружила у себя в спальне, в дальнем углу, большого коричневого жука с твердым панцирем и выпуклым, разделенным дугообразными чешуйками животом. Находиться с ним в одной комнате мне не хотелось. Я аккуратно посадила его на мусорный совок, подталкивая тряпкой, вынесла на лестничный пролет и посадила на окно между рамами. Через пару часов я обнаружила жука в своей спальне, в том же углу. Непонятно, как он вернулся. Из квартиры я не выходила, и входная дверь у меня всегда заперта на два замка. Я проделала с ним ту же процедуру. Снова вынесла в подъезд и посадила на окно. Через час жук снова сидел в моей спальне на том же месте, хотя я подперла входную дверь табуреткой.

Я увидела в этом некий знак. Если жук так настойчиво возвращается в мою комнату, значит, так должно быть. Я решила обустроить его быт, взяла с полки первую попавшуюся книгу и открыла ее так, что она образовала прямой угол. После я поставила книгу текстом к жуку, обложкой к себе, таким образом, что жук оказался в небольшом бумажном вольере. Я решила две задачи: во-первых,

жук чувствовал себя защищенным, во-вторых, он был скрыт от моих глаз, и я чувствовала себя комфортнее.

К жуку я не заглядывала, лишь иногда слышала звук, похожий на шуршание страниц. На обложке, которая служила перегородкой, была изображена фата. А на страницах, открытых перед жуком, находился рассказ о том, как молодой таксист едет по вызову и впервые встречается со своей невестой. Они едут в родное село, и в дороге герой вспоминает ее брата Васю. Герой боится Васю. А Вася по какому-то странному мордовскому обычаю собирается жениться на дереве и не планирует обижать героя.

Вскоре я привыкла к шуршанию и уже спокойно засыпала по вечерам. Но проснувшись как-то утром, я услышала тихий стон, исходивший из того угла, где сидел жук. Я заглянула. Все было спокойно, но мне показалось, что он увеличился в размерах. А на брюшке появились небольшие, как бусинки, пуговицы. Почувствовав, что я нахожусь рядом, жук зашевелился и снова издал стон. Я наклонилась к нему, и вдруг он произнес:

— Грета...

— Я — Анна, — ответила я.

— Мама, — простонал он.

— Я не мама, — ответила я.

— Это я, Грегор, — с трудом выговорил он.

— Ах, боже мой, — воскликнула я.

Убрав повесть, которая стояла перед ним, я побежала к полке, нашла книгу об эволюции, открыла нужную страницу и положила перед жуком.

Пусть превращается в человека.

Пусть.

Ангел мой, лети за мной

С тех пор, как она решила заняться шитьем, прошло несколько месяцев, но ей все никак не удавалось сесть за работу. Первый раз она пошла в магазин и купила нужные принадлежности, но, вернувшись, обнаружила, что купила не все, что задумала. Тогда она решила снова пойти купить недостающие. Она подошла к зеркалу, поправила прическу, произнесла «Ангел мой, лети за мной» и вышла из квартиры. Купив то, что требовалось, она вернулась, разделась, разложила перед собой все приобретения и снова обнаружила, что нескольких предметов не хватает. Тогда она снова отправилась покупать то, что забыла.

Вот уже несколько месяцев она непрерывно ходила в магазин. Покупала принадлежности, возвращалась домой, обнаруживала недостающие — и снова шла. Магазин стоял на окраине города, на пустыре, среди котлованов и обломков замороженного строительства. Работал он круглосуточно, и она могла идти за покупками в любое время. Часто она шла на рассвете, когда улицы были пустынные. Из утренних сумерек навстречу ей выныривали редкие прохожие в длинной одежде, с плоскими лицами без черт. Они проплывали мимо, как лодки, размеренно двигая крупными, как весла, руками.

Ночами она подолгу стояла на обочинах возле переходов и шурилась оттого, что непрерывный стальной поток мял пешеходную зебру и слепил ей глаза бросками фар. Она заглядывала в салоны, видела там сгустки, похожие на

черные шахматные фигуры, и играла с собой в проницательность, угадывая, кто едет, пешка или ферзь.

Ей нравилось медленно приближаться к магазину, наблюдая, как величественная геометрическая фигура проступает из густого пространства. Обычно это был прямой параллелепипед с резкими ребрами, но когда дул сильный ветер, сооружение смещалось от резких воздушных потоков и становилось наклонным. Иногда магазин не проявлялся, и тогда ей приходилось ждать минут пятнадцать-двадцать, пока желанный каркас не вынырнет из воздуха.

Те редкие минуты, когда она не шла в магазин, она проводила в своей комнате, сидя на стуле с коробкой на коленях. Она открывала крышку и перебирала свои приобретения: белые нити, вспарыватели, наперстки, клеевые ткани, гобеленовые иглы, технические ленты, пробойники, держатели этикеток, мелки, колодки для утюжки, канву без рисунка. Но потом вздрагивала, обнаруживая, что снова чего-то недостает, подходила к зеркалу, шептала «Ангел мой, лети за мной» — и снова направлялась в магазин.

Что кричит женщина, когда летит в подвал?

Я подошла к кабинету и заняла очередь. Она делилась на три ленты — к правому столу, к левому, и к среднему. Вопросы, которыми занимались эти три стола, имели общую основу, но отличались незначительными нюансами, поэтому внутри лент происходило движение — выясняли специфику столов, тонкости вопросов, многократно рокировались.

Меня сначала направили к правому, оттуда отослали к левому, и только после этого выяснилось, что мне нужен средний. Приходилось два раза выходить из кабинета и занимать новую очередь в нужный поток.

Когда пришел мой черед, я зашла и села на стул перед инспектором.

Она открыла папку с документами, бегло пролистала ксерокопии, сверила с оригиналами и сказала:

— Вы можете задать три вопроса.

— Три? — переспросила я.

— Уже два, — ответила она.

Я заволновалась, потому что слышала, как другие граждане пытались задавать вопросы инспекторам за соседними столами. Те хохотали, едко комментировали услышанное, называли посетителей «банальными людьми с убогой фантазией».

Нужно было задать необычный, но вместе с тем насущный вопрос, который бы искренне тревожил. От волнения я стала теревить подвеску на шее и вспомнила, что совсем недавно сестра посмотрела на кожаный шнурок, на котором крепился мой кулон, и спросила: «А где серебряная цепочка, которую я тебе дарила?»

Сестра мне цепочку не дарила, но она была настолько уверена в себе и так убедительна, что мне пришлось поверить и насочинять, что цепочка порвалась и лежит сейчас в моей деревянной шкатулке. Сестра взяла с меня слово, что я обязательно в ближайшее время схожу в ювелирную мастерскую и отремонтирую ее. Но сомнения все же мучили меня.

— Дарила мне сестра цепочку или нет? — спросила я.

Инспектор откинулась на спинку стула и посмотрела на меня, сузив глаза.

— Это, — она указательным пальцем сделала в воздухе петлю, — кабинет по странным вопросам. А вы все думаете, что мы здесь сидим и занимаемся ерундой. Что нам делать больше нечего, как выслушивать все эти глупости. Думаете, что государство зря расходует деньги налогоплательщиков, выплачивая нам ежемесячную зарплату? Это не так. Будем считать, что я не слышала эту белиберду про цепочку. А теперь соберитесь с мыслями и задайте мне нормальный странный вопрос.

Специалисты встречали взрывом хохота любой интерес: к жизни, смерти, сотворению мира, концу света. Я поняла, что дела мои плохи, поэтому расслабилась и спросила первое, что пришло на ум:

— Что кричит женщина, когда летит в подвал?

Инспектор усмехнулась, захлопнула мою папку и заговорила, выравнивая ладонями края выбившихся документов:

— Голливудские фильмы любите, да? Про Лудо, небось, вчера смотрели? Ну, чем там все закончилось?

Она откинулась на спинку стула и захохотала.

— До свидания, — ответила я, вставая, потому что не знала, чем там, у Лудо, все закончилось.

Инспектор протянула мне документы и сказала:

— Приходите через месяц. И скажите там, пусть заходит следующий.

Покинув учреждение, я некоторое время бродила по городу, чтобы узнать, что кричит женщина, когда летит в подвал. И ответ нашелся:

Когда летит в подвал женщина, она молчит,
падает медленно, огибая электрощит,
двигаясь в невесомости, делает кувырок,
опускаясь ниже, делает второй кувырок,
падает, шурится, отлеживается на животе,
потом ищет лестницу, ползая в темноте.

Иванов

Иванов хотел слыть пророком, поэтому иногда предсказывал события. Мы делали вид, что относимся к этому серьезно, потому что не хотели обидеть Иванова. Многие из его предсказаний были бесприимчивыми, такие мог сделать любой из нас. Совсем недавно, в декабре, он пришел к нам и сообщил, что на следующий день температура воздуха поднимется на три градуса. Мы восхитились его прозорливостью, несмотря на то, что подобными знаниями мог владеть любой юзер. Иванов интернетом не пользовался, но мог услышать о повышении температуры в аптеке или в троллейбусе.

В конце года он пришел и сделал еще одно пророчество, он предрек, что в магазине германской одежды «Мистер-твистер» будет новогодняя распродажа пиджаков, и цены снизятся на пятнадцать процентов. Мы зашли и проверили. Действительно, цены снизились, но не на пятнадцать процентов, а на десять. Но мы и это ему простили, потому что любой оракул имеет право на погрешности.

Неделю назад Иванов рассказал нам, что силой энергии разума совершил акт телепортации. Якобы с помощью силы мысленного желания он перенес

цветочную палатку, расположенную на пересечении улиц Третьякова и Гоголя на двадцать сантиметров вправо и она теперь немного приблизилась к автобусной остановке. Мы и тут не стали спорить, потому что проверить это невозможно, замеров мы не делали, и первоначальное положение объекта нами не зафиксировано. Мы только спросили Иванова, почему он заставил совершить гиперскачок именно цветочную палатку. Иванов ответил, что ему нравится *орхидея*. Причем не сам цветок, а слово, его обозначающее.

А вчера Иванов сообщил нам страшную новость — сегодня произойдет конец света. И после того, как это случится, к нам в дом придет человек в маске и балахоне и станет вершить суд.

Мы подумали, что сначала Иванов сделает нужные приготовления. Соберет на небе все тучи, несколько раз сверкнет молниями, устроит небольшой ураган. Если уж он, действительно, способен силой мысли передвинуть цветочную палатку, то воздействовать на природные явления для него не составит труда. После этого он наденет на себя маскарадный костюм и войдет к нам во всей своей красе и величии. И вот в этот торжественный миг мы сдернем с него балахон, сорвем маску и сообщим ему, что не позволим какому-то Иванову вершить над нами суд.

Но случилось следующее. Не было туч, не было грома, молний и урагана. Но около двенадцати часов дня к нам действительно вошел человек в белом балахоне и черной маске. Мы, как и задумали, сорвали с него покров, но под ними не оказалось Иванова, все эти атрибуты были брошены на пустое место. Мы так и сели на свои стулья. И вот сидим второй час, любимся пустотой.

Вам, наверное, интересно, кто это — мы?

Мы — это Сидоров и Петров.

Эфирное время

Руководителей телепроекта интересовали рейтинги, и мы ежемесячно искали захватывающие сюжеты. Например, о том, как пьяный муж маленького роста не смог доползти до кровати и заснул на коврик, а его крупная жена, делая утром уборку, не заметила спящего мужа, свернула ковер и вытряхнула его вместе с мусором с балкона второго этажа. Муж упал на соседку, шедшую к невестке с банкой солений. К счастью, никто не пострадал, но банка с огурцами разбилась, и теперь соседка подала в суд иск о компенсации материального ущерба.

Или о том, как врач-офтальмолог сделал операцию по удалению катаракты своему полуслепому пациенту, а когда тот прозрел, узнал в своем лечащем враче давнего соперника, который соблазнил в молодости его первую жену, набросился на него и нанес ему тяжкие телесные повреждения. Врач-офтальмолог обратился в суд с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью.

Или о том, как одна женщина поссорилась с соседом по коммуналке. Сосед был дипломированным экстрасенсом. Во время конфликта он направил энергетический луч в сторону комнаты, где был включен недавно приобретенный телевизор. Вся задняя панель расплавилась, и женщина подала в суд иск о принудительном выселении соседа из коммунальной квартиры.

Но вершиной я считаю историю о том, как муж подал в суд иск о

расторжении брака, потому что вернувшись из командировки раньше обещанного, обнаружил свою жену в постели с бурым медведем.

Подготовка сюжета к эфиру — это написание синопсиса и утверждение его юристом. Затем синопсис расписывается по ролям и начинается поиск актеров для съемок. Этим занимается редактор. Еще есть специалист, занимающийся подготовкой реквизита для каждого отдельного сюжета. Собирает доказательства, которые будут представлены на суде — коврик, из которого вытряхнули мужа с балкона, разбитую банку огурцов, расплавленную панель телевизора.

К делу о буром медведе решили приложить несколько фотографий, сделанных в фотошопе, где женщина лежит в постели с животным. Эти снимки должен продемонстрировать муж-истец как доказательство своих обвинений.

На роль жены нашли женщину средних лет, маленькую и вялую, как брошенный цветок. Мужем ее стал грузный мужчина, с грубым голосом и близко посаженными глазами. Внешне он напоминал медведя. По сценарию он должен махать перед судьей фотографиями и кричать, что жена ему изменяет с животным. Жена должна была оправдываться и обвинять мужа в пьянстве.

Но главная интрига началась, когда мой редактор шепнула мне перед эфиром:

— Меняем ход дела, теперь у нас есть свидетель ответчика.

Я не обратила внимания, такое часто случается — шеф-редактор внес изменения, или судья сделал замечание. Сначала сюжет шел по сценарию. Но после нескольких выкриков разъяренного мужа и невнятных оправданий жены судья произнес:

— А теперь выслушаем свидетеля ответчика.

После этих слов пристав завел в зал суда настоящего бурого медведя и поставил его рядом с ответчицей.

— Представьтесь, — попросил его судья.

Медведь зарычал.

— Истец утверждает, что застал вас в постели со своей женой.

Медведь снова зарычал.

Внезапно истец, который сначала пребывал в смятении, вспомнил, что он играет униженного мужа, и крикнул:

— Скотина!

Жена, почувствовав рядом с собой защиту, выглянула из-за медвежьего плеча и бросила мужу:

— Алкаш.

Судья застучал молотком по столу и приказал:

— Уймись, иначе вас выведут из зала суда!

Судья снова хотел о чем-то спросить медведя, но тот поднес правую лапу к пасти, гулко прокашлялся и заговорил:

— Цап-царап
сказал мыш-
ке, вот ка-
кие делиш-
ки, мы пой-
дем с то-
бой в суд,
я тебя

засужу.
И не смей
отпираться,
мы должны
расквитаться,
потому что
все утро
я без де-
ла сижу.
И на это
нахалу
мышка так
отвечала:
Без суда
и без след-
ствия,
сударь, дел
не ведут.
Я и суд,
я и след-
ствие —
Цап-царап
ей ответ-
ствует. —
Присужу
тебя к
смер-
ти я.
Тут
тебе
и ка-
пу-
т.

После этих слов судья стукнул молотком и крикнул:

— Все оправдано!

— Снято! — крикнул оператор.

Виталий Науменко

Смертельный номер

Рассказ

I

В сончас, когда положено спать, а не шляться по лагерю, два пионера из четвертого отряда столкнули в бассейн плаврука. Вернее, толкал только один, второй подножку ставил, но это картины не меняет. Бассейн был открытый, со стоячей водой, в которой плавали листья и фантики от жвачек «Турбо».

Плаврук не удивился и даже как будто не обиделся, а медленно поплыл вдоль бассейна на спине, думая о чем-то своем. Прямо в синем спортивном костюме и кедах. Высоко над ним так же медленно плыли облака, и он на них смотрел. Может быть, думал о том, на что они похожи. Хотя бывают облака, похожие только сами на себя.

Витя и Дима убежали в лес. Дима был рыжий, суетливый, всегда лез в драку. Он рыжий, поэтому такой ненормальный, это факт, не сомневался Витя.

Дима снял футболку, повязал ее вместо пояса, кувыркался, показывал приемы каратэ, залезал на деревья и подолгу висел на ветках. Сначала с деревьев виден был весь лагерь, потом только красный флаг на шесте, потом лагерь совсем не стало видно.

— Вот и поиграли в «Зарницу», — сказал Витя.

Места эти они знали хорошо и не боялись заблудиться, просто не хотели попасть в руки плаврука и своего вожатого Петра Радиевича.

Ровно в полдень в лагере начинал работать репродуктор. Говорил он сиропным женским голосом. Старшие курили за стендами папиросы из пачки «общак» и слушали. Голос им нравился.

«Здравствуйте, дорогие ребята! Все руководство и лично директор пионерского лагеря "Журавленок" Юрий Михайлович Сопрук поздравляет вас с новым днем и желает сделать сегодня как можно больше добрых дел, чтобы потом было о чем вспомнить. Сегодня на утреннюю гимнастику первым в полном сборе явился второй отряд, а вот четвертый оказался в числе отстающих. Наверное,

Науменко Виталий Владиславович — прозаик, поэт, переводчик, критик. Родился в 1977 г. в городе Железногорск-Илимский Иркутской области. Проза и эссеистика публиковались в журналах «Новая юность», «Сибирские огни», «Октябрь», «Интерпоэзия» и др. Лауреат премии им. Виктора Астафьева.

кто-то из вас, ребята четвертого отряда, любит сладко поспать по утрам?» — лукаво спрашивал репродуктор. «Сколько японских журавликов вы сделали за день?» «А сейчас, — продолжал он, — перед вами выступит вожатый четвертого отряда Петр Радиевич Сюселевич. С ним как всегда его походная подруга — гитара».

«Здравствуйте, салаги и девчонки, которые надеются и ждут — развязно вступал в разговор Петр Радиевич, — спасибо, Света (так, наверное, звали репродуктор, потому что никто эту Свету в лагере в глаза не видел, и о ней рассказывали всякие байки: что она одна живет в лесу или что она живет у директора Сопрука и выходит ночью погулять, ходит голая по центральной аллее). Все знают, что я служил сверхсрочником. Это суровая вахта настоящих мужчин. Кстати, у нас пользовалась большой популярностью одна песня. Она учит тому, чтобы не делать так, как часто делают те, кому надо за это надавать по рогам. Сейчас я исполню эту песню, а вы подумайте, что имеется в виду».

К этому времени у репродуктора уже никого не было, докурили и разошлись.

«Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю...» — ежедневно надрывался в рубке Петр Радиевич.

Неудивительно, что песня быстро всем надоела. Четвертый отряд прозвал Петра Радиевича «велосипедом». Он и правда был худой, как велосипед. Долго обсуждали его отчество. Кто-то предположил, что Петиного отца зовут радио, вот он по радио и выступает. Другие возразили, что не может быть такого имени. Их поправили: «Может. Это имя дано в честь итальянского ученого Радио, он радио и изобрел».

Только в пищеблоке Петра Радиевича жалели. Раздатчица по фамилии Несуха говорила, что у нее зять такой же: «Приходит со своей палкой и начинает орать: "Пятна крови на рукаве". Слова-то какие страшные! Я говорю ему: "Уйди от греха", а он мне: "Я неформал! Я петь хочу!"»

Однажды ночью, когда все уже уснули, Петр Радиевич разбудил Витю и вывел его в коридор. «Садись на меня, — сказал Петр Радиевич, — я тебя покатаю». И действительно стал катать на спине, ползая туда-обратно по узкому коридору, с трудом разворачиваясь среди скамеек.

— Говорят, ты много книжек прочитал?

— Мн-нн-но-го, — ответил Витя, подпрыгивая на спине вожатого.

— А сколько? Тысячу? Или больше?

Витя не знал.

— Ты, говорят, стихи пишешь. Почитай что-нибудь.

— Ххх-отт-ел бы я обб-рру-шить вдд-дох-ннове-нье на ррав-внодушье сер-рой-е тол-пы...

— А-а-а, — Петр Радиевич долго думал, что сказать. — Академиком будешь. Ну, слезай и ничего никому не рассказывай.

Теперь, в лесу Дима вспомнил тот случай, произошедший с Витей: «Ты на Велосипеде катался, значит, бить не будет».

— А тебя?

— Меня будет. До первой крови.

— А плаврук?

— Плаврук тоже меня будет бить, — Дима даже показал на себе, как

плаврук со всей силы ударит его в живот: скорчился, упал и задрогал ногами. — Я же его толкал, а не ты.

— Тоже до первой крови?

— До первой крови бьют один раз, — веско уточнил Дима, — опа, слышал? — насторожился он. — В лесу кто-то шарится возле нас. Знаешь, кто это? Зэки. Они вокруг лагеря давно ходят. И следов не оставляют.

— Зэки?

— Ну, зэки. Они такие... Черные. Если поймают, тоже делают из тебя зэка. Они говорить даже не могут. У них заточки классные.

Дима наконец-то устал, и они сели отдохнуть, развалились на траве. В лагере в это время пионеры пошли на ужин.

— Расскажи страшную историю, — попросил Дима.

— Про зеленые бигуди пойдет?

Дима подумал и снисходительно кивнул. Витя начал, это он умел, сочинял по ходу:

— Однажды мама послала девочку в магазин и говорит: «Купи мне бигуди, покупай, какие хочешь, только не бери зеленые». Ну, та все магазины обошла, везде только зеленые бигуди продаются.

— Ну, ясный пень, почему — не завезли другие.

— Девочка купила зеленые бигуди. Мама ей говорит: «Я же тебе сразу сказала русским языком, такие не бери». На следующий день мама пришла с работы — вся лысая. Девочка думает: «Зря я ей купила зеленые бигуди, надо было себе календарики лучше купить на эти деньги». А на следующей неделе мама пришла с работы без этой... Без головы.

Дима с минуту молчал, потом наконец вздохнул и даже затрясся, как будто замерз. Встал и начал ходить туда-сюда — согревался. Нет, вообще-то он был смелый. Ходил-ходил и вдруг говорит:

— Слушай. Не... Давай назад пойдем. Стремно тут ночевать.

И они пошли по лесу назад. И Витя спиной чувствовал, как за ним со всех сторон следят зэки. Черные, поэтому их не видно в темноте...

Первым, кого они встретили в лагере, был Петр Радиевич. Он шел им навстречу, стройотрядовец — пустое лицо, длинный, в штормовке с нашивками, походная подруга на плече. Он уходил на опушку каждый вечер и играл там не «Велосипед», а другую, подпольную песню «Безнадега».

Не обратив внимания на Диму, Петр Радиевич взял Витю за ухо. Стоял и думал, оторвать ухо или оставить — так показалось Вите. Наконец, когда Дима давно уже скрылся где-то в районе двух огромных, как средневековые замки, туалетов, Петр Радиевич отпустил Витино ухо и сказал «Пошли», — просто сказал, без всякой интонации.

«Бить будет, до первой крови», — понял Витя.

Но сначала вожатый повел его в административный корпус. Здесь сидел красный от злости директор лагеря Сопрук и Витина мама. Она, не переставая, плакала. Сопрук налил ей воду из толстого графина и посмотрел на Витю как на фашиста. Витя даже захотел крикнуть: «Я не фашист!»

— Где ты был? — наконец спросила мама.

— В лесу.

Она снова заплакала, а Сопрук уже настолько разошелся, что всем своим видом кричал в лицо Вите: «Ты фашист! Зондер-команда!»

— Я не из зондер-команды! — вдруг твердо ответил Витя. Он вспомнил картину «Допрос партизана». На ней был такой же лысый Сопрук. Вот как надо себя вести, по-партизански. И не печальтесь о сыне... Еще в голове успело проскользнуть: «Да, я в ваших руках. Ну а Димку-то вы не возьмете».

Все: мама, Сопрук и Петр Радиевич, до этого стоявший спокойно, одновременно изобразили бы немую сцену, если бы протяжно не спросили: «Что-о-о?»

— «Что? Где? Когда?» Клуб телевизионных знатоков, — почему-то ответил Витя.

— Мы едем в Кургудай, — подытожила мама.

Витя понял, что это конец, и метнулся к двери. Петр Радиевич с нечеловеческим ревом, в падении, вызвавшем, кажется, сотрясение всего лагеря, ухватил его за штаны.

— В Кургудай, — повторила мама, — Лена замуж выходит. Ты забыл?

— Лену вы мне не пришьете! Не сдам Димку! Он в туалете! Это я утопил плавука! — орал Витя, вырываясь из мощных рук сверхсрочника.

Сопрук стал желто-фиолетовым, а Петр Радиевич, нанеся несколько классических шлепков, пояснил:

— Лена — твоя старшая сестра.

Витя, понемногу приходя в себя, огляделся. И все хором закивали, подтверждая, что это чистая правда, что это не Петр Радиевич только что выдумал ему сестру Лену.

II

Путь в Кургудай — девять часов на автобусе.

Вокруг все говорили и говорили. Взрослые разговоры Витя ненавидел.

— Где мой финский гарнитур? Не отвечай, мне уже предоставили досье, перевязанное бантиком. Ты сначала его поцарапал, а потом загнал. Зачем я только поехала в эту Алупку?

— Знаю я, зачем ты туда ездила.

— Это женская тайна. Но только посмей тронуть Белинского.

— Не бойся, я всегда бью между глаз, чтобы шкурку не испортить.

С другого сиденья:

— Я ему говорю: сними штаны, они цветом, как занавески у меня в кухне.

— И что?

— Снял с радостью. Зато, когда он меня бросил, пришлось занавески снимать, они мне его штаны напоминали.

По-настоящему Витю заинтересовала всего одна пара, которая, он точно знал, тоже ехала на свадьбу его старшей сестры. Это была приятного вида, но каким-то народным способом обесцвеченная девушка и отвратительно страшный, как показалось Вите, огромный брюнет с волосами, зачесанными назад. Витя в первый раз в жизни видел такую прическу. Девушка была, наверное, раза в два меньше, чем этот брюнет. Она все время говорила, но ничего нельзя было разобрать. Понятно было только, что тот, который с зачесом, ее обидел. Позади них сидела еще одна девушка цыганистого вида, просунула голову между сиденьями и все время вставляла свои замечания.

Во время пути автобус часто останавливался.

— На процедуры, — кричал шофер. — Девочки налево, мальчики направо.

Все радостно выбегали. Мальчики, выходя из леса, хозяйским жестом проверяли ширинки. Девочки уходили далеко за деревья и долго не возвращались.

Однажды обесцвеченная девушка немного повертелась на дороге и свернула не налево, туда, где девочки, а направо, туда, где мальчики. Первым из леса вышел зачесанный парень. Девушка семенила за ним и размахивала руками. Тот не слушал. Сразу пересел к цыганке и уже с ней ехал всю оставшуюся дорогу. Цыганка положила ему голову на плечо и делала вид, что спит.

Девушка села совсем отдельно, смотрела в окно, водила пальцем по стеклу. Иногда она закрывала руками лицо, потом снова поворачивалась к окну. Доставала зеркальце, смотрелась в него и тут же прятала. Витю, который сидел теперь напротив нее — через проход, рукой подать, она не замечала, будто его вообще нет. Вите это нравилось — он мог смотреть на нее, на то, как она плачет, жалеть ее, и ей это не мешало.

Ему было совсем неважно, почему девушка плачет. И кто все эти остальные: зачесанный и цыганка. Да и кто она такая, эта девушка — ему было совершенно все равно.

Это уже в Кургуде сестра Лена представит ему плаксу: Витька, познакомься, моя однокурсница и подруга.

А та сделает взрослое лицо, совсем чуть-чуть наклонится и скажет:

— Ну привет, мальчик. Серьезный какой, надутый. Я Лиса.

Как в сказке. Но действительно — Лиса — все ее так называли, и Витя к этому постепенно привык.

Будущим мужем Лены был Александр. Мама сказала Вите: «Он сделает из тебя человека».

У Александра не было недостатков. У медалистки Лены, чемпионки района по плаванию на короткой воде, которая шла на красный диплом, их тоже не было. Идеальная пара.

В Кургуде изможденная компания гостей шатко выбралась из автобуса. Девять часов езды превратили еще недавно бодрых, энергичных людей в пессимистично настроенных, полных отвращения к жизни и социально опасных перерожденцев.

Поперек дороги кто-то лежал. Вдруг из кустов выскочил импозантный жених Александр с невероятных размеров фотоаппаратом и начал делать снимки. Он буквально кувыркался с камерой на пыльном шоссе, отдавал команды, как позировать. Витя испугался и спрятался за автобус. Там уже сидел шофер и тяжело дышал. «Видел я этот Кургудай во сне своей бабушки», — сказал он.

— Ну а теперь по домам! — крикнул Александр.

Домов у его семьи оказалось несколько. Александр подробно показывал каждый, комментировал расход кубометров древесины с цифрами на руках, особые новаторские идеи при строительстве.

...Александр как раз рассказывал про своего младшего брата — Павла, про дом, который они построили с ним вместе, про звон топоров, веселый ветер, трепавший их волосы... Майна-вира...

— Свежесрубленный дом! Каждый из таких домов — наш ребенок! Это, я скажу по правде, младенец, пахнущий материнским молоком! Вот так, —

Александр по-хозяйски приобнял Лену. — Как ты решила, роднуля? Трое? Четверо?

Все вежливо посмеялись. Даже Лиса, которая, как и Витя, почти ничего не понимала и не слышала. Они шли, куда их ведут. Только сейчас Витя заметил, как они с ней похожи. У них двоих были какие-то свои мысли, а у всех остальных — общие.

Победное шествие Александра остановило одно обстоятельство. Высоко на перилах балкона двухэтажной, пахнувшей стружкой и потом постройки, сидел парень. Загорелый, при этом в белоснежной рубашке с аккуратно закатанными рукавами, штаны тоже были закатаны по колено. Но сидел он как-то неестественно, будто ни за что не держался, только и ждал легкого порыва ветра.

— Это что же делается, — громко начал кто-то.

Александр вздрогнул, стал белым от страха.

— Он спит, не видите, что ли?

Все замолчали и подняли головы. Парень наверху раскачивался и не падал. Александр рванул на себя дверь дома, она была заперта изнутри. «Что встали? Пашку ловите! Он же навернется сейчас!»

Все начали послушно, сбивая друг друга, неуклюже и беспорядочно мельтешить под балконом, растопырив руки. Тихо причитали: «И не пожил совсем», «Головой вниз пойдет, штопором...», «Раздавит в лепешку».

Из-за соседнего дома уже бежал Александр с лестницей — такой огромной, что — как будто бы это не он ее нес, а она сама плыла по воздуху, и он просто к ней приклеился.

Александр прислонил лестницу к балкону. Затем, как обезьяна, скачком вскарабкался по ней, ухватил брата, стащил его с перил внутрь, они укатились, и тут же завязалась драка. Два поколения не щадили друг друга. Летели и дребезжали стекла.

Через пять минут оба, улыбаясь, приобнявшись, вышли из дома. Один брат был уже с разбитым носом, кровь заливала белую рубашку — белую до рези в глазах, другой, скрючившись, держался за живот.

— Вот это и есть Павел, — представил Александр. — Теперь я расскажу, как мы строили дом. Для этого нужна особая крупноволокнистая древесина. Без нее толку не будет. Итак, берешь бревно, измеряешь его, не забудьте про диаметр, и тешешь...

III

— Ты очкастый? — спросила девочка.

— Витя, — представился Витя.

Девочка сняла с него очки и надела их на себя:

— Очкастая Поля, — сказала она. — Хочешь, покажу тебе кое-что?

— Хочу.

«Что за имя — Поле?» — не понял Витя. — «Наверное, местное. Такое может быть. Это необжитые места Союза».

Они перешли пару дворов, где стояли высокие поленницы и лаiali невидимые собаки, и подошли к бесконечному, метра в два, плотно сколоченному забору.

— Видишь дырку? — спросила Поля. — Что там?

Витя заглянул в дырку, оставшуюся на месте сучка.

— Там гора. И две коровы. Одна смотрит на забор, а другая отвернулась. Машет хвостом.

— А еще?

— Там родник на горе.

— У меня в детстве на голове был родник, — похвасталась Поля.

Витя с недоверием посмотрел на нее.

Они полезли на гору, как-то преодолев все препятствия: ручьи, огромные камни, овраги, обошли забор длиною, как советская граница, хотя, конечно, советская граница намного длиннее. Долго лезли вверх. Попрыгали по горам. И заблудились. Решили пойти в сторону одинокого покосившегося дома.

— А почему у тебя имя Поле? Ты ведь живешь в горах.

— Ну ты и дурак. Ты в детстве что, со второй полки падал?

— Падал. Я на мужика с чемоданом упал.

— Удивительно! А я вот, к твоему сведению, падала с третьей полки прямо на пол. И ни одной царапины. Встала и пошла.

Витя хотел рассказать, что его однажды побили два пятиклассника, а в другой раз его закрыли в подвале на даче и искали сутки, что на демонстрации он нес портрет Громыко с надписью «Зайков» и вообще два раза переплыл Илим, но промолчал.

На завалинке сидел мужик с перевязанной головой и в одном сапоге.

— Как нам пройти в деревню? — строго спросила его Поля.

Мужик посмотрел на нее и высунул язык. Язык был зеленого цвета.

— А-а-а-а!!! — с диким нечеловеческим воплем Витя и Поля мчались вниз по склону. В ушах свистел ветер.

— Не страшный. Траву ест, — сказала Поля, когда они прибежали в деревню. — Коровы тоже едят траву.

— Она невкусная.

— А ты что, тоже ешь траву, тоже ешь? А я ее никогда не ела.

Поля увидела большую корову, но побоялась подойти к ней близко. Встала напротив.

— Здравствуй, корова. Меня зовут Поля. Меня сначала называли Олей, а потом Полей. И я не знаю, кто я.

Возле дома на корточках сидели несколько пацанов в майках и курили. Вынимали сигареты изо рта синхронно. Передавали друг другу бутылку с мутной бурдой.

— Паленка, — сказал один, отглотнув.

— Пойло.

Но и одно только слово сквозь зубы выматывало их.

Заправлял среди них Паша. Витя обошел корову и сел рядом с пацанами.

Паша докурил. «Корову боитесь?» Он подошел к корове и боднул ее головой.

— Не трогай корову! — закричала Поля, — она будущая мать.

— Я уже сделал двух детей, — ответил Паша, — мне можно.

Тут он свистнул. Вся компания разом поднялась с земли. Они ушли, в майках, обгоревшие плечи, растянулись на всю ширину улицы. Витя остался один. Поля рассердилась.

— Ты такой же, как они! Я буду кусаться, понял? Я могу руку прокусить сразу в семи местах!

IV

Витя сидел за столом. Вокруг него суетились люди с посудой. Стол ломился. Сплошные бутылки и графины, салаты горками и огромный жареный поросенок.

Зашел Паша. Сел напротив, закурил. Правильно, кольцами.

— Слышал, как его резали? — спросил он про поросенка. — Это я. Вот такой резак в руке держал! Это тебе не курицу задушить.

Паша выдержал паузу.

— Городских пойдешь бить с нами? Ты же за нас теперь. Знаешь, как розочка делается? Ня-а! — Он размахнулся и разбил бутылку лимонада об стол. — Видал, вот это розочка. А если тебя будут бить, ты говори: «Наши вас запытают». И все.

Мимо прошла Пашина невеста Илиада.

— До свадьбы хоть дотерпи, — сказала она.

Паша только улыбнулся. Бессмертная улыбка человека, которого невозможно вывести из себя.

— Лидка — дура, — сказал Паша, — а мы с тобой мужики. Хочешь, покажу смертельный номер?

С ледяной выдержкой он вот что сделал: налил одну рюмку из графина и выпил, выдохнул в сторону. Налил еще одну рюмку. И еще. И так раз восемь. После этого взгляд его помутнел, он качнулся и упал лицом точно в салат, царапая пальцами скатерть в сторону поросенка. Почти беззвучно подошли какие-то люди, Витя даже не успел понять, что происходит, а они подхватили Пашу под руки и унесли.

— Паши не будет на свадьбе, — сказал Александр, вынырнувший, как официант, откуда-то резко сбоку, — а ты, Виктор, готовься. В горы с нами поедешь. До этого будет выкуп невесты. Как, осваиваешься у нас?

— Да...

— Небось не видел никогда такого. А? Красиво здесь. Гостей мы любим.

V

У Вити кружилась голова. Со всех сторон горы, сколько-то там над уровнем моря, и Лиса рядом. И вообще он понял, что человек — это не то, что он есть с виду, это его запах. Никто бы не назвал Лису красавицей. Зато она пахла. Сама собой, а не «французскими» духами фабрики «Красная Москва», от которых тошнит.

Тут же вертелась Поля, которая по-прежнему угрожала Вите, что она его искушает. Только почему-то теперь ей пришла в голову мысль искушать его ночью. «Ты увидишь мои распущенные волосы в окне», — запугивала она.

В горах началось: Александр подхватил медалистку Лену и стал таскать ее туда и обратно. Он весь взмок, посинел, но таскал ее сначала вниз, а потом вверх. Это напоминало соревнование сумасшедшего с самим собой. Витя живо предста-

вил, как обессиливший Александр роняет Лену, и она с криком «Прости за жестокую память» исчезает в пропасти.

Витя услышал из постороннего разговора, что одна машина уже едет в столовую, в ней те, кто готовит последние приготовления к банкету, и напросился в помощники.

Через пятнадцать минут он снова сидел все на том же месте в огромной столовой «Огонек», похожей на сарай. Когда его просили помочь — он помогал, но думал только о Лисе: «Она была заводилой, подругой невесты, организовала ее выкуп, значит, ей это было интересно. А мне совсем неинтересно. Выходит, я ошибался, мы разные».

Гости приехали всем скопом. Александр и Лена уселись во главе стола. Рядом с Витей сели две женщины в годах со странными прическами. Одна прическа косила налево, другая — направо. Они смотрели на молодых так, будто те совершили преступление. Или готовятся к нему.

— А в каком мать-то сейчас кошмаре. Зять — это же лотерея! — громко, но быстро говорила одна. — Лотерея в чистом виде! Вот моя вышла замуж за бурята. Он один раз напился и икал всю ночь. Она ему подсунула брошюру о вреде алкоголизма, а там написано, что каждый советский человек обязан бороться с алкоголизмом любыми способами. И зять что удумал! У него штык-лопата, он дворником у нас работал в ЖЭКе. Утром, когда народу мало, увидит пьяного, прокрадется за ним и бац лопатой по башке. Ему в милиции по-всякому, всеми методами уже объясняли, что так с алкоголизмом не борются. А он уперся и все: нет, по закону так можно. И пристукнул одного.

— Это ладно. А у моей первый муж был интеллигент. Все время говорил: «Позвольте». «Позвольте, позвольте, позвольте, позвольте». После первой брачной ночи моя вся в слезах. Я говорю: что такое? Она рассказала: «Разделась я и лежу, вся трясусь от страха. Тут он подползает и говорит: "Позвольте". А я, что ответить ему, не знаю». Так всю ночь и пролежали.

— Да, это страшно. А вот моя...

Витя перестал слушать их разговор. Он просто сидел и смотрел на Лису. И снова решил, что их только двое таких за столом. Все вокруг жрут, кричат, заваливаются друг на друга, прически соседок завязываются штопором, сыплотся поздравления, а они просто сидят. Лиса даже не смотрела на зачесанного и цыганку, они сидели вообще в другом углу стола и целовались. А кто они перед ней? Она — свидетельница на свадьбе! Следующий человек после родителей!

Только один раз Лиса встала и произнесла тост: «За то, чтоб мальчик не был с пальчик!» и все.

Витя вышел на улицу и стал ходить взад-вперед. Кругом были горы. Он бы среди них навсегда поселился. И дрался бы вместе с Пашкой до первой крови здесь, среди гор. И однажды повторил бы его смертельный номер. И спал бы, сидя на перилах балкона, загорелый и белоснежный. А ветер бы дул себе.

Витя даже и опомниться не успел, как сзади на него бесшумно облокотилась пьяная Лиса. Когда успела напиться, вроде бы и не пила совсем?

— Ты домой и я с тобой! — сказала она.

Лиса взяла Витю под руку, а в общем-то просто повисла на нем. Она была легкая, и Витя сам удивился тому, какой он сильный. Он просто тащил ее, волок по дороге. При этом каждую секунду в нем что-то происходило — переворот сознания: вот он сильный, а она слабая. Она прижимается к нему, как будто

ищет защиты. А то, что Лиса пьяная, он и не хотел понимать, и вообще это не имело никакого значения.

На Лису опять напала разговорчивость, как в автобусе.

— Гендель! Кто это вообще? Ну не вообще, а в принципе? А ты знаешь, я за ним сигареты ловила. Он завалится пьяный спать, закурит сигарету и засыпает. Я ее ловлю, он просыпается, закуривает еще одну и снова засыпает. Так всю ночь. Честно сказала ему: загорись. Будешь бегать, все тело в ожогах, на тебя никто смотреть не захочет. А он мне отвечает: отойди, ты мне телевизор загораживаешь. Чем? У меня же нет ничего, чем загораживают. Я прозрачная, как веточка вишни! Да это я телевизор! Смотреть на меня! Ну допустим, я не телевизор, не магнитофон, а в койке я кто? Витька, я тебя спрашиваю, в койке я кто? — Лиса посмотрела на него прямо, на долю секунды ее глаза стали трезвыми, прозрачными, пока веки дрожали. Может, она в первый раз посмотрела на Витю как на мужчину и тут же как будто опомнилась. — Ой! Я хотела спросить, а вы даме закурить не предложите? Сразу расставим фигуры по позициям. Курю только с фильтром. И вообще, что ты пристал ко мне с этим Генделем? Знать его не хочу. Ты его побьешь? Только честно. А знаешь, Витька, непонятно мне: вот ты почему такой? Ты когда у нас вырастешь? — Лиса засмеялась, Вите очень нравилось, как она смеется. — Я падаю и не встаю. То есть встаю и не падаю — как правильно? Все перепутала! Гуляет девушку, а сам не вырос даже. А что было бы...

— А почему вы Лиса? — спросил Витя.

— Потому что на лису похожа. А была бы похожа на крысу, звали бы Крыса. Ха-ха-ха.

Отсмеявшись, повисев на Вите так, что почти оторвала ему руку, Лиса надолго замолчала. Только пела иногда: «На горизонте одна пальма. Здесь все зовут меня мучачей».

Они так же причудливо, только уже молча, тащились вперед по голой дороге. Со всех сторон огромная равнина, а над ней — горы. Резко, замысловато уходящие вверх и уже там наверху перераставшие в совсем другое вещество. Вот и прыгай.

— Витька, а ты бы взял меня замуж? Или я вообще никому не нужна? Я никому не нужна! — закричала Лиса. — Ура! Я свободна! Вы думали, у меня есть за что хвататься? А вот теперь попробуйте ухватите меня! Я ничто! Я воздух! Я легче, чем воздух!

Они уже подошли к поселку. Лиса еще раз посмотрела на Витю, но уже по-пьяному растекшимися глазами, розовая помада размазалась по лицу.

— Витя, ты хороший мальчик. Можно тебя поцеловать?

Лиса чмокнула Витю в губы и ушла так легко, как будто до этого он все время шел не с ней, с кем-то другим, или она притворялась.

Витя растерянно стоял на дороге. Понятно было только: у него что-то отняли. Тяжесть, легкость, одно из двух, он не мог понять что. Наверное, ее легкость весит больше. Хотя так не бывает.

Дэвид Герберт Лоуренс

(1885—1930)

Баварские горечавки

С английского. Перевод Андрея Пустогарова

* * *

Не каждый сможет похвастаться цветами горечавки
в своём доме в сентябрьский грустный тягучий праздник Святого Михаила.
Баварские горечавки — высокие, тёмные,
тьмой затмившие день, как факел,
дымящийся синим мраком Плутонova царства,
адский ребристый жёсткий стебель с пламенеющим облачком синей тьмы,
сплюснутым в лезвие тяжёлым дыханием бледного дня.

Факел цветка, дымящая синь темноты, тёмно-синее пламя Плутона,
из чёрных светильников подземных чертогов дымящая тёмная синь,
излучённая синяя тьма, заставшая тускло-жёлтый денёк Деметры,
для чего ты поднялся сюда, на свет солнца?

Дайте мне факел! Вручите мне горечавку!
Пусть зазубренный синий факел цветка поведёт меня вниз по ступеням
всё глубже во тьму, туда, где ступается синь вдоль пути Персефоны
прямо сейчас в первые заморозки сентября
в это царство незрячих, где темнота с темнотою свадьбу играет,
а от самой Персефоны один только голос остался,
как невесту, невидимый мрак обняла чёрная тьма рук Плутона,
он снова и снова уносит её и пронзает страстью к окончательной тьме
в блеске факелов, излучающих тьму бездонную свадьбы.

Дайте цветок с длинным стеблем,
с тремя лепестками тёмного пламени,
я отправляюсь гостем на пир,
на свадьбу живой темноты.

Пустогаров Андрей Александрович — поэт, переводчик. Родился в 1961 г. во Львове (Украина). Окончил Московский физико-технический институт. Автор трех сборников стихотворений. В его переводах вышли несколько антологий современной украинской литературы. Переводит с английского, польского и других европейских языков. Живет в Москве.

Человек из Тира

Человек из Тира подходит к морю,
размышляя, поскольку он грек, о том,
что Господь один, Он — единственный Бог,
ну и так далее.

А женщина стирала в заводи среди камней,
там, где ручей выбегает на гальку и уходит в нее,
разложила на голышах вдоль залива сохнуть белье
и, сбросив рубашку на галечный скат,
забрела в бледно-зелёное вечернее море, вышла на отмель,
и ладонями стала лить на себя воду,
а сейчас возвращается, повернувшись спиной к вечернему небу.

Ох, хороша, хороша, с тёмными, собранными вверх волосами
спускается на глубокое и снова выходит на мелкое,
подымая из воды тугие бёдра медленно, как
бредущий вдоль берега аист, а плечи её в блёклом свете
затихшего неба, груди покрыты дымкой и тайной,
мягкое волшебство сумерек спрятано между ними,
а ниже чёрный лист папоротника, словно стрелка,
подает знак мужчине —

а он в зарослях тростника в восторге,
что, без сомненья, послал ему Бог,
захлопал в ладоши и стал бормотать:
— Да, Бог — он один, но на вечерней заре
божественно хороша
из моря выходит ко мне Афродита!

Gloire de Dijon

Утром, когда она просыпается,
как замороженный, слежу за ней.
Она расстилает на полу перед окном махровое полотенце,
солнечные лучи хватают её за яркую белизну плечей,
и густой золотистый полумрак пылает на её боках,
когда она нагибается за губкой,
и груди раскачиваются,
словно распустившиеся розы Gloire de Dijon¹.

¹ Gloire de Dijon — Слава или Блеск Дижона, сорт роз.

После капли воды падают на неё сверху и плечи блестят,
как серебро, а они рассыпаются, будто
намокшие, облетающие розы,
и я слышу, как вода уносит
их сорванные дождём лепестки.
На фоне залитого солнцем окна
лепесток за лепестком
приобретает форму
её золотистая тень
и начинает пылать,
словно густой восторг роз.

Гранат

Говоришь, я не прав?
Да кто ты такая, кто вы все такие, чтоб мне это говорить?
Я прав.

В Сиракузах — из-за порочности гречанок
там остались одни голые камни.
Ты, конечно, забыла гранатовое дерево в цвету —
ох, какие красные цветы,
ох, сколько их!

А Венеция,
мерзкий, зеленоватый, склизкий город,
старик Дож с глазами античной статуи.
Во внутреннем дворе
среди густой листвы
плод граната словно яркий зеленый камень,
а на нём топорщится заостренная корона
с зубцами позеленевшего металла.
Она и вправду зреет!

И здесь, в Тоскане,
ты хочешь согреть эти гранаты
в своих ладонях.
А короны — королевские, роскошные,
сдвинутые набок.

Не пугайся, но там трещина!

Хочешь сказать, что не видишь трещины?
Хочешь глядеть только на целый бок?

А в ней открылись заходящие солнца,
в смертной трещине открылось начало —
нежным сверкнуло и розовым.

Хочешь сказать, что лучше без трещин?
Лучше без блеска туго сомкнутых капель рассвета?
Хочешь сказать — это неправильно, что золотистая кожа,
покров, разодралась?

А я хочу, чтобы сердце мое разодралось,
это красиво — калейдоскоп восхода внутри трещины.

Аспид

Мы встретились с ним у моей каменной колоды для водопоя.
Было очень жарко. В пижаме
я пришёл за водой.

С кувшином в руках я спустился по ступенькам
в глубокую, приторно пахнущую тень
высокого тёмного конфетного дерева,
но вынужден был остановиться, остановиться и подождать,
потому что он пришёл к воде первым.

Он появился из тёмной дыры в земляной насыпи
и, положив коричнево-жёлтое расслабленное брюхо
на край каменной чаши,
опустил голову на её каменное дно.
Вода капала из крана и собиралась на дне
небольшим прозрачным озерцом.
Он отхлёбывал воду прямой прорезью рта,
молча пил, наполняя водой своё прямое,
мягкое, как резина, тело.

Он опередил меня у моей воды
и мне пришлось ждать.

Он приподнял голову, как домашняя скотина на водопое,
и, как скотина на водопое, посмотрел на меня рассеянным взглядом.
Блеснуло на мгновенье его острое раздвоенное жало,
он словно задумался, но потом снова стал пить —
коричнево-землистый, землисто-золотой, пришедший
из пылающих недр земли в жаркий сицилийский июль
под дымящейся Этной.

Во мне заговорило моё воспитание:
его надо убить.
Ведь на Сицилии чёрные змеи безвредны, а золотые — ядовиты.

Голос внутри меня говорил:
если ты мужчина, возьми палку и перешиби ему позвоночник,
прикончи его.

Но, признаюсь, он очень мне нравился,
мне нравилось, что он пришёл к моему водопою, как гость,
и уйдёт спокойным, довольным,
не поблагодарившим, в пыльные недра земли.
Разве трусость то, что я не убил его?
Разве извращённость то, что я хочу с ним поговорить?
Разве унижает меня чувство, что своим приходом он оказал мне честь?

Но голоса продолжали звучать:
если ты не трус, ты должен его убить.
Сказать по правде, я трусил, я почти трусил.
Но всё равно, чувствовал, что он, вышедший
из тёмных потайных дверей земли, оказал мне честь,
приняв мое гостеприимство.

Наконец он напился.
Как пьяный, полусонно приподнял голову,
и, словно зазубренная тьма,
снова блеснуло в воздухе чёрное жало —
будто он облизнул губы.
А после огляделся вокруг незрячим, как у бога, взглядом,
медленно отвёл голову,
и медленно, так медленно, точно трижды погружённый в сновидение,
повлёк всю свою медленную длину, изгибаясь кольцом
и снова забираясь в пролом в земляной ограде.

И вот когда он уже просунул голову в эту жуткую дыру
и стал медленно в неё заползать, по-змеиному шевеля телом,
ужас охватил меня, ужас и протест против того,
что сейчас он исчезнет в этой ужасной чёрной дыре,
ведущей прямо во мрак.

Я огляделся по сторонам и, поставив кувшин у ног,
поднял с земли увесистый обломок дерева,
швырнул его и он с грохотом упал в каменную чашу.

Думаю, что его я не задел.
Но внезапно его остающаяся снаружи часть
задёргалась в недостойной спешке и,
словно зигзаг молнии, ушёл он в чёрную дыру
между земляными губами ограды.
А я среди тихого жаркого полдня,
как зачарованный, смотрел ему вслед.

Я сразу же пожалел о своём поступке.
Какой же он мелкий, низкий, пошлый!
Теперь я презирал и себя,
и проклятый голос своего воспитания.

И опять подумал о причине своих волнений,
захотел, чтоб он вернулся, мой аспид.

Я опять видел в нём царя.
Изгнанного, развенчанного там, в подземном мире.
Но пришла пора вновь возложить венец
на одного из государей жизни.

А я упустил случай.
И теперь должен буду
искупить свою низость.

Кит не плачет

Часто говорят, что море — холодное, но ведь там
самая жаркая кровь, самая норовистая, упорная.

Там, в этой глубокой шири — горячие киты.
Расталкивают воду, подныривают под айсберги,
настоящие киты — спермацетовые молотоголовые убийцы —
это их белое тугое горячее дыхание взлетает из моря.

Плывут, изгибаясь, сквозь вечное сладострастное
время в глубинах семи морей,
пьянея от предвкушения, покачиваясь в солёной толще,
чтоб в тропиках задрожать от любви, когда закружит их
мощное, как у богов, желание. Там, в синей морской глубине,
огромный кит покрывает свою невесту,
словно это гора прижалась к горе
в жарком всплеске жизни: из самой глубины рокошущего
внутреннего океана, океана красной крови, выходит, словно острие Мальстрема,
его сильное, упругое остриё и застывает в покое
в тугом, ласковом, крепком объятии её неохватного тела.

И по прочному мосту его фаллоса,
чтоб не прервалось волшебное племя китов,
туда и обратно расхаживают под водой
огненные архангелы счастья,
от него к ней и от нее к нему,
светлые херувимы, древние иерархи,
поджидавшие китов посреди океана,
развернувшие для них в морских волнах светлые небеса,
светлые небеса китов на водах.

И огромная мать-китиха кормит в дремоте сосунка
и её дремлющий невероятный глаз широко раскрыт
и глядит прямо в воду, в воду начала и конца.

А киты-самцы, почуяв опасность,
окружают китих и детёнышей живым кольцом
посреди этих безбрежных вод, словно
исполинские грозные серафимы,
заслоняя от беды своих любимых чудищ.
И всё это в солёном море, где Бог — это тоже
любовь, но любовь бессловесная,
а Афродита — это китиха,
счастливая, самая счастливая!

А Венера — это дельфиниха: весело резвится,
наслаждаясь любовью и морем,
или самка тунца — круглобокая, радостная в стае тунцов,
наполнена блаженством, тёмная радуга счастья посреди моря.

Покой

Главное в том, чтобы жить вместе с Богом,
быть домашней тварью в его Доме Жизни.

Так кот дремлет на стуле — мирно, спокойно,
сливаясь с домом, с хозяином и хозяйкой,
дремлет рядом с очагом, зевает у огня.

Дремлет у очага живого мира,
зевает у огня жизни,
чувствует присутствие живого бога,
чувствует в сердце глубокий покой
от того, что хозяин сидит за столом
и у хозяина своя важная жизнь
в доме жизни.

Олег Лышега

Паунд и Лоуренс

Фрагменты эссе «Флейта земли и флейта неба»

...Может, ты и слышал людскую флейту,
но не слышал флейту земли; может, ты и
слыхал флейту земли, но не слышал еще флейту неба!

Чжуан-цзы «Сглаживание противоположностей»

Luna latrantem canem non curat¹

Паунд и Лоуренс. Все равно, что сказать: хрен и перец. И тот, и другой — продукты хорошо известные в поэтической кладовке. Я было начал с Паунда, но, едва раскусив несколько строчек, как ошпаренный бросился к Лоуренсу. У Паунда стол богатый, но пресный. Алкоголь в деликатных наперстках. У Лоуренса все чуть пересолено, зато много простого красного вина. Когда смаковал его, было такое ощущение, что наяву выпиваю на двоих с Лоуренсом, хоть для многих он уже *lupus in fabula*², если не больше. И хотя на вкус был он как горчица или тертый хрен со свеклой, или тот же стручковый перец, — за всеми этими жгучими чертами скрывается монументальность. Гадюка, выползающая из огненного сычуга под сицилийской Этной, слегка пошатываются слоны, подвыпившие на ритуальной ночной оргии в Индии... Он, верно, после слишком уж пространных и умных кусков прозы любил вытесать стишок — так же, как в самом сердце Африки увлекшийся мастер вытесывает из свежесрубленного дерева маску. Все знают этот способ, но побаиваются. Побоятся, что набухшая соком древесина растрескается на глазах. А он не боялся. Не боялся, что будут трещины, что вытесанная топором маска получится слишком резкой и грубой. Треснувшая, но живая. Это не игрушка, которой забавляются, вертят так и сяк. Нет, это не кукла. Это живое существо, которое выстояло. Ведь что такое человек? Владелец нескольких десятков косточек (из некоторых может получится неплохая флейта, если провертеть дырочки в нужных местах), доброй порции мяса, крови, пригоршни мозгов. Давным-давно кто-то даже владел женщиной. И целым государством. Но тот, кто овладел знаниями диких зверей — тысячеглазый, тысячекрылый, всемогущий и ласковый. Хоть и

¹ собака лает, луна светит.

² легок на помине (букв. волк в басне).

говорят: *inops potenter dum vult imitari perit* — из ежа быка не выйдет. Или так: не будет уже баба девкой. Не думаю, однако, что это относится к поэтам.

В том числе, к Паунду. Он — поэт воздуха. Все у него дрожит, переливается. Он — воздушный змей. Любит нырять в слепящие ямы высокого осеннего неба. Это словно о нем: *in altum tendens cadit ab alto* — высоко летает, низко сядет. Людская мудрость роскошна и жестока. Зная, что нет границы ни сверху, ни снизу, вынужден был долго и низко падать и, уклонившись от Пизанской башни, влетел в пизанскую тюрьму. Хотя и там оперение и чешуя его переливались, играли... Когда касаешься его слова, нет ощущения, что за ним близкий человек. Нет теплого дыхания. А, может, и, вправду, не было этого человека, а была лишь мечта, чтоб появился такой человек, мученик и дракон одновременно, с большим хвостом? Ведь подыматься в небо на этом ветру — что может быть трагичней и радостней? Там уже ни знакомых запахов, ни красок. Там все отполировано ветром, все чище, звонче, или... выразить это мог разве что молодой Тычина, который тоже владел флейтой неба. Таких не так уж много: известных и неизвестных. Эти счастливицы или умирают еще в младенчестве и сразу туда попадают, или залепляют себе уши воском. Ведь подыматься в небо — это нырять вниз головой в абсолютное время. Небо — все, что было, и все, что нас ждет, другая наша история...

Деревья под снегом
В вершинах ветер и белый шепот
Наплывы из зеркал в лунной ночи
Высокие деревья
Дорога неосторожного

Так написал Воробйов¹, знаток неба. Утреннего и вечернего. И ночного — когда человек сам становится огромным бездонным ночным небом, становится всем... А вот Паунд выбрал ясный день, с закрывающими солнце тучами нескольких европейских войн. Его немилосердно жег этот день. Весь этот «разбитый сноп зеркал» безжалостно его обжигал. Любой бы на его месте обуглился. А он выстоял. Может, ему не дал стореть Конфуций? Я не случайно вспомнил Воробйова. Этот индо-арийский поэт воздуха самым коротким промежутком времени считает цвет. Может, когда-то так называлось какое-то доисторическое насекомое. Но ни в одном словаре не нашел я этого термина. Грустно, если и в третьем тысячелетии никто его не сыщет. Так вот, это единица для измерения самого утонченного вида энергии, которую источает летом свежий лепесток цветка в тени дерева. Как нетрудно догадаться читателю, который, как говорится, *liguam caninam comascdere* — собаку на этом съел — это и есть всем известное человеческое время. А дерево — это народ, или иначе говоря — небесное время. Когда дерево цветет, говорят: «Звездный час». Мы сознательно не упоминаем стихию воды, в которой индо-арийский мастер разбирается не хуже, чем в небе. Небесные часы смыкаются, образуя так называемые эпохи, а те уже способны создать вечность. Это уже от них самих зависит. А есть еще так называемая музыка небес. Но она относится к категории вечности — о ней немного погодя. Пока же рассмотрим так называемое социальное время, тождественное небесному времени, правда, не всегда, но таким оно должно быть. Это, собственно, тоже не наше дело — судить о нем. *Iuna latrantem caenm non curat* — собака лает, а луна светит.

¹ Микола Воробйов (1941) — украинский поэт.

Оды Паунда — это, без сомнения, эпохи. Облака в небе. Такие же летучие, большие, всклокоченные. Можно ли назвать их Высокими Одами или Гимнами? Так это звалось в каноне Конфуция, я же зову их просто одами. Мне кажется, что смерчи Паунда утягивают в небо слишком много человеческого мусора. Приглядевшись, всегда кого-нибудь там да признаешь. Вон то облако напоминает пафосного несравненного дуче, вот он провозгласил пламенную речь и на виноградники по-над Тибром закапал тихий дождь. Вот спешат в небе долговязые трубадуры, от вина и пения обвисли их животы, никак не сыщут Пезаро, слегка перебрали... Вот налетает огромный Сигизмундо Малатеста и вдруг с помпой и страшным грохотом опорожняется над Флоренцией... Все великое переселилось в небо, в его оды. И чем дальше от так называемого нашего времени, тем тоньше, выпуклее. Ренессансные власть имущие, меценаты, банкиры... Ну-ка, приглядимся внимательней — а нет ли там самого господина из господ, Эзры Паунда? Есть! Он там, среди них, такой же заносчивый, со строгим профилем. Он у всех — у Беллини, Пьетро делла Франческа, Фра Анжелико, Дуччо, Джотто... Скалы, как гусиная кожа, готические женщины, Кавальканти... Он везде свой. Тайно перевел наследие самых сильных властителей того времени в свою собственность. Добрую половину Италии. Но вместе с пейзажами, дворцами и кондотьерами унаследовал Паунд их оглушительное падение, величественное поражение. Кроме его книг — его судьба. То, что произошло, горько, но случилось и может быть перенесено, как фреска, на стену конца второго тысячелетия. Он ушел и вернулся. Его зрение — то, что видит задиристый мелкий хищник из семейства ястребов, читает он легко и беззаботно, и так же легко рвет добычу когтями. Порой у него горько-кислая мина раздосадованного подмастерья-маляра или всадника-наемника. Но чем глубже в прошлое, тем мягче становится выражение его лица, пока на том конце света, где находятся древние китайцы, не расцветет он девичьим румянцем, не расстелится травой под ногами или не выглянет из пруда восхищенными глазами карпа, когда высокий Конфуций пригоршнями бросает в воду твердый, как кость, корм. Но не стоит забывать: Паунд — воздушный змей, дракон. Существо, вышитое золотом на одежде императора. Он неожиданный и щедрый, гневный, но всегда справедливый. Великий хаос, который всегда — проявление точного расчета, вся гамма сияния. Но даже у него появляется выражение какой-то усталости... *lassus tamquam caballus in clivo* — устал как собака. Особенно в поздних одах. А как тут не устать? *Luna latrantem canem non curat* — собака лает, луна светит...

Ipsi testudines edite quicepistis¹

У многих мудрых людей на Западе сложилось мнение, что Лоуренс галопирует на буйно цветущих лугах Персефоны. Может, и так. Правда, что любит поваляться, порезвиться в сочной траве. Да кто ж не любит? Кто из нас не хотел бы хоть на мгновение опьянеть от острого земляного духа, этого самого крепкого алкоголя? Хоть он и пугает — слишком близок к смерти. Паунд его боялся. Прятался в камни, хотел стать своим в поздней готике, где не остыл еще след руки резчика, скрывался во фресках дученто, треченто и кваттроченто,

¹ Сами поймали черепах, сами их ешьте (лат.).

хотел ухаживать за розарием, который обдувается Средиземным морем. Это то, что дальше всего от Здесь, от которого пронзительно тянет земляным духом. Лоуренс смастерил эдакую книжечку «Цветы, птицы и звери» — и в ней есть все: нетерпение, неловкость, затаенность... Все так, но у него есть Здесь — то, что ближе всего тебе и мне, прикосновение к смерти-рождению. Этой хмельной брагой пропитано все — смоквы, райские яблоки, кипарисы, рыба, гадюка, осел, бурый волк... А сильнее всего — черепаха. Ее железные когти бурей вздымают земляной дух. Это вам не байки о хитромудрой черепашке. Нет, она и ты — она в боа из чернобурки выходит, матерясь, с тобой под руку из какой-то дыры на Подоле или в Лондоне, уводит от неоновых огней, крепко сжав твою руку, сворачивает в темный, сужающийся переулочек. «Куда ты меня ведешь?», — обеспокоенно спрашиваешь ты. — «Тут темно и сыро, глядишь, бросится с ножом какой-нибудь скифский эмигрант. Я хочу назад в Европу». Но разве здесь, в Европе, ты чувствуешь себя по-настоящему Здесь?

Не стоит в этой жизни соблазняться скоростью. Ведь скорость — еще не движение. Движение — все, а скорость может оказаться лишь хитростью, не более. Сможет ли Ахилл догнать черепаху? Еще философ Зенон сообразил, что нет, одной скорости мало. А чуть позже, в эпоху Великого Застоя, один старый несчастный человек в трактате «Приручение стекла» хотел доказать, что известный поэт Среднего и Великого Застоя Воробйов все-таки смог догнать черепаху, измеряя расстояния при помощи колорита цветка, и, таким образом, пролетая над пространством, точно шмель. Автору трактата «Приручение стекла» даже показалось, что шмель этот обгоняет самого себя. Подобное достижение могло бы произвести мировую сенсацию, вызвать шок — но то же пространство сумело схоронить этот трактат где-то в хрустальных конюшнях юности. Одним словом, *ad ammissim*, чистая работа. Автору трактата осталось лишь добавить, что как-то летом, примерно в конце Великого и в начале Большого Застоя, он собственноручно держал поэта-победителя за ногу в русле Черторый¹, когда тот нырнул за раком на отчаянную глубину. Течение сносило ловкое тело поэта в пространство, но автор трактата крепко держал его за ногу, привязав себя к столетней иве, и ему казалось, что он держит в руках рвущуюся в бездну времени жилистую ногу лотоса. А поэт, зажав в зубах кожаную сумку, уже был готов голыми руками схватить на дне рака. Представляете себе, что такое рак? Это же черепаха в кубе. Схватил ли его поэт? Автор трактата уже не помнит. Не помнит, вынырнул ли тогда и сам ловец. Давно это было.

Chervjacus galapagossi

А тем временем в Тихом океане, у Галапагосских островов, где водится самая большая черепаха, вдруг обнаружили впадину глубиной в два с половиной километра, где ледяной холод и не должно быть никакой жизни. Но оказалось, что впадина просто кишит всевозможной живностью.

Океанологи снова и снова вытаскивают из впадины свой невод, а в нем трепещут желтые медузы, извиваются красногривые черви, бьется огромная рыба. И это оттуда, куда не доходит ни один лучик. Но дно треснуло и из трещины пузырится лава. Вот там они и живут, позабытые солнцем, но не

¹ Черторый — одно из русел Днепра у Киева.

Землей. Это она согрела их своим утробным теплом. А ученые снова суют на глубину бесконечно длинную эластичную трубку, похожую на свисающую лиану, один конец которой в слепящем небе, а другой, нижний ложится на дно у трещины. А в ней — двухметровый червяк. И у него нет ни головы, ни хвоста, ни глаз, ни ушей. А если бы была голова, она посмотрела бы на людей, как на плавающую по поверхности мелочь. Но зачем ему голова, если он сам и есть одна сплошная вселенская голова? Он даже не заговорил с этими учеными, словно их там и не было.

Ist aec in me cudetur faba¹

Что же всех их объединяет? Они еще помнят о затонувшем золоте. Где же оно лежит? И тут взгляды Воробйова и Паунда парадоксальным образом пересекаются: Византия. Волоском на длинном хвосте, которым кончается его IX ода, выводит Паунд в воздухе: Сан-Витале. Это Равенна V—VII веков, мозаики византийского храма Сан-Витале, одной из жемчужин Адриатики. Это мозаики Святой Софии в Киеве. И Великое раскрытие глаз началось, наверное, именно с глаз Оранты². Великолепие, монументальность — самый надежный подмалевок для изысканно-внутреннего. На глубине — торжественность, белые одеяния, золото, лазурь, пурпур, а поверх этого фона — буйная игра, резкие порывы, детские рисунки на песке, мерцание и манерность — все, что отрицает важность и статичность, то есть дополняет их. Все великое — от огромного избытка, от буйства. Бездонность детского смеха, неисчерпаемость чаши с вином.

По сути своей они гурманы, эстеты. И одновременно — стихия. Одним словом, воздушный змей, дракон — голова погружена в архаику, а хвост болтается под самым нашим носом. С точки зрения Византии, Лоуренс — варвар. Но где он, тот Царьград, на который нам стоило бы оглядываться? Лоуренс вдохнул своими недужными европейскими легкими весь этрусский мир — и с ним сошел в землю. Этруски научили его навигации в водах смерти, которая только передышка перед новым рассветом. Это перевернутая Византия, ее антипод, зеркало из земли. Лоуренс учит вглядываться в земляное зеркало глазами черепахи. Всем телом налегая на зеркало, черепаха чувствует пульс Земли. Но кто она сама, что мы знаем о черепахе? «Шу Цзин» говорит: «Трещины на спине черепахи создают дождь, или небо после дождя, или стену гнетущего тумана, или зловеще клубящиеся тучи».

Вы хотели познакомиться с мадам Черепахой? Придется немного подождать — господина Лоуренса нет дома. Он придет, и вас познакомит. А уж она представит вас этрускам...

* * *

Лишь прикоснулся к земляному зеркалу, как почувствовал — все, дело сделано. Мне пора удалиться. *Res est in vado*. Рыба в сетке.

¹ — этот боб будут на мне толочь (лат.).

² букв. молящаяся (лат.) фигура Богоматери с поднятыми руками. Изображена на мозаике храма Святой Софии в Киеве.

Дмитрий Калмыков

Лот

Рассказ

— Ох, ребятки, хоть у вас прохладно, — Михаил Аркадьевич сидел на обтянутой клеенкой скамейке и обмахивал вспотевшее лицо синей папкой. Пот все еще стекал по лысине, формой и цветом напоминавшей распластанный от темечка до лба коровий язык, но становилось легче, кафель приятно холодил затылок.

— Недавно чиллер отремонтировали. А то уж больно засмердело, — ровно, как двигатель самолета, пробасил Глеб.

Михаил Аркадьевич не смотрел на собеседника, лень было размежить слипшиеся веки. Да, он и так знал, что Глеб по обыкновению тупо смотрит перед собой и ответы выдает почти автоматически.

Нужно было договариваться о непростом деле, но Михаил Аркадьевич не чувствовал в себе сил. Живот мирно висел между широко расставленных ляжек, подобно гигантской свинцовой капле. Ноги гудели от длительной прогулки по раскаленному асфальту.

— Я ведь к вам не просто так зашел, — начал Михаил Аркадьевич. — Нужен лот.

— Правила вы знаете. Без напарника я никакие дела не обсуждаю.

На этот раз Михаил Аркадьевич все-таки приоткрыл глаза и сразу зажмурился снова, наткнувшись на короткий и неприятный, как тычок под ребра, взгляд. Бычий лоб и белесые глаза делали внешность Глеба зловещей. Михаил Аркадьевич только порадовался, что Глеб не имеет привычки смотреть в лицо собеседнику. Мельком брошенный взгляд лишь подтверждал ненамерение Глеба вести деловую беседу.

— Похвально. Такая верность товариществу. А где он сам-то?

— В мертвецкой. Колдует.

— Что?

— Да, там один после аварии. Все в кашу. А родственники уперлись, не хотят в закрытом гробу хоронить.

Дмитрий Калмыков — родился в 1986 году в Элисте, там же окончил среднюю школу. С 2004 по 2010 год учился на заочном отделении Литературного института, за время учебы сменил с десяток мест работы, приобрел несколько профессий. Публиковал прозу в журналах «Юность», «Империя духа», альманахах «Тверской бульвар, 25», «Белкин», «Согласование времен, 2011», «Новый берег», «Знамя». В настоящее время живет в городе Звенигород, работает могильщиком на кладбище домашних животных. В «ДН» печатается впервые.

— Так чего они здесь-то?... Обратились бы в агентство, там все-таки профессионалы.

— Яша — мастер.

— Долго продлится-то? Дело серьезное, кроме шуток...

— Успокойтесь, Михаил Аркадьевич. Схожу, узнаю.

Михаил Аркадьевич услышал как по кафелю скрипнули металлические ножки стула и слегка встрепенулся от неприятного звука. Он открыл глаза, Глеб молча стоял перед ним и смотрел куда-то за плечо Михаила Аркадьевича. Кряжистая фигура санитара, казалось, наполнила собой все помещение. Михаилу Аркадьевичу стало не по себе. Это было странно, но Глеб походил на лакмусовую бумажку, стоило ему где-то появиться и пространство окрашивалось в определенный цвет, как правило, довольно мрачный.

— Так я здесь посижу, подожду, — залепетал Михаил Аркадьевич.

— Чаю выпейте, — пробасил Глеб. Тон голоса не подразумевал возможность отказа, но Михаил Аркадьевич попробовал увильнуть.

— Да ну. Жара такая! И вас обременять...

— Жажду утоляет. Чайник горячий еще, — Глеб вышел, а Михаил Аркадьевич послушно поплелся к столу, на ходу размышляя, откуда у Глеба такая сила убеждения и знает ли он сам о ней. «Конечно, знает, — решил Михаил Аркадьевич. — И пользуется, подлец!»

Михаил Аркадьевич кинул в алюминиевую кружку жменю заварки, залил кипятком. Пока распускались и шли ко дну листья чая, он открыл белую фанерную тумбочку в поисках сахара. Это была слабость Михаила Аркадьевича, даже в зеленый чай он добавлял две-три ложки, что вызывало почти презрение со стороны некоторых его коллег. Однако почти сорок лет журналистской практики отучили Михаила Аркадьевича от эстетизма и приучили к потаканию собственным капризам. Два кусочка коричневого сахара одиноко лежали на полке тумбочки, убранные в пластиковый пакет с зип-локом.

«Глеб и Яша, конечно, мерзавцы, но хотя бы гигиену соблюдают» — думал Михаил Аркадьевич, помешивая чаек. — «Хотя почему бы не завести сахарницу?»

Пар от горячего чая обжигал Михаилу Аркадьевичу ноздри, всякий раз когда он подносил кружку ко рту, а сам напиток вовсе не утолял жажду. Михаил Аркадьевич млел и таял. «Очередное издевательство. Как я их только терплю? Мне собраться нужно, сосредоточиться, а я расслаблен, как купчиха у самовара. Наверняка, Глеб так и рассчитывал. Удивительно! Люди с трупами работают, а так в психологии разбираются!» — мысли Михаила Аркадьевича отяжелели и неуклюже ворочались в голове, на лице и лысине снова выступил пот, да еще больше чем прежде. Михаил Аркадьевич отчетливо видел крупную, прозрачную каплю, ползущую, как футуристический японский танк, по носу. Она замерла на кончике, набухла и оторвалась. Михаил Аркадьевич сморгнул, но пот попал под веки, глаза резало, вдобавок взор застелила влажная пелена, лампочка под потолком теперь была окружена радужным сиянием, как в душевой бассейна. Что-то происходило, но Михаил Аркадьевич никак не мог понять — что. «Перегрелся, наверное, жара-то какая!» Но в помещении было прохладно. «Все этот чай!» — Михаил Аркадьевич оттолкнул от себя кружку и с удивлением обнаружил, что она почти пуста. — «Сколько же я здесь сижу?» Он посмотрел на часы, стрелки не двигались, но время шло — это точно, а санитары не шли. «Как-то все странно» — Михаилу Аркадьевичу стало не по себе. — «О чем я думаю? И почему все так замерло? Все как будто бетоном залито!» Нужно было

встать, пройтись, разогнать странное наваждение. Он уже подался всем туловищем вперед, но дверь открылась и в комнату вплыли Глеб и Яша. Как две белые тени они распластались по стене, скользнули от косяка к центру стены, набухли, как мыльные пузыри и — бульк! Оказались прямо перед очумевшим Михаилом Аркадьевичем.

— А, баба Миша! — скрипучий голос Яши стряхнул с Михаила Аркадьевича пелену морока. Он сразу осознал, где он и с кем. Издевательское «баба Миша» всегда ранило самолюбие Михаила Аркадьевича, в его фигуре и манере действительно было что-то женское, и Яша с безжалостной точностью школьного хулигана приметил это и не забывал.

— То-то я думаю, Глеба прибежал — вурдалак у нас, вурдалак. Теперь вижу о ком, — Яша криво улыбался и справа от носа образовывалась длинная вертикальная складка.

— Здравствуй, Яков, — сказал Михаил Аркадьевич и в тысячный раз оглядел нескладную угловатую фигуру, узкие плечи, впалые серые щеки, троцкистскую бородку, оскаленные неровные зубы. Яша был почти омерзителен Михаилу Аркадьевичу, но больше всего, и при этом тайно, его бесили продолговатые очки на Яшином носу. Как будто Яша специально надевал их, чтобы придать себе интеллигентности, замаскировать низменность и подлость своей натуры.

Яша сделал шаг к Михаилу Аркадьевичу, навис над ним и изогнулся дугой. Михаилу Аркадьевичу показалось, что согнутая шея подпирает потолок.

— Ну, зачем людей от работы дергаешь? — улыбка не сходила с Яшиного лица. — У меня, вишь, клиент. На джипе под фуру влетел...

— Я рассказывал, — пробасил Глеб.

— Понял. Тогда ты, баба Миша, расскажи, с чем пожаловал?

Михаил Аркадьевич отер ладонью пот с лица, открыл рот, но ничего не сказал. Перед ним никого не было. То есть стояли и Яша, и Глеб, но их как будто не было, просто две фигуры, нарисованные на холсте, как очаг в каморке папы Карло. Михаил Аркадьевич заморгал и покачнулся на стуле. Яша цепко ухватил его за локоть.

— Что это с ним? — резко скрипнуло в воздухе.

— Не знаю. Нормальный был.

— Алло!

Холодная сухая ладонь несильно шлепнула Михаила Аркадьевича по лицу. Яша пристально смотрел ему в глаза. Вдруг веки его сузились, верхняя губа подтянулась к носу.

— Ах ты, сука! — ногой хлестануло слух Михаила Аркадьевича.

Яша подорвался к тумбочке, распахнул дверцу.

— Сахар где?

— Что?

Глеб сделал шаг к столу, заглянул в кружку Михаила Аркадьевича.

— Чай с сахаром пили?

— Да, там два кусочка было, — Михаил Аркадьевич весь сжался, ему почудилось, что сейчас его начнут бить. — Если это последний, я в магазин схожу. Не нужно так нервничать.

— Ой, дурень! — Яша журавлиными шагами прошел к скамейке и сел на нее.

— Как у вас самочувствие, Михаил Аркадьевич? — басил Глеб.

— Ничего. Странно как-то, — только сейчас он обратил внимание, что и

«вы» и «Михаил Аркадьевич» звучит в устах Глеба даже более издевательски, чем Яшино «баба Миша». Почему он раньше этого не замечал? — Да, что происходит-то?

— Скоро узнаем, — Яша вытянул ноги и привалился спиной к стенке, словно ожидая занимательное представление.

— Вы, Михаил Аркадьевич, по кислоте, значит, прикалываетесь? — Глеб все не отходил, так что Михаилу Аркадьевичу приходилось смотреть в его живот.

— О чем ты? Ничего я не прикалываюсь...

— А зачем Яшино ЛСД скушали?

— Как?

— Вот так, Михаил Аркадьевич.

— Готовься, баба Миша, поплавать в мелководье своего подсознания.

— Почему мелководье? — Михаилу Аркадьевичу стало вновь обидно, даже его подсознание не вызывало уважения у этих мерзавцев.

— А откуда глубине взяться? — не унимался Яша. — Но ты не переживай, и в лужах люди тонут.

Видимо, это заявление должно было успокоить Михаила Аркадьевича, но ничего подобного.

— Я до дома-то дойти смогу? — нужно было отбросить обиды и как-то выбираться. Михаилу Аркадьевичу даже почудилась лестница, спущенная за ним в это подземелье, но теперь он понимал, что верить глазам нельзя.

— А живете вы где? — Глеб успел налить себе в чашку кипятку и спокойно попивал его, стоя в сторонке.

Михаил Аркадьевич открыл было рот, но решил не сообщать своего адреса.

— Ладно, такси вызову, — пробормотал он.

— Такси, такси, вези-вези, — фальшиво пропел Яша.

— Я завтра зайду, прямо с утра, — Михаил Аркадьевич огляделся в поисках своей папки.

— Не, не прокатит, — Яша, казалось, пришел в бодрое расположение духа, глядя на растерянного Михаила Аркадьевича.

— Почему?

— Мы на сутках. Завтра другая смена, послезавтра тоже, — Глеб не знал насколько безжалостными показались эти слова Михаилу Аркадьевичу.

— Через три, короче, заходи.

— Невозможно. Послезавтра материал должен выйти...

— Что за материал, баба Миша?

— Я и зашел поговорить, — Михаил Аркадьевич изо всех сил пытался собрать мысли, интуитивно он уже осознал, что решать вопрос придется здесь и сейчас, но теперь неясно было с чего начать. «Прорвемся» — мысленно ободрял себя он. — «И не в таких условиях работать приходилось». Хотя, конечно, ничего подобного в его жизни раньше никогда не случалось.

— Ага, зашел. Где это тебя научили по чужим тумбочкам лазить? — в голосе Яши снова зазвучали злобные нотки. — Даже в общежитии у нас такого нет.

Сколь бы ни был рассеян Михаил Аркадьевич, но понимал, что с такого разговора нужно съезжать как можно быстрее, иначе все дело сорвется.

— Я, кстати, давно тебя спросить хотел, — как ни в чем не бывало начал Михаил Аркадьевич. — Ты ведь хорошо зарабатываешь, учитывая эти... леваки, что ты в общежитии-то жмешься? Снять-то легко мог бы что-нибудь, да даже купить.

— Эх, баба Миша, четвертая мировая не за горами, сейчас собственностью обростать нельзя.

— Четвертая? Ладно, пускай, но деньги-то в первую очередь фантиками станут. Или ты золотые слитки скупаешь?

— Не твое дело, — резко ответил Яша.

Михаил Аркадьевич понял, что попал в точку, и порадовался, что разум еще при нем.

— Давайте, о деле уже, — вовремя вставил Глеб.

— Да, конечно...

— Только прежде чем ты варезку раскроешь, учти что на этот раз из нее должна литься правда, чистая как лазурь, — Яшино раздражение было не так легко рассеять.

— А в чем, собственно, дело?

— Собственно, в том, что ты в прошлый раз наплел.

Глеб злобно хмыкнул, видимо, поняв, к чему клонит Яша.

— А что в прошлый раз?

— Ты говорил, подпольный бордель снимаем. Мы тебе такую покойницу нашли, подшаманили ее, приодели.

— Скорее прираздели, — подхватил Глеб.

— Ага. А ты к ней в фотошопе какого-то жирдяя пририсовал и статейку тиснул, как там, Глеба?

— Подпольный разврат прокурора.

— Ну, что ж, такой заказ поступил, пришлось...

— Не-не-не, я второй раз сидеть не собираюсь, — Яша даже встал со скамейки. — Ты знаешь, как я тебя люблю, баба Миша, но под статью за эту любовь идти мне не охота. Так что все как есть выкладывай, иначе в следующий раз войдешь сюда только в виде тела.

Михаил Аркадьевич набрал в легкие побольше воздуха, потер ладонями ляжки. Извернуться и грамотно соврать он сейчас не мог, хотя и не особо верил в Яшины угрозы, все-таки деньги он платил очень хорошие.

— Нужен лот, — начал Михаил Аркадьевич. — Мужчина, за пятьдесят, без родных и близких, потому что лицо будет крупным планом, чтоб никто не узнал и не предъявил, по возможности, без очевидных следов пагубных привычек...

— То есть бомж с лицом профессора? — скептический настрой Глеба несколько сбил Михаила Аркадьевича с толку.

— Ну почему обязательно бомж?

— Нет, ты давай-ка в самую суть, — прервал Яша. — Зачем?

— Ребят, а оно вам надо? — сделал попытку Михаил Аркадьевич. — Меньше знаешь...

— Вот хрен тебе! Рассказывай, что мутишь.

— Ладно, — спорить не было смысла, да и стены вдруг окрасились в теплый бордовый цвет, очень располагавший к душевной беседе. — Короче говоря, нужен самовыводженец. Выборы на носу.

— И на кой он сдался?

— Ну как? Показать, что люди хотят перемен, готовы взять управление, есть гражданская активность...

— Ага. На гражданскую активность у нас способны только трупы, — Глеб явно повеселел.

— Слышь, баба Миш, может в тебе мой сахарок говорит? Ты что, мертвеца в депутаты выдвинуть решил?

— Нет, конечно! — стены дрогнули и начали терять доверительный оттенок, нужно было скорее его вернуть. — Имени его в бюллетенях не будет. Просто статья в газете, что, мол, есть такой самовыдвиженец, от такого-то района. А потом еще статья, что внезапно выбыл из гонки, но это уже детали, вам они не важны.

— От нас что конкретно требуется?

— Как обычно. Тело. Фотосессия. Надо, чтобы за трибуной стоял, речь толкал.

— Да ну, заканчивай! — Яша махнул рукой. — Во-первых, из морга тело выносить не будем. Во-вторых, у меня, конечно, покойнички как живые в гробах лежат, но тут... У него ж глаза открыты должны быть, мимика меняться. Не реально. Лучше живого найди, актера какого-нибудь...

— С выносом никаких проблем, — возразил Михаил Аркадьевич, несмотря на видимое упорство, он уловил в интонациях Яши колебание и любопытство. — Трибуну, зал, слушателей — это все мой редактор сделает, главное чтоб фото на белом фоне было. Думаю, это не сложно. Ну а вторая часть полностью на тебе, Яков. Ты же художник в своем роде, вот и твори. Нужно-то всего — одна фотография с выступления и один крупный план, лицо, чтоб под ним биографию дать. Главное сейчас определиться, подходящий лот есть?

Яша с Глебом переглянулись. На лицах санитаров заиграла одинаковая улыбка. Михаилу Аркадьевичу почудилось, что Глеб и Яша на самом деле один человек, который разделился на две части, чтобы снять внутренние противоречия и обрести вечно недостающую индивидууму гармонию. Мысль до того понравилась Михаилу Аркадьевичу, что он решил было думать ее и дальше, но его прервал веселый скрип Яшиного голоса.

— Как думаешь, Глеба, запустим Иваныча в большую политику?

Глеб только коротко хохотнул.

— Поднимайся, баба Миша, идем кандидатуру осматривать.

Михаил Аркадьевич с неожиданной легкостью поднялся со стула. Ему показалось, что он даже немножко пролетел над полом, едва касаясь его носочками ботинок. Подлетев к двери, Михаил Аркадьевич обернулся и с удивлением обнаружил, что санитары смотрят на него сверху вниз, а Яша к тому же мерзко хихикает.

— Вы, Михаил Аркадьевич, до самой мертвецкой на пузе ползти собираетесь?

Сначала он не понял слов Глеба, но потом вдруг осознал, что вовсе не парит по комнате, а постыдно корячится на кафельном полу. Покряхтев, попыхтев, Михаил Аркадьевич поднялся, ни Глеб, ни Яша не шелохнулись, чтоб помочь ему. Тут перед Михаилом Аркадьевичем возникла новая проблема: нужно было выйти в коридор. Дверь была прямо перед глазами, но чуть правее шов между кафельными плитками сильно раздвинулся, открыв черный проем. Шагнуть в него было страшновато, но так можно было срезать пару метров.

— Хорошо тупить, шагай, — Яша слегка подтолкнул Михаила Аркадьевича к двери и проем моментально захлопнулся.

Шаги санитаров гулко отдавались в сжатом пространстве коридора. Неожиданно Михаил Аркадьевич заметил, что к ритму шагов вдруг подключились духовые инструменты, за ними вступили струнные, а главную тему заиграл орган. Михаил Аркадьевич не узнавал симфонии, но она странным образом гармонировала с ритмом его сердцебиения, что придавало музыке окончательную завершенность. Он слышал нечто идеальное, настолько соответствовавшее

его вкусу, настроению и даже чему-то невысказанному, что становилось все сложнее сдерживать восторг. Михаил Аркадьевич с ужасом осознал, что еще секунда и он захохочет. К счастью, симфония оборвалась, когда Глеб открыл дверь мертвецкой. Михаил Аркадьевич шагнул через порог, оставив санитаров за спиной. Абсолютная, мертвая тишина поглотила его, ватой заткнула уши. Посреди мертвецкой стояла белая ширма, за ней на просвет угадывались очертания стола и тела на нем. Над столом нависала большая операционная лампа. Михаил Аркадьевич медленно подходил к ширме, слыша, как скрипят его ботинки. Он подошел вплотную и отодвинул ширму, но за ней оказалась еще одна ширма, Михаил Аркадьевич отодвинул и ее, за ней висела тонкая, почти прозрачная занавеска, стоило протянуть руку и она отъехала в сторону, открыв доступ к совсем тонкой пелене, которая растворилась от первого же прикосновения. Михаил Аркадьевич встал сбоку от стола и некоторое время разглядывал накрытое белой простыней тело. На лбу снова выступила испарина, хотя в мертвецкой было прохладно. Двумя пальцами он ухватил краешек простыни и потянул на себя. Ему открылось простонародное землистое лицо, с немного обиженной гримасой и седой щетиной. Небольшой низкий лоб, мясистый нос, квадратные скулы, упрямо сжатые губы — все настолько соответствовало ожиданиям Михаила Аркадьевича, что первое время он не мог оторвать взгляда от покойника. Спустя пару минут, он облизнул пересохшие губы и тихо спросил:

— Кто такой?

— Иван Иванович, — ответил Яша.

— В смысле? Неопознанный?

— Нет. На самом деле так зовут.

— Он с документами поступил?

— Типа того. Говорю же, баба Миш, кандидатура прямо для тебя. Ни родных, ни близких, при этом честный человек. Жил себе одиноко, а потом взял и помер.

— Откуда знаете? — Михаил Аркадьевич все не отрывал взгляда от покойного.

— Он у нас лежал в неврологии. Успели познакомиться, — Глеб как будто не договаривал чего-то, но Михаилу Аркадьевичу не хотелось разгадывать тайные замыслы санитаров.

— Ага, — продолжал Яша. — Ползал тут, ползал, мы с Глебой его вообще за рептилию считали, а он подлечился, выписался, а через пару недель как мужик помер.

— В каком смысле? — Михаил Аркадьевич впервые взглянул на санитаров и удивился, насколько незначительными и мелкими они были в сравнении с трупом на столе.

Глеб подошел и откинул простыню до самого паха. Чуть ниже груди покойного отчетливо виднелись три черных отверстия в форме неправильных треугольников в обрамлении клякс зеленки.

— Зарезали его в подворотне.

— Кому же он нужен? — удивился Михаил Аркадьевич.

— Никому. Небось, нарколога какой-нибудь заporол, из-за мелочи в карманах, — Яша тоже подошел к столу.

— Да вы что?! — Михаил Аркадьевич почувствовал как рушится его идеал. — Это ж криминальный труп. Наверняка дело открыто.

— Ага, открыто. Уже и следы приходил.

— Так что ж вы меня морочите?

— А ему заключение пока никто не выписывал, — со значением сказал Глеб.

— Да какое ж тут заключение? Три ножевых! — одурачить Михаила Аркадьевича было не так просто, даже в таком состоянии.

— Эх, невнимательный ты, баба Миша. Вот сюда глянь, — Яша ткнул пальцем в кляксу зеленки.

— И что?

— А то, что его к нам доставили живого. Даже откачали вроде, в интенсивную перевели, а под утро у него внутреннее кровотечение открылось, ну и...

— Как мужик помер, — в голосе Глеба звучали редкие нотки уважения.

— Что с того-то? — Михаил Аркадьевич продолжал недоумевать.

— Не врубается, — грустно пробасил Глеб.

— С того то, что это ты здесь на моей кислоте кайфуешь, а следак сейчас за голову хватается, как ему глухаря на отдел не повесить.

Михаил Аркадьевич смутился от напоминания о нечаянной краже, к тому же никакого удовольствия он не испытывал, даже наоборот.

— Продолжай, — только и сказал он.

— Мы, за отдельную плату, нарисуем заключение, что умер Иван Иваныч от сердечной недостаточности, мол, постоперационный шок или сердечная недостаточность, вызванная анестезией, не важно. Тогда у следака на руках будет не убийство, а тяжкие телесные. Въехал теперь?

Михаил Аркадьевич кивнул:

— А поскольку заявления от потерпевшего нет, то и дела никакого нет.

— Гляжу, ум-то к вам вернулся, Михаил Аркадьевич, — Глеб довольно улыбался.

— Теперь, баба Миша, давай за бабки потрещим.

Михаил Аркадьевич протянул Яше синюю папку:

— Там два конверта. Как обычно, плюс за сложность и ответственность. Еще треть будет за заключение.

Яша взял папку и они с Глебом отошли в сторону. Раньше Михаил Аркадьевич никогда бы не позволил санитарам открывать папку, но сейчас ему стало страшно до безразличия ко всему. Ловкость, с которой они распылили в воздухе убийство, неожиданно потрясла Михаила Аркадьевича. Он повернулся к труп и снова посмотрел в его лицо. Прежнего восторга уже не было. Зато страх разрастался все сильнее, он давил и одновременно очищался, переставал быть страхом по поводу, и грозил перерасти во вселенский ужас. Михаил Аркадьевич ухватился за край стола, чтобы не повалиться на пол. Он физически ощущал давление и это был уже не страх, а некая сила, которая лишь сейчас приняла форму страха и норовила прорвать сознание Михаила Аркадьевича. «Нет. Не только сейчас» — судорожно соображал Михаил Аркадьевич. — «Не сейчас она приняла форму страха. А всегда принимала!» Михаил Аркадьевич понял, что все, чего он когда-либо боялся, было этой силой, которая сметала и деформировала его личность, вела на коротком поводке и заводила в мрачные тупики на короткие передышки, чтобы снова давить и плющить, заставлять пресмыкаться и вошкаться с санитарями и трупами. Но зачем? Для чего? Михаил Аркадьевич снова посмотрел на лежащее перед ним тело. Иван Иваныч был спокоен, бесстрашен и безупречен. А вот для чего! Михаил Аркадьевич понял, что самый великий из страхов одновременно и самый ничтожный. А главное, сила давит не его одного, но и весь мир, и тем самым выдавливает в нем те тропы, по которым

должен идти Михаил Аркадьевич. Идти гордо и спокойно, не гнушаясь и не отворачиваясь ни от чего, что приносит жизнь, только тогда он получит право вот так же умиротворенно и безразлично лежать на каком-нибудь столе. Осознание это вдруг наполнило Михаила Аркадьевича беззаветным и всепоглощающим счастьем. Слезы сначала робко выступили на его глазах, а потом полились неудержимо и бурно. Михаил Аркадьевич повалился на тело Ивана Иваныча и, как безутешная вдова, орошал седую грудь горячими горячими слезами в благодарность за подаренное счастье и понимание. Маленькая холодная мертвецкая стала для Михаила Аркадьевича дверью к самому себе.

Яша сунул в карман халата конверт.

— Бакшиш хороший. Ты считать не будешь?

— Сейчас, доснимаю, — Глеб держал перед лицом мобильный телефон, камера которого чутко ловила конвульсивные всхлипывания Михаила Аркадьевича. — Потом музыку какую-нибудь готическую наложим и на ютуб.

— Нормуль получится. Ладно, давай бабу Мишу уволокем, прокапаем и готовить все надо.

Спустя два дня в крематории при больничном морге состоялась скромная церемония. Иван Иваныч лежал на конвейере в простецком гробу, почти ящике, на груди его покоилась сложенная вчетверо газета. Рядом стояли Глеб и Яша, для придания церемонии чувственного оттенка прихватили с собой санитарку Любу. Она хорошо справлялась со своей задачей, всхлипывала и утирала покрасневший кончик носа платком.

— Чего ревешь-то? — Яша был в своем обычном насмешливом настроении. — Иваныч, можно сказать, только после смерти и пожил. И в политику влез, и связь с криминалом, все успел.

— С каким еще криминалом? — чуть заикаясь от слез, спросила Люба.

— Ты статью не читала, что ли?

Люба только помотала головой.

— Короче, опять киданул нас баба Миша. Ни про какую гражданскую активность там нет. А только, что криминалитет в политику через самовывдвижение лезет. Вот, мол, был кандидат, а за неделю до выборов множественные ножевые в ходе бандитской разборки.

— Да, не таков человек, чтоб правду сказать, — Глеб казался строгим и солидным.

— Ничего, в следующий раз его на бабки прижмем.

— Все равно жалко, — всхлипнула Люба.

— Жалко только, что сам своих приключений не видит.

— Да, удивительно, какой громадный мир открывается человеку, стоит шагнуть за порог жизни.

— Ё мажай! Глеба, да ты философ! — Яша знал, что Глеб всегда старается напустить пафосу в присутствии Любы, но долго терпеть этого не мог. — Ладно, заканчиваем.

Яша нажал кнопку, открылась заслонка печи и Иван Иваныч отправился в свое последнее путешествие.

Александр Ревич

Стихи и переводы



Проводы

Арсению Тарковскому

На чёрном полустанке
в задымленном году,
лежащие подранки,
мы слышали беду
там на платформе чёрной,
где в паровозный вой
влился гобой с валторной
и барабан с трубой.
В вагоне санитарном
сквозь дрему и угар
над запахом камфарным
взлетела медь фанфар,
и словно по тревоге
привсталась вся братва:
безрукий и безногий,
а кто — живой едва.
За окнами вагона
над пёстрою толпой
мешался вздох тромбона
с взывающей трубой
и женских плеч молчанье
в объятиях мужчин,
и детских глаз мерцанье,
и слёзы вдоль морщин.
Кого-то провожали
и кто-то голосил,
куда-то уезжали
и барабан басил,
и вышла из-под спуда
всеобщая беда,
ведь были мы — оттуда,
а эти шли — туда.

* * *

От первого крика до вечного сна
зима белоснежна, весна зелена,
а летом то ливни, то синий зенит,
а осенью жёлтая заметь летит.
Отпели метели и вновь соловьи
от первой любви до последней любви.
Единственный мир, удивительный, мой,
качается летом, кружится зимой,
ничто не вернётся — зови не зови,
растаят снега, улетят соловьи,
и снова ненастье, и снова мороз,
и снова сверкание капель и гроз,
и травы восходят, как Спас на крови,
от первой любви до последней любви.

27 января по старому стилю

Всё мне чудится призрак дуэли...
Пуля в грудь. Под ребро. Наповал.
Я такое уже испытал.
Две отметки остались на теле.
Невзначай ударяет металл:
словно палкою промеж лопаток,
а потом — то ли жив, то ли нет,
то есть полный расчёт иль задаток
на всю жизнь до скончания лет.

Пули, раны — всё это пустое
по сравнению с болью обид,
где тебе ни дуэли, ни боя,
где не насмерть — и всё же убит,
долгой мукою взят за живое,
сердцем принял не пулю — сверло.

Белый снег на поляне — как просто,
красный снег под тобой — как тепло!
От ранения и до погоста
все пути, все следы замело,
чистотой замело, белизною:
ни любви, ни разлуки, ни слёз.
Юность, боль моя, что ж ты со мною
до седых не простишься волос?

Песенка

Аркадию Штейнбергу

Не думать никогда о чистогане,
Не дожидаться спелых виноградин.
Не плачь, мой друг, ведь мы с тобой цыгане,
Есть конь у нас, и тот чужой — украден.

От самого младенчества до гроба
Скитается душа в жару и в холод.
Что толку плакать, мы бродяги оба,
Есть молодость, и та — покуда молод.

Смыкаются над нами воды Леты,
Холодные, как глубина колодца.
Что толку плакать, мы с тобой поэты,
Есть песенка, и та — пока поётся.

«ДН», 1984, № 12

* * *

Мои слова, они найдут тебя,
придут к тебе куда-нибудь, когда-то,
в июльский зной иль в стужу октября,
в рассветной мгле или в огне заката.
Они придут когда-нибудь потом,
и, пусть их очертанья время стёрло,
они войдут в твой незнакомый дом
сердцебиеньем, перехватом горла.
На большее им не даны права,
и сам я прав особых не взыскую.
Но ведь не я приду — мои слова,
а мне не удержать их ни в какую.
Не отвергай их, не гони их прочь,
не отводи растерянного взгляда.
Незванные, но, как их ни порочь,
они слова — им ничего не надо.
Они придут внезапно, не спросясь,
из памятных садов, с давнишних улиц,
восстановив утраченную связь
времен, где мы нескладно разминулись.

* * *

Когда вперёд рванули танки,
кроша пространство, как стекло,
а в орудийной перебранке
под снегом землю затрясло,
когда в бреду или, вернее,
перегорев душой дотла,
на белом чёрных строк чернее
пехота встала и пошла,
нешадно матерясь и воя,
под взрыв, под пулю, под картечь,
кто думал, что над полем боя
незримый ангел вскинул меч?
Но всякий раз — не наяву ли? —
сквозь сон который год подряд
снега белеют, свищут пули,
а в небе ангелы летят.

«ДН» 1998, № 7

* * *

В дни горечи, в дни озверенья
шла оттепель, капало с крыш,
под осень варили варенье
и пели на свадьбах «Камыш»,

и пели, и пили, и ели,
ложились попарно в постель,
глотали рассолы с похмелья
и кутали горло в метель.

Что было? Всё было, как надо:
в дни праздников, в блеске побед
салютов цвела канонада,
оркестры гремели в ответ.

Давнишняя горечь веселья,
холодный полуночный страх,
барачная цвель новоселья,
могилы в далёких снегах,

и нет ни креста, ни таблицы
ни там, ни над глиной траншей,
лишь время безжалостно длится,
лишь ветер коснётся ушей.

Что было? Что было, то сплыло,
но слышалось пенье скворца,
травой порастала могила,
и славили птицы Творца.

«ДН», 1999, № 7

* * *

Когда нет жалости, какие там стихи!
Устал я, милые, от всяческих ухваток,
от силы напоказ, от прочей шелухи,
от бега взапуски, — и так покой наш краток.
Так много на земле сосны и ковыля,
лишь выйди в этот мир, переступи порожек.
Мне жаль мою жену и Лира-короля,
друзей и Гамлета, щенков и многоножек.
Считаем силою, когда не дрогнет бровь,
считаем слабостью печаль без всякой позы,
но что же делать нам, когда болит любовь?
Величье — кесарю, Шекспиру — смех сквозь слезы.

«ДН», 2001, № 1

Чаша

Мог бы совсем не родиться,
мог бы... Но слава Творцу!
Вспомнишь забытые лица —
слёзы текут по лицу.
Снежное утро рожденья —
твой незапамятный мир,
тот, где чадили поленья
в печках озябших квартир.
Страху в глаза и отваге
острой крупую мело,
бились кровавые флаги
с белой пургою в стекло.
Снова пространство в сугробах,
вьюга и выстрелы в лоб,
и на холмах крутолобых
ноги вмерзают в окоп.
Всё это было когда-то
и остается вовек:
чёрные строки штрафбата
в белый впечатаны снег.
Жизнь завершается наша
зимней атакой во сне.
Выпита полная чаша,
самая малость на дне.

«ДН», 2001, № 11

* * *

Кто знает, в каком ещё томе
затеряна правда войны.
Что книги, когда о бездомье
не строки, а дни прочтены?
Ни крыши, ни стен у лошадины,
не греют овчина и хмель,
несладкий удел для мужчины
нырять в снеговую постель,
а женщины — кто пожалел их,
девчонок армейских и вдов,
от водки и слёз ошалелых,
себя отдающих без слов?
Ребячью щеку и ладони,
минутное это тепло,
порою в ночном эшелоне
почувствуешь — и отлегло.
И пусть не бывали вы строги,
вы все в моём списке потерь,
при встрече упал бы вам в ноги,
да где вас отыщешь теперь?

«ДН», 2004, № 5

Давнее

Все мы бредили Блоком в далекие дни,
танцевали бостон и фокстрот,
рвались из дому прочь, рвались прочь от родни,
стали взводами маршевых рот.

И в ночном блиндаже, лишь умолкнет обстрел,
всякий раз без особых препон
снова голос какой-то из прошлого пел,
уцелевший хрипел патефон.

Снова визг и разрыв, и удар наповал,
в лоб волна и осколок в груди,
но ещё патефон под завалом взывал
и хрипел: «Если любишь, приди!»

«ДН», 2004, № 11

* * *

Марии Ревич

Я шлю тебе весть из больницы
под Пасху на светлый четверг.
Сияющий взгляд ангелицы
мои опасенья отверг,
и мой — устремился сквозь шторы
навстречу дневному лучу,
и кто-то сказал мне, что скоро
свиданье с тобой получу.

* * *

Какая чушь стихи, когда в них нет печали,
Как немощны слова, когда они — слова.
Уж лучше бы они смиренно помолчали,
Как робкая душа пред ликом Покрова.

«ДН» 2010, № 10

* * *

Однажды я услышал голос.
Едва раздался первый звук,
внезапно время раскололось
и мир осыпался вокруг,
ничто не ширится, не длится,
исчез простор, исчез предел,
ни петь, ни плакать, ни молиться,
лишь слушал я и холодел.
За что мне выпало такое,
ведь не был свят я никогда?
Быть может, чтоб не знал покоя
и жил, сгорая от стыда.

* * *

В потопах, с раскалённой суши
исчезнут травы и леса,
и твари, но бессмертны души,
и улетаем в небеса.

Мы улетаем, улетаем,
как прежде над огнём и рвом,
неисчислимым нашим стаям
парить в пространстве мировом.

* * *

М. Р.

В день последней ласки летней,
в час последнего тепла
дуновенья незаметней
осень душу обняла,

и опять в минуты эти
улыбается, как ты,
всё прекрасное на свете —
дети, женщины, цветы.

«ДН», 2011, № 5

Снова перед светом

матушке Наталии Пономарёвой

Перед каждым новым светом, перед
каждым продолженьем бытия
всякая душа по-детски верит —
жизнь ещё не кончена моя.
Это детский лепет? Или это
женщина, а может, Серафим
тишину осеннего рассвета
окликают именем моим?
В стёклах дождь и улица ночная,
угасают огоньки в окне.
Кто-то, перед светом вспоминая,
всё же помолился обо мне.

*19 октября 2012 г.
«ДН», 2012, № 12*

С эстонского. Перевод Александра Ревича

Владимир Бээкман

* * *

Дни в суматохе, мчимся всё скорее,
подобен белке в колесе наш век.
И только для речей на юбилее
Мы иногда свой прерываем бег.

И вновь рывок, и служит оправданьем
эпоха, темп — попробуй излови! —
Долой раздумья, мешкать зря не станем,
стремительный разбег у нас в крови.

Лавины знаний рушатся, и тонем
в потоке новостей, и нам невмочь,
свинец газет, как кровь, прилил к ладоням,
и судороги сводят что ни ночь.

Вдруг прямо в сердце ударяет что-то,
И в небе всплеск, и грустный льётся свет.
Там лебеди мечты, там шум полёта,
Мелькнули крылья, и уже их нет...

Матс Траат

Зелёный май

С утра неторопливы разговоры.
Как парус викинга, красна мечта.
Цветами в ночь оделся дуб матёрый,
И радость стелется, как ткань холста.

И гладит дождь поляны и угоры,
Цветами обагрённые места.
Вознёсся в стародавние просторы
Замшелый камень шведского креста.

Здесь всё священо: этот ветер свежий,
Несущий рокот моря с побережий,
На грани лета таянье прохлад.

Нам тёмный лес метафорами светит.
Не знает полдень, чем нас вечер встретит:
Марс — на ученьях, стёкла дребезжат.

«ДН», 1984, № 12

Евгений Ермолин

Ад где-то рядом



Виталий Сёмин. Нагрудный знак «OST»: Роман. — «ДН», 1976, 4, 5.

Книга Виталия Сёмина великолепна, что сказать! Пусть даже ее сегодня никто не читает. Хотя читать ее — странное, но несомненное наслаждение. Если учесть, что чуть ли не основной предмет книги — страдание, это наслаждение трудно объяснить чем-то, кроме магии настоящего искусства.

Страдание — незарастающая рана мучительно пристальной памяти, которая не отпускала автора, насколько я могу понять, до самой смерти, предрешив рельеф судьбы и характера. «За тридцать лет, прошедшие после войны, я много раз пытался рассказать о своих главнейших жизненных переживаниях. Но только обжигался. А что можно рассказать криком! Слух послевоенного человека уже не настроен на крик. Живая память сопротивляется насилию, может, больше, чем живой человек. Кровеносными сосудами она связана с твоей жизнью. Нельзя изменить память, не рассекая сосуды. Но чем дальше прошлое, тем короче в нем время, тем легче в этом коротком времени самые страшные несчастья. Старчески уступчивой делается память, сталкиваясь с новыми интересами. А живое, сегодняшнее нетерпение готово многим пренебречь. Однако чем правдивее воспоминания, тем больше в них дела», — вот так, сбивчиво и исповедально писал об этом Сёмин ближе к финалу своего лирического повествования.

Трудно что-то сказать об этой странной книге, одной из лучших в русской литературе второй половины XX века, не цитируя целыми периодами.

Тюремно-лагерная проза — не редкость в те времена, когда триумфы свободы или хотя б «оттепельные» поблажки создали возможность высказывания для тех, кто выжил. Эпоха трудовых лагерей и людских гекатомб оставила по себе заметный литературный след. Ищи и найдешь общее в хрониках Сёмина — и прозе Варлама Шаламова, Юрия Домбровского, Евгении Гинзбург, Александра Солженицына, Льва Разгона, Евгения Фёдорова, Тамары Петкевич, Екатерины Матвеевой, Исаака Фильштинского, Януша Бардаха, Анатолия Марченко, Владимира Буковского... Но общее как раз не самое интересное. Интереснее специфика.

Книга Сёмина — книга европейская. Ее место действия — прирейнские городки в окрестностях Дюссельдорфа. Сердце Европы.

Европейский дискурс. Русский в Германии. Но: парадоксальным образом время и статус рассказчика почти упраздняют эту географию.

Время — первая половина 1940-х, историческая кульминация ментального безумия немецкой нации, добровольно отдавшей себя фиктивной, античеловечной идее. «Это была страна, в которой дураки взяли верх над умными, жестокие и жадные над добрыми. Это не сейчас, а тогда я так думал и чувствовал».

«Насылая смерть за пределы своей страны, они, возможно, искренне считали себя сверхлюдьми, членами воинского братства, крингскамарадами (сколько еще существует таких ритуальных слов-заклинаний!)».

Рассказчик чужд этому миру, в котором он пленник, используемый в качестве раба.

Двоякого рода отчуждение, создающее мир кричащих контрастов и конфликтов. Собственно, тут автор ближе к Константину Воробьеву, Имре Кертесу, Хорхе Семпруну, Виктору Франклу, Эли Визелю, Кристине Живульской, Людо Ван Экхауту, Балису Сруоге...

Сёмин не поддается соблазну лечь на легко доступную волну экспрессионизма, эмоционального переживания ужасов и мраков в гротескно-субъективных формах. Он удивительно трезв и внятен. Дистанция задана уже тем, что рассказчик у Сёмина — не Виталий, а Сергей, не буквально сам автор. Его книга — это роман воспитания, опосредованный зрелым взглядом когда-тошнего подростка на себя самого, спустя тридцать лет. В 1942 году пятнадцатилетний автор был угнан в Германию, где три года работал на заводах в городах Фельберте и Лангенберге, а потом почти всю оставшуюся жизнь он готовился сказать о приобретенном опыте. И вот — опредмеченное, рефлексивно препарированное страдание юного сердца, не по матрице молодого Вертера или там молодого Тонию Крегера. Парадоксально рационализированная исповедь, чуждая захлебу и риторике; ретроностальгическая повесть о невыносимой жизни, которая дала такую плотность и такую пронзительность опыта, по сравнению с которыми бледнеет и тает многое остальное в повоенном стаже существования.

Кстати, в 70-х — 80-х годах была мысль, что время вымысла в литературе кончается — и начинается *сверхлитература* прямого и честного авторского свидетельства. Какой-то толк в этой гипотезе был, в момент засилья в литературе подцензурного сервилизма. Книга Сёмина казалась убедительным аргументом в ее пользу. Прозаик и критик Арнольд Каштанов в открытом письме Сёмину апеллировал тогда ко Льву Толстому, который «где-то сказал, что со временем писатели перестанут выдумывать, а будут описывать то, что было».

Каштанов точно сказал об «аналитической наблюдательности» Сёмина; потом про это писал и чуткий критик Игорь Дедков, автор, кажется, лучших статей о прозаике.

Впрочем, рискну сказать, что понят тогда Сёмин был слабо. Слишком он был свободен и оригинален, чуть ли не гениален, а время стучало идеологической колотушкой в проржавевший железный занавес — и не располагало в подцензурной литкритике ни к поощрению и осмыслению таковых особенностей, ни к отслеживанию мировых контекстов семинской прозы.

Сёмин — категорический эмпирик. Начиная с обстоятельств, с ситуации бытия. Мучительный опыт трудового лагеря. Барак. Литейный цех на военном заводе... Но не быт как таковой интересует писателя (хотя и быт схвачен и выражен с лапидарной четкостью).

Сёмина выносит на экзистенциальный уровень смыслов. Его предмет —

человек в ситуации. Самопостижение рассказчика опосредовано самопостижением автора, который к тому же пытается (с противоречивым, но очень ярким результатом) проникнуть в опыт тех, с кем сталкивает героя жизнь.

Сергей, брошенный в арбайтслагерь со школьной скамьи, советский подросток, являет собой ходячую странность. У человека, входящего в жизнь, оказались искусственно разорваны многие связи с прошлым. Он — росток, который дважды вырван из почвы культурной традиции: сначала как дитя эпохи, покончившей с исторической Россией, а потом как лишенный даже советского идеологического костыля русский раб на чужбине.

У него минимум внешнего опыта. «Я родился через десять лет после революции. В нашем большом доме "Новый быт", который тоже был построен лет через десять после революции, жили люди, в основном, молодые. С настоящей старухой я познакомился, когда мне было восемь лет. Мои деды и бабки умерли еще до революции. Так что и старость и сама смерть были вынесены для меня в далекое дореволюционное прошлое. И вообще все, что происходило до революции, я не просто относил лет на тридцать назад. Между мной и тем, что было когда-то, легла непроходимая пропасть. И люди, оставшиеся за этой пропастью, были не просто другими людьми — они были антиподами».

Дезориентация его феноменальна. В душе его руины смыслов. Он невероятно уязвим, страшно не уверен в себе, но тянется к смыслам, приходящим извне, нащупывает их с упорством маньяка. Это, по сути, страстное желание очеловечиться у подростка, который оказался на дне бытия, по ту сторону надежды, на фоне опустошения, озверения как мейнстрима среды и эпохи.

Жажда идеала, выжившая в аду и строящая опыт.

Человек у Сёмина — альфа и омега, в вычищенном от Бога мире, где не довлеет уму и сердцу и идеология. В каком-то вот таком качестве, прежде очень редком в литературе и жизни: без духовных/идейных опоры и предпосылок, без метафизических априори. Это экстремального свойства столкновение с жизнью, беспощадная инициация.

И это уже не чисто подростковая тема XX века в целом, не устаревшая и в новом столетии, при всех инфляционных настроениях в литературе и в жизни, обесценивающих бескомпромиссную волю к подлинности бытия.

Конечно, книга написана очень взрослым человеком. Юношеский опыт опосредован зрелым, и граница не весьма уловима. Зрелый Сёмин — светский гуманист, человек широкого и сочувственного взгляда на мир и людей. Но он не абсолютизирует свою новую позицию, пытается реанимировать опыт подростка. Без обобщений.

Голый, ничем не опосредованный опыт, состоящий из реакций на синхронные вызовы. Этот Сергей в этих обстоятельствах.

Мальчик открыт хаосу. Лишен культурных опосредований и религиозного опыта, которые позволяют выживать и устраиваться — ну, скажем парижанину Громову, из эмигрантской семьи. Громов защищен от ужаса жизни сплавом культурных привычек и религиозной веры. А рассказчик не понимает, что это за щит такой: «Он все видел своими глазами, и это потрясало меня больше всего. Значит, и так может быть: все видеть и не возмутиться, не принять в сердце»...

Религиозное оправдание страдания для Сергея — нонсенс. «...однажды Александр Васильевич ... сказал: "Это тебя наказал бог!" На фабрику я пришел с кровоподтеками. В ночную тревогу полицейские выгоняли из барakov, я спрятался, а была специальная проверка, и меня нашли».

Что вообще можно сказать о таком человеке без онтологии, без бытийного фундамента? Можно описать его как жертву обстоятельств. Сентиментальничать. Но Сёмину метафизика жертвы и этика жалости не близки. Он ищет победы над ситуацией.

Сергей мучается без оправдания, ненавидит без оправдания, он незащищен открыт страданию и любому другому опыту. Но он не согласен. Он не согласен быть просто номером. Быть просто тем, у кого нагрудный знак «OST». Ему бы хотя бы себя нащупать и сохранить. Отстоять.

Он помнит свое имя, хотя не очень им дорожит. В детстве его звали Ласточка-Звездочка (прозвищем названа повесть Сёмина 1963 года о ранних годах Сергея Рязанова). Но про это он забыл.

Живут и с кличкой. И живут тоже упорством безумия, с пусть даже абсурдной стойкостью обреченных. Как Соколик, аскет членовредительства как способа назначить себе форму: «Прозвище Соколик получил за свой хищный нос и за то, что однажды, побрившись, сказал, глядя в зеркальце: "Ну, как я, соколик, ничего?" У него был один из первых лагерных номеров, но на фабрике он почти не работал. Он кранковал. Способ заболеть у него был один и тот же — шприцем запускал керосин в мышцы руки или ноги. Мучился Соколик страшно. В лагере были известны способы членовредительства менее болезненного, но то ли Соколик считал, что так вернее, то ли из профессиональной своей лагерной гордости на меньшее пойти не мог, чтобы и тут было видно, какой он опасный лагерный человек. Был он брезглив, чистолюден и очень мал ростом. Во всем, что он делал — как переносил боль, как нянчил на перевязи забинтованную руку, как перебинтовывал ее, подкладывал вместо ваты резинку, чтобы рана гноилась и не заживала, как, морщась, брал в зубы бинт (никогда не звал на помощь, только в конце подзывал кого-нибудь: "Завяжи"), как смеялся и ходил, — чувствовалось, что со всем он здесь свыкся».

Вспоминаешь немецкого католика Романо Гвардини с его рассуждением о том, что от сложного человека модерна в XX веке не осталось ничего, кроме лица (Person). «Это слово имеет почти стоический характер. Оно указывает не на развитие, а на определение, ограничение, не на нечто богатое и необычайное, а на нечто скромное и простое, что, тем не менее, может быть сохранено и развито в каждом человеческом индивиду. На ту единственность и неповторимость, которая происходит не от особого предрасположения и благоприятных обстоятельств, но от того, что этот человек призван Богом; утверждать такую единственность и отстаивать ее — не прихоть и не привилегия, а верность кардинальному человеческому долгу... Каждый, будучи однажды поставлен Богом в самом себе, не может быть ни замещен, ни подменен, ни вытеснен».

Эпоха умела заманивать. Природу научим — свободу получим. Arbeit macht frei. И все такое. Но в данном, сёминском, случае такой перспективы нет. Рабство — навсегда. Только ближе к концу повествования в лицо героя начинает веять ветер избавления. Но его ожидание умеряется «знанием» Сергея о том, что его расстреляют накануне общего краха системы.

Однако ж критик Леонид Дубшан не без оснований напоминал: «Домбровский — многолетний гулаговский. Сёмин подростком — тусклый ад нацистского арбайтслагеря. Отсюда общее для них обостренное переживание воли как главной ценности»... Даже вычеркивая сложность из задач, мы не перестаем сопротивляться. Даже в отсутствие надежды мы боремся так, как будто бы она есть. Это вопль свободы, растущей из немотивированной бездны человеческого и космического бытия.

Этим жив герой. Этим живы те люди, к которым он тянется в своей лагерной одиссее. И из этих пароксизмов тюремно-лагерной свободы на треть состоит объем семинского повествования.

В то же время в свободе отказано — немцам, которыми овладели и которых поработили идеологические мании. Это болезнь высокомерия и ненависти, болезнь к смерти. «Кладбищенской мне казалась темная черепица на высоких крышах. Кладбищенской — серо-зеленая военная и коричневая партийная форма. Мальчишки из гитлерюгенда в своих гетрах, портупях и красных повязках, которые собирались над огромными ямами братских могил, тоже казались мне приписанными к смерти, к кладбищу».

Элементарный рефлекс свободы — месть. Мечта о ней покоряет по временам сознание героя, мотивирует и многих других персонажей. Критик Игорь Золотусский некогда подробно рассуждал о том, как месть побеждается в душе семинского героя навеянной христианским первородством способностью прощать. В тексте Сёмина это выглядит не так однозначно. Но можно согласиться: не месть формирует вертикаль личности, которую пытается строить Сергей из обломков и шлаков эпохи.

Помимо свободы, есть два рефлекса, которые присваивает себе герой. То, без чего он не может жить.

Один — познание, опознание реальности. Я познаю, следовательно — существую. Герой — человек познающий. Пристальный наблюдатель. Откровенный свидетель. «Это всегда честный и прямой взгляд» (И. Дедков), стремление к пониманию; «конкретно-жизненное отношение» конкретного человека к конкретному предмету или явлению (Р. Гвардини). Сергей физически слабее тростника, но его сила в том, что, как он говорит, «я видел. Это не должно было погибнуть. Мое знание было в десятки, в сотни раз важнее меня самого... Я должен был как можно скорее рассказать, передать мое знание всем».

И еще: «Мир, о котором я думал, был невероятным, страшным, неожиданным. Ужасное держалось жестокостью. И в мыслях моих было много жестокого. И в мерках, с которыми я подходил к другим и к себе. И самолюбивого было много. "Я думаю!" — вот как я ощущал себя. О себе думал: расту, вырабатываю принципы, меняюсь. Выработаю — положу предел изменениям». «Сам я был как раз в той поре, когда всякое невыясненное противоречие казалось мне мучительным, требующим немедленного разрешения и устранения. За эти годы я повидал людей, которые с ненавистью и подозрением относились к словам, организуя вокруг своих поступков бессловесную темноту. Это были плохие люди... К поступкам, которые не могли отразиться в слове, как в зеркале, я относился с опасением. В общем, был в той поре, когда хотелось все называть, всему найти главные слова. Все беды, считал я, оттого, что кто-то не приложил настоящих усилий, чтобы договориться».

Враги не только повод к ненависти или мести, но и предмет для осмысления, изо всех сил стремящегося быть объективным. «Полиции были просто пожилыми псами. Их резоны не поднимались выше ближайших забот. Где природная злобность, где злобная распушенность, где бдительность и рабочая добропорядочность, разобрать было нельзя».

Их «бодрое чувство своей вознесенности». Щекотка власти. Недобрый ум. «Заряженность ненавистью и жестокостью», одобренных государством.

«Откуда же эта энергия слепой ненависти, не выбирающей в нашей толпе ни старших, ни младших? Ведь нельзя же просто так, с утра, как чашкой кофе, заряжаться ненавистью. Это ведь не будничное чувство. А между тем энергией

своей, последовательной организованностью и каким-то всеобщим будничным распространением эта обращенная на нас жестокость и поражает. И еще странно — есть в этой жестокости парадность, форменность, официальность и частная инициатива».

Один сёминский сюжет, в цитатах:

«Не могу подавить надежду, что кто-то из немцев хоть в этот перерыв поделится хлебом. Это даже не надежда, а голодный спазм, с которым не совладать. Не дали ни разу. И сейчас, через много лет после войны, я испытываю страх и стыд: ведь все мы люди. Я долго не решался об этом написать. Раньше мне другое казалось страшней. Но постепенно самым удивительным мне стало казаться то, что никому из многих сотен молодых и пожилых, веселых и злобных в голову не пришло дать мне хлеба. У меня ведь особый счет. Они взрослые, а я мальчишка. Я сам был разочарован в себе. Мое лишенное белков, солей, витаминов, истерзанное усталостью тело не давало мне секундной передышки. Страдание переутомлением, голодом, страхом, лагерным отчаянием было так велико, что тело становилось сильнее меня. Только бы есть, лечь, прижаться к теплу. Они тоже жили на карточки. Сверхнапряжение государственной злобы, оплетавшее их, я чувствовал сильнее, чем они. Было нелогично дать мне хлеба. Но должна же была у кого-то из них в один из рабочих перерывов появиться такая нелогичная мысль!

...Буду до конца честен. На другую сторону коромысла положу конфету. Она немало весит, если я ее до сих пор помню. Мы увидели ее на заборчике, которым был огражден железнодорожный переезд. Когда нас гнали разгружать вагоны, конфеты не было. Кто-то положил ее перед нашим возвращением. Малиновый цвет обертки был виден издали. Наши шарящие голодные глаза сразу выделили его. Конвоир посмеивался, не возражал, но мы не решались подойти: вдруг это шутка, розыгрыш. Конфета явно была дорогой, конвоир был заинтересован и даже прикрикнул на ближайшего: "Возьми!" Нас было пятеро, но и мне достался кусочек. Я понял только одно — из моего тела совершенно исчезла вкусовая память на довоенные конфеты. Я ощутил вкусовой шок, вкусовую трагедию. Но дело не в этом. Конфета, конечно, могла оказаться на заборчике случайно. Но мне почему-то до сих пор светит яркая малиновая фольга. Доброта в этом государстве и должна была прятаться, бояться быть узнанной. Однако не слишком ли хорошо она пряталась?»

Полицейские, надзиратели, тюремщики, мастера, рабочие, — каждый описан и отдельно, в привычках и манерах. Тонко прослежена и смена состояний от времен военных удач к дням надвигающегося поражения... Но еще подробнее познавательный процесс, обращенный на союзников. Здесь есть дополнительная мотивация. Герой ищет родную душу и опытного наставника. Он учится сочувствию и томится без опыта любви.

Парадоксальной кульминацией любовной темы в книге оказывается побеждающий идеологические тренды эпохи франко-немецкий альянс на фабричке, где вперемешку трудились и пленные узники, и немцы: «...самым поразительным из того, что я видел на "Фолькен-Борне", была не дружба даже, а страстная привязанность двух немцев ребят, Вальтера и Гюнтера, к Жану... Да и догадывался я: Жану и Вальтеру выпало то, что выпадает двоим на сто тысяч, даже на миллион. Это понимали и немцы. Поэтому, должно быть, все следили с сочувствием и завистью. И никто не мешал»... Из глубины зрелых лет писатель смотрит на это взаимное чувство именно как на уникальное событие, ставшее антитезой розни мира сего.

Еще важнее для героя опыт доброты, полученный в болезни, в тифозном бараке. «В этот день я попытался подняться с койки. Я уже сидел, спускал ноги на пол, а тут поднялся, взглянул с высоты своего роста вниз, как с горы. Голова закружилась, и я упал на руки Софье Алексеевне. ...Только теперь я по-настоящему понял, в какой зависимости я все это время был. Понял значение младенчески растерянных улыбок у тех, кто делал первые шаги. Что-то открывалось человеку. Не "сестра", а "сестричка" начинали говорить в этот момент. Уходили боль и мука болезни, оставалась слабость. Она была так велика, так меняла представление о мире, о расстоянии от койки до койки, о доступном и невозможном, что ошеломленный человек, лежащий на чистом, укрытый чистым, вдруг все разом вспоминал. Ему открывалось, что только безграничная добровольная доброта удержала его на таком краю, где, казалось, самой доброте и самоотверженности не на что опереться. После болезни он возвращался в ужасный мир, но, просыпаясь, видел перед собой лица Софьи Алексеевны, Марии Черной, других сестер и растерянно, расслабленно шурился на дневной свет. Научившись ходить, человек становился больше сам по себе, но уже не мог забыть того, что ему открылось, когда он после болезни поднимался на подгибающиеся ноги.

Это был, конечно, самый важный урок из тех, которые преподнесла мне жизнь в лагере. И я не "потом", не через много лет, а тогда же это понял (хотя, конечно, теперь я лучше понимаю, каким чудом был этот наш тифозный лагерь)».

Герой томится от одиночества. Сергей мечтает найти собеседника, друга, наставника, старшего. А дружба не получается. Даже с блистательным Ванюшей, дерзко-отважным и снисходительно-великодушным, — им герой просто заморожен. Но Ванюше не нужна дружба. «Сам я сгорал от желания исповедаться, принять чужую исповедь. Хотел быть принятым, войти в дружеские души, полностью разделить их ненависть и любовь».

Как бы ни менялись обстоятельства, тайное одиночество остается той данностью, из которой, судя по всему, рождалась и проза Сёмина. Можно сказать, что, в общем-то, одиночество было судьбой самого автора, при том, что он не был, кажется, обделен спутниками и собеседниками. «Он поразительно одинок» (А. Макаров).

Это данность, обращающая к еще одному опыту, от которого уходит герой и который не акцентирует сам автор «Нагрудного знака», хотя события, связанные с ним, в контексте эпохи повсеместны и заурядны. К опыту смерти. Пожалуй, такого рода знание Сёмин выносил за скобки, и вернулся к нему только как некий античный философ, накануне ухода. Из Коктебеля, где это и случилось, он писал другу: «Наклон, по которому летит наше время, становится все круче. Раньше, чтобы оно пролетело, требовались какие-то опосредования, — теперь оно просто летит, ухает и никаких опосредований не нужно... Словно рядом со мной та самая загадочная черная дыра, которая, как утверждают физики-астрономы, втягивает в себя все сущее». А согласно легенде (не знаю, достоверной ли), осталась на последнем, заправленном в пишущую машинку листе последняя фраза: «Начинаем любовью к жизни, а кончаем любовью к смерти»...

Он ушел 10 мая 1978 года. Через девятнадцать дней не стало Домбровского. Я был молод, глуп и даже не заметил этих смертей. А что-то кончилось в русской литературе навсегда. Полгода назад в Ростове мой тамошний экскурсовод, Леонид Санкин, показал мне дом, где жил Сёмин. Улица бежит от него под горку.

Алексей Малащенко

Взлетные огни аэродромов...

Это, как вы догадались, из «Надежды» в исполнении Анны Герман. Песня осталась, а тех заманчивых огоньков больше нет и не будет. А ведь были времена, когда даже в самых крупных аэропортах подолгу стояли под звездным небом у трапа самолета, чем-то похожего на живое существо. Еще его очеловечивало приглушенное бормотание двигателей. Вы и самолет приравнивались друг к другу, знакомились, вам предстояло проделать вместе неблизкий путь.

Нынешним летом показывают по телевизору «Я шагаю по Москве», и в самом начале — аэропорт, может, «Шереметьево», может, «Внуково». Герой сходит с самолета и куда-то идет. А из стеклянных дверей появляется девушка в белом платье, пританцовывает, говорит, что кого-то ждет и ей хорошо. Тем временем камера показывает самолеты — сплошные Ту-104. Они стоят в ряд, как истребители. В 1963-м они были символом советского процветания. Их вид поднимал настроение. Памятник этому самолету в 2006 г. поставили на повороте с Киевского шоссе к «Внукову». Скромный, но пронзительный монумент. Самолет подняли на постамент, и стало видно, какой же он маленький. Два десятка окошек, внутри узкий проход, багажные сетки над креслами — и все. Мне, когда я первый раз вошел в этот лайнер в шестьдесят шестом году, он казался гигантским. В 1956-м Лондон был ошеломлен Ту-104, на котором ради посрамления империалистов прилетел в столицу Британии глава СССР Никита Сергеевич Хрущев. Америку Хрущев пытался поразить колоссальным по тем временам Ту-114. Я этот самолет видел только издали, а что там у него внутри, не знаю.

Ил-18-х в фильмах почти не показывали. Хотя они-то тогда и были главными лошадьми «Аэрофлота». Обаятельный, чуть курносый нос, четыре винта, которые вызывали уважение и доверие! Когда выпадала удача сидеть возле иллюминатора с видом на эти винты, я с замиранием сердца наблюдал, как они медленно, невзначай начинают шевелиться, а потом вдруг внезапно раскручиваются, и уже не видно лопастей, а слышится лишь гул. Разве можно сравнить эстетику винта с соплом реактивной, пустой внутри турбины?

На мой возраст пришлось и начало, и конец самых знаменитых советских пассажирских лайнеров. Я лыбился при куплете на мотив похоронного марша «Ту сто четыре самый лучший самолет...» Страшно было узнавать о падении или пожаре именно на Ил-18-м. В 1972 г. в каирском аэропорту я видел, как

несчастный «илюха» садился на двух движках. Тяжкое впечатление производили обгоревшие трупы «Илов» в «Домодедово», в «Шереметьево». «Илы» вымирали долго и мучительно. Уже существовал запрет на их использование, но умельцы продолжали латать на них дыры, и самолеты не только поднимались в воздух, но даже садились.

В году, кажется, 2003-м, когда мы приземлялись в Анкаре, я увидел выкрашенный в сине-белое живой, действующий Ил-18 и, честное слово, улыбнулся этому самолету, как приятелю.

Давно ушли с работы стройные, но пожирившие керосин Ил-62, страна почти избавилась от тесных и душных Ту-154 и Ту-134. Кончаются Ан-24. Порхают только Як-42. Изобрести ему устойчивую замену не получается, завозить импортные — себе дороже. Вот они, спотыкаясь и падая, и продолжают работать на износ. Летим на «Яке» из Иркутска в Братск, заходит в салон командир экипажа: «Ну что, самоубийцы, все собрались?» С этой шуткой-поговоркой и взлетели.

Конечно, тот, кто летает старыми самолетами, да вообще самолетами, не самоубийца. Рискованно ездить даже в лифтах, а уж про машины и говорить нечего. Однако «самолетный страх» существует. Можно его разделить на: а) страх безотчетный, как в темной, пустой квартире; б) боязнь высоты; в) боязнь катастрофы. Я в аварии не попадал, но «внештатные ситуации» случались. В 1976 г. под Веной у Ил-62 не выпускалось шасси, и мы долго колесили по небу, не догадываясь о причине кружения. В 2002-м в киргизском Оше самолет Ан-24 вообще не заводился — сдох аккумулятор, потом что-то отвалилось. Потом, стоя на трапе, пилот обратился к кому-то на улице, но так, что было слышно внутри: «Я его не поведу, я не убийца». Кончилось тем, что Ан-24 заменили на Як-40, который не только завелся, но взлетел и даже умудрился приземлиться по месту назначения — в городе Жалалабаде.

Пожалуй, единственный серьезный эпизод случился в 2010-м при посадке в Ереване. Наш аэробус уже почти коснулся земли, когда моторы вдруг неестественно взревели, и машина чуть ли не свечкой взмыла вверх. Стюардессы исчезли, не услышали мы и ласкового голоса, поучающего, как вести себя в аварийной ситуации. А она была точно аварийной. Реакция людей оказалась (для меня во всяком случае) неожиданной: пассажиры, большинство из которых составляли мужчины старшего возраста, стали молиться. Кто-то целовал внуков. Никто не кричал, не звал стюардесс. Все кончилось так же внезапно, как и началось. Аэробус перестало трясти, он выровнялся, и мы спокойно сели. На все про все ушло минут десять. Выходя, я не удержался и спросил у стюардессы, что это было? Она ответила — ничего.

Ее ответ по-армянски шедшей за мной пассажирке был более пространным.

— Что она вам сказала? — не удержался я.

— Она сказала, что сегодня у меня второй день рождения...

Был и еще один инцидент, который я упоминаю только как предупреждение особо боязливым. Летим «Эр-Франс», садимся в «Шереметьево», самолет хлопается о землю так, что мне на голову вываливается кислородная маска. Не больно, но чувствительно. Сосед-француз сказал, что за стресс я могу подать в суд на компанию и слупить с нее энную сумму в евро. Я пожалел «Эр-Франс», но всех на всякий случай предупреждаю: если вас стукнет по голове кислородная

маска, то это не обязательно разгерметизация. Это... а черт его знает, что это, французская безалаберность, что ли.

Сталкивался я и с отечественной безалаберностью. 1972 год, лечу над Туркменистаном на Ан-24 из города Мары в Ашхабад. Взлетаем, с потолка прямо на меня ползет дым с легким электрическим привкусом — ну, это когда горят провода. Зову стюардессу. Шмыгаю носом и тычу пальцем вверх:

— А... вот... видите?

— Да у нас это каждый раз, — и она юркает за шторку.

Я бы, наверное, и возмутился, но с нами летела коза. Ее затащили по трапу и поставили в проходе в начале салона. Всю дорогу коза бляела, иногда из нее сыпались шарики. До дыма ли тут?

Одно из чудес полета — вид из иллюминатора. Но не на землю, даже не на облака, причудливость которых уже тысячу раз описана, а всего лишь на самолетное крыло. Оно — на расстоянии вытянутой руки, кажется, что можно дотронуться до всех этих заклепок, винтиков, лючков. Можно даже представить на секунду, как ты сидишь на крыле, свесив ноги. Но сразу спохватываешься: ты здесь, внутри, за непроницаемой обшивкой, а они там, снаружи, летят и летят, обдуваемые ветром при температуре минус 50. Они от тебя в двух шагах, но это самый недоступный кусочек мира. В одном американском детективе некто посмотрел в иллюминатор и увидел, что на крыле сидит дьяволенок. Ей-богу, у меня перехватило дыхание от этих кадров.

Были времена, когда вы провожали и вас приходили провожать. И стоя на балюстраде в том же старом «Шереметьево» или тоже старом пражском «Рузине», вы (вам) могли в последнюю минуту помахать рукой. Существовал интимный обряд аэродромного расставания.

Теперь большие аэропорты стали фабриками по сортировке пассажиро-человеческого продукта. Оно и неизбежно. Сколько народу летало раньше — и сколько летает теперь. В шестидесятые тех, кто никогда не летал, было больше, чем тех, кто поднимался в воздух. Теперь не познавшие прелестей полета выглядят белыми воронами. Самолетное путешествие для широких масс стало рутинной, утратило свое обаяние. Последний удар по романтике нанесло появление в крупнейших аэропортах «рукавов», которые всасывают тебя в самолет и выплевывают из него. Если «рукавов» в аэропорту не хватает или он слишком разбросан по местности, в качестве пытки используется автобус. Раньше автобус просто довозил пассажира до самолета или обратно. Путь был короткий — иногда метров двести, которые можно было преодолеть и пешком. Теперь автобус колесит по одному ему ведомому маршруту с остановками, обозначаемыми непонятными знаками В2, А3-2, С2-3 и так далее. Иногда для того, чтобы добраться от А1 до А2, он объезжает вокруг всего размером с небольшой город аэропорта. Особенно «весело» кататься на автобусе, если предстоит пересадка, а твой самолет и так сел с опозданием на час. Прилетаю в Париж на полтора часа позже расписания, наш «рукав» занят, ждем, когда подадут к трапу автобус. Подали, поехали, причем так, что память подсказывает известную чеховскую ремарку об удивительной способности русских возниц сочетать медленную езду с выматывающей тряской. Однако наш водитель отнюдь не русский, а алжирец. Когда до моего вылета оставалось минут 20, наш автобус наконец притормозил у входа в А2, но дверь оставалась закрытой — подрулить к самому входу мешал

другой автобус. Я умолял шофера в порядке исключения выпустить меня, но он раздраженно отвечал, что здесь не положено. И только когда я послал его матом на качественном алжирском диалекте, он, видимо, от изумления нажал на какую-то кнопку, и я выпорхнул наружу. До самолета, хоть и самым последним, я добрался.

Во «Внуково» в бесконечные годы его реконструкции и расширения длительные автобусные променады стали эпидемией. Однажды, возвращаясь из Нальчика, я провел во внуковском автобусе 24 минуты чистого времени. Было такое ощущение, что он нарочно демонстрирует умение «делать змейку», объезжая каждую попадавшуюся на его пути самолетную стоянку. А как тянутся автобусные версты в аэропортах Дохи (столица миниатюрного, но невероятно богатого государства Катар) и Дубая (Объединенные Арабские Эмираты)!

То ли дело электрички, которые не кружат, как партизаны по белорусским лесам, а пересекают взлетные полосы под землей. Они управляются не машинистами, а чем-то электронным, и весело, стоя в первом вагоне, смотреть, как поезд без машиниста лихо причаливает к пустому перрону.

Однако порой можно нарваться и на электричке. По дороге из Нью-Йорка в Майами, в Атланте, я перепутал номера поездов и уехал в противоположную часть аэропорта. Пока бегал и суетился, мой самолет улетел. На миг показалось, что наступил конец света, во всяком случае, лично для меня. У информационной кабинки, путаясь в словах, я принялся объяснять свою драму. Меня переправили к стойке компании Delta, там сообщили, что следующий рейс через час. Я вновь зачем-то попытался рассказать, что произошло, и чуть ли не пообещал купить новый билет. Но на меня уже никто не обращал внимания. Никто не удивился и когда я входил в самолет. Потом доводилось отставать от самолета в Нью-Йорке, в Лондоне, еще где-то, но это уже не казалось столь безнадежным.

Чем вообще запоминаются аэропорты? Да хотя бы едой, или даже тем, как там доводилось есть. В Усть-Каменогорске в 1998-м, когда мы возвращались с какой-то конференции, самолет сильно опаздывал. Его вообще могло не быть по не зависящим от нас причинам. Самое страшное, что в этом пустом усть-каманьском (Усть-Каменогорск местные зовут Усть-Камань) аэропорту было закрыто все, включая рассадники алкоголизма.

Но у меня с собой был копченый конский хвост, который я вез домой на ужин. На хвост коллеги покушались давно, но я берег добычу для семьи — копченый хвост в тот момент был залогом семейного консенсуса. Мы не мусульмане, но конину любим. Кстати, конская колбаска с яичницей — объедение. В общем, хвост я берег. Но появилась водка. В дороге водка именно появляется, прорастает, словно подберезовик в июньской траве. Короче, я предал семью, мы закусывали хвостом, который с коллегой Панариным долго ломали для всей честной компании. Какой это был ужин в скверике усть-каменогорского аэропорта! Кончик хвоста до дома я все-таки довез.

А какой борщ я съел в 1978 г. в ресторане аэропорта Уфы! Не борщ, а изысканнейшее блюдо, с каким не сравнимы даже обожаемые мной корейские, сингапурские, вьетнамские и китайские супы. Наверное, тогда я был очень голоден и уж точно лет на 30 моложе, но уфимско-аэропортовский борщ не забуду никогда.

Отступление: в 1957 г. папа с мамой возили меня, шестилетнего, в

крымский город Гурзуф. В те послесталинско-хрущевские времена я болел животом, и родителям пришлось кормить сынулю и самим кормиться в домашней подпольной столовой (частный бизнес в Крыму всюду процветал). Была комната с выкрашенными в серый цвет стенами, вареная картошка, вареное мясо, которое я с той поры ненавижу, помидоры, под потолком болтались клейкие коричневые ленты, на которых доживали свой век неопытные мухи. Родители страдали от вкусового и эстетического безвкусья еще больше, чем я. Но терпели.

Освобождение пришло внезапно. Как-то вечером на пляже мне захотелось есть. И вдруг отведавший домашнего вина папа вызвался меня накормить. Мама махнула рукой, а отец повел меня в пляжную столовую (ровесники поймут, а прочим объяснять бесполезно, чем там кормили), которая только что закрылась. Открыть ее ради единственного голодного сына мог только папа. Из гигантского — в нем вполне можно было утопить человека — котла мне в очень большую тарелку слили финал дневного борща. Я его с наслаждением проглотил и... после этого никогда больше желудком не страдал.

Простите, увлекся, забыл, что не о борщах пишу, а об аэропортах. Летел я в город Хиросиму в веселой компании, состоявшей из Александра Гинзбурга, замдиректорствовавшего в одном из академических институтов; думского депутата, врача по специальности Сергея Колесникова и нашего посла (1991—1998 гг.) в Париже Юрия Алексеевича Рыжова¹. Пересадка была в Сеуле, в огромном аэропорту (сейчас таких много, а тогда было мало), по потолкам которого струились алюминиевого цвета трубы и который походил и на швейную фабрику, и на аквапарк. Пересадка была долгой. Мы послонялись под этими трубами, нас не вдохновила местная пища, которая к тому же показалась дороговатой. Тоскуя и уже ощущая тревожный аппетит, поднялись по узкой лестнице на второй этаж и оказались в полутемном помещении с низкими столиками. То был бар — совершенно пустой и неудобный.

Усевшись вокруг стола, мы предались воспоминаниям, как каждому из нас во время оно доводилось есть на газетке «два кусочка колбаски», запивая ее захваченной из дома водкой. И тут вдруг выяснилось, что у каждого из нас с собой что-то было — и бутылочка, и хлебца кусочек, и колбаска, и еще что-то. Кто-то достал огурчик. Не было, как водится среди россиян, стаканов. Но их Юрий Алексеевич, пустив в ход свое дипломатическое мастерство, добыл у бармена. Колесников и Саша Гинзбург расстелили газетку, положили на нее скромную снедь, автор этих строк распечатал бутылку. Наверное, участники сеульского пиршества и забыли про это невеликое событие, но тогда, в Сеуле, на газетке, — то было чудо человеческого дружелюбия.

Самое грустное воспоминание от тель-авивского им. Бен-Гуриона. Года три тому назад возвращались мы с женой из Израиля. Черт меня дернул взять билеты на субботу. Быстро выяснилось, что у них в субботу поесть — что в грозненском аэропорту в священный месяц рамадан водки хлебнуть. Короче: хочется горячей пищи, а ее нет. Находим пресловутый «макдональдс». Покупаем кошерный биг-мак и откусываем. То, что после этого я не стал антисемитом,

¹ Легенда гласит, что Ельцин предложил Рыжову пост вице-премьера, но Ю.А. отказался. Ну почему, черт возьми, порядочные люди уходят из «большой политики»?

можно объяснить только выпестованным в детские годы советским интернационализмом.

К Бен-Гуриону (аэропорту, не человеку) осталась и еще одна претензия, куда более серьезная. Летел я оттуда в Милан, и не чем-нибудь, а уважаемой компанией «Ал-Италия». Две бдительные молоденькие бен-гурионовки долго обшаривали мои полные чемоданы — из Милана предстояло ехать в Венецию, оттуда еще куда-то, а в конце — в Вашингтон, так что шмоток было достаточно, — и, зыркнув не ослепительной улыбкой, отпустили. Уверенный после того обыска в абсолютной безопасности полета, я сомкнул в лайнере очи и сразу заснул. Проснулся уже при посадке под гром аплодисментов. Аплодировали сидевшие вокруг пожилые американки. И не летчику, посадившему самолет, а мне — за исключительно артистичный храп. Польщенный признанием своей артистичности, я отправился забирать багаж. Но его не было. Тех двух чемоданов я в жизни больше никогда не встречал. Незачем рассказывать об ощущениях человека, лишившегося вдруг всего — кроме паспорта и, славу богу, кошелька.

Лучше скажу о том, сколь важна в чужом холодном аэропорту мужская дружба. Спустя три часа в миланском аэропорту «Мальпенса» сел московский рейс, на котором на ту же, что и я, конференцию прибыло еще двое российских участников, среди них уже упоминавшийся Сергей Панарин, ну очень авторитетный ученый из Института востоковедения и по стечению обстоятельств умный и добрый человек. Мы встретились на улице у самого выхода. Только начал я рассказывать о своем горе, как Сережа, не говоря ни слова, протянул мне почти полную бутылку «Джонни Уокера». И знаете, после трех глотков все как-то стало забываться.

Впрочем, водятся за Сергеем и грешки. Летим в Алматы — еще до 11 сентября 2001 г., зато уже идет первая чеченская война. Проходим спецконтроль, он оборачивается к пограничникам, кивает на меня и говорит: «Вы его получше обыщите, а то, небось, опять с пистолетом». Пограничник был парень не промах: «Я вот сейчас тебя обыщу...» Парня можно было понять — сколько таких шуток за день он слышал.

После взрыва Торгового Центра в Нью-Йорке в аэропортах стали шерстить основательно, с применением всех возможных технических средств. Очереди на досмотрах, выдергивание брючного ремня, спадающие джинсы, извлечение из сумок компьютеров, из карманов — кошельков, зажигалок, отбор лекарств в излишне больших бутылках — вызывают, так сказать, бытовую ненависть к террористам. Если к раздраженной очереди подвести бенладенообразного человека и сказать «вот он — причина ваших предполетных мучений», то его задушат ремнями, забьют ботинками, заставят выпить все отобранные жидкости, включая неосторожно оставленные в сумочке дамские духи.

Обыскивают везде одинаково. В последние годы главное различие состоит в том, надо ли снимать обувь. Это, пожалуй, самое утомительное занятие. Как-то раз в бакинском аэропорту им. Гейдара Алиева я, чтобы не стаскивать мокасины, тяжело захромал и... меня пропустили в обуви. Этот номер не прошел в аэропорту «Трибхуван», что в столице Непала Катманду. Там самый последний обыск происходил у самого трапа самолета, то есть уже тогда, когда всякий нормальный пассажир уверен: все испытания позади. Мне не привыкать к строгостям, но свирепость на лице офицера была пугающе неподдельной.

В Америке вскоре после 11 сентября помимо обычных мер безопасности был также введен «выборочный контроль». Это когда уже после всех обысков и прощупываний из пассажирской массы неведомо по какому принципу выдергивают еще человек 10 и повторяют процедуру. Я «попадал под раздачу». В Бостоне нас построили словно перед казнью, двое людей в форме прошли вдоль строя, и мне почудилось, что вот-вот раздастся «партизанен, комиссарен унд юден, аллес форвертс!». Однако на этот раз обошлось.

Тогда в Бостоне вспомнился город Курск. Пассажиры Як-40 там тоже выстроили вдоль белой стенки и обыскали. Было это в феврале года 1977-го. В те времена слово «терроризм» ассоциировалось разве что с российскими народо-вольцами. Аятолла Хомейни только мечтал об исламской революции, Чечня именовалась Чечено-Ингушской АССР, Шамиль Басаев учился в седьмом классе, а Бен Ладен налаживал строительный бизнес. Что тогда искали в аэропорту Курска, сказать не берусь, но ощущение чего-то непонятного, скорее нелепого, чем страшного, сохранилось. Поинтересоваться у курских милиционеров тогда никто не отважился; обыскивают — значит, так надо.

К терроризму существует два подхода. Первый — бытовой: взорвать, захватить могут кого угодно, только не тебя. Что 11 сентября, что московская Дубровка для большинства граждан-обывателей — жуткий театр, где ты зритель, а не участник. Это можно понять: такая позиция есть самозащита. Второй подход — осознание реальности террористической угрозы, косвенное участие в ее предотвращении. Конкретно это заключается в терпении в очередях на спецконтроле, готовности указать на нечто странное, подозрительное. На наших глазах терроризм индивидуализируется. Нынешний террорист может выступать не от имени какой-то организации, а от собственного имени. Андер Беринг Брейвик, расстрелявший в 2011 г. в Осло 77 и ранивший 151 человека — типичный тому пример. Причиной теракта может оказаться и обида на весь мир, и ссора с женой...

Помните знаменитое карлмарксово «призрак бродит по Европе, призрак коммунизма»? Призрак терроризма, даже не призрак, а терроризм собственной персоной бродит по всему миру. Накал борьбы с терроризмом в XXI веке неожиданно выявлял среди людей чуткие души, способные наплевать на антитеррористическую кампанию и прийти на помощь попавшему в беду авиапутнику. Лечу из Гонолулу в Лос-Анджелес. Лечу 7 часов и «кофий пью без всякого удовольствия»: на Гавайях рейс задержали часа на полтора, а мне до Москвы две пересадки, первая из них в этом самом Лос-Анджелесе. Сели, взял багаж, до нью-йоркского рейса сорок минут, из которых половина приходится на местный автобус. Выясняется, что водители автобусов бастуют. Именно сейчас, когда я опаздываю. Вспоминаю молодость и ловлю «попутку». Самую настоящую «попутку» (такси тоже не видать), прельстив чернокожего водителя червонцем (по местному десять долларов). Добираюсь до места минут за десять до отлета: впереди — паспортный контроль, сдача багажа и все та же секьюрити. Ставлю на пол чемодан. Все. На сегодня отлетелся.

Мимо ступает высокая, изумительно красивая негритянка в форменной одежде. Я преграждаю ей дорогу и пытаюсь объяснить свою ситуацию. При слове «Москва» в ее глазах вспыхивает огонек понимания. Она улыбается, делает рукой приглашающий жест и ведет за собой. Весь марш занимает минут семь, может, десять. И не по этапам — паспорт-багаж-секьюрити, а напрямик в

самолет. «Из тысяч лиц узнал бы я девчонку, но как зовут, забыл ее спросить...» В советском оригинале речь шла о мальчонке, а действие происходило во время войны, имеется в виду Великая Отечественная.

В наше мирное время, пока шли чеченские войны, мне доводилось пользоваться грозненским аэропортом, который одно время, кажется, носил имя Джохара Дудаева. Что запомнилось? Да ничего, слишком много было тогда иных, более запоминающихся впечатлений. Но все же. В первую чеченскую поездку в качестве сувенира решил захватить с собой в Москву боевые патроны и рассовал их по карманам. Дуракам закон не писан. Естественно, на контроле их отобрали. Молодой человек вежливо пояснил, что это запрещено и граничит с уголовщиной. Я извинился и честно обещал больше патроны в самолет никогда не брать.

В 1995 г., когда я поднимался по трапу, раздался взрыв. Рвануло метрах ста от самолета. В сторону взрыва повернул голову только я один. Возможно, взрыв был не столь близко. Привычка? Но за то, что ни один из поднимавшихся по трапу не повернул головы, отвечаю. Сейчас тамошний аэропорт — с иголочки. В VIP-зале — сад с попугаями, некоторых гостей, как только они ступят на землю, встречают танцами. В то, что Грозный 15 лет назад походил на Сталинград, не верится.

И коль зашла речь о Чечне, не могу не вспомнить про случайную встречу в стокгольмской «Арланде» с Анной Политковской. Возвращались с какой-то конференции, она долго искала в duty free духи для своей мамы, потом пила кофе, она много рассказывала о своих приключениях, а я вдруг брякнул:

— Аня, ведь так вас скоро убьют.

— Я знаю, — ответила она.

Через несколько дней ее убили.

Общая, как теперь выражаются, глобальная проблема аэропортов, а с 2004 г. и самолетов — запрет на курение. Раньше, бывало, летишь — густые, изысканной архитектуры облака, усыпляющее гудение движков, ожидание перекуса, плавный приезд самого перекуса — рыбка, салатик, горячая пища, именно пища, а не резиновый чикен (то есть цыпленок). Порядочные компании вроде «Скандинавиан», «Свисс Эйр» (ныне покойная), бельгийской «Сабены» (тоже почил в бозе), голландской «KLM» угощали бесплатным алкоголем. Выпил до, выпил после, глотнул чайку и... закурил. Только представьте себе, где-нибудь над Гренландией или Тобольском (красивый город даже с высоты 10 тыс. км) вынимаешь из пачки неизмятую еще сигарету, бросаешь взгляд за окно и... Легкий, не обидный ни для кого дымок вьется к самолетному потолку, справа в кресле пепельница. Дымок тает быстро. Им не задохнешься, не отравишься. Некоторым некурящим пассажиркам он даже нравился.

Сначала курильщиков задвинули в хвост, но то было только начало катастрофы. Курить запретили везде. 5-6, 7-9-11 часов без сигареты — уже испытание. Да еще претендующий на ласковость, даже интимность противный голос напоминает, что в туалетах стоят какие-то датчики, которые мигом обнаружат нарушителя.

В аэропортах некурение переносится болезненнее, чем в самолетах. Ожидание чего бы то ни было, даже смертной казни, наверное, настойчиво требует сигареты. У Чехова в рассказе «Новогодние великомученики» замечено, что

лучше ждать пять часов поезда на морозе, чем минуту перед рюмкой водки. Вот и мечешься по нью-йоркскому JFK, по франкфуртскому, а с 2010 г. еще и по пекинскому аэропорту в поисках курящего закутка. А его нет как нет. Я оказался в JFK спустя несколько месяцев после запрета, еще не зная о случившемся. Долго бродил по тамошним коридорам, а потом спросил у африканской внешности дамы в униформе, где здесь гетто для курящих. Дама, не говоря ни слова, открыла служебную дверь за своей спиной и, указав глазами на улицу, сказала — там.

— А как попасть обратно?

— Я подожду.

Она подождала. В такое трудно поверить. Но это действительно было.

Не все аэропорты пошли на антитабачную подлянку. Кое-где курилки остались, а кое-где, в вашингтонском «Даллесе», например, даже открылись. Правда, иногда возникает чувство, что некоторые курительные комнаты отданы на откуп садистам. Кажется, в Цюрихе в курилке не работала вентиляция. Если бы шутки «хоть топор вешай» не существовало, она вполне могла бы появиться именно там. В Дубае курилка походила на тюремную клетку с решеткой на улицу.

Самая большая неожиданность ждала в бейрутском аэропорту имени Харири. Курить позволялось только в VIP-зале. Приглашения туда у меня не было, да и найти этот зал я так и не смог. Зато в каком-то закутке набрел на миниатюрную барышню с восточными глазами. Барышня курила. Рядом струился унылый фонтанчик с питьевой водой, вокруг на полу валялись окурки. Я вопросительно посмотрел на девушку — она кивнула. Несколько минут мы курили вместе, потом она побежала по делам. После ее ухода я еще пару раз затаился, пугливо оглядываясь по сторонам. Никто не подошел, не вызвал ни полицию, ни пожарных.

Теперь о том, в каком аэропорте что покупать. Сыр — в амстердамском «Шипхолье», можно и в миланском «Мальпенса». Рыбу — в стоковом «Арланде» и в аэропорту «Гардермуэн», в Осло. Шоколад — в брюссельском «Завентеле». Вино — лучше гранатовое — надо везти из ереванского «Звартноца», ракию — из любой воздушной гавани Турции, из Варшавы — «зубровку», хорошее виски — из «Хитроу», к тому же там часто бывают всякие выгодные «акции». И... и я еще подумаю.

Ага, вспомнил, хорошую казахстанскую водку можно закупить в Алматы и Астане. Трудность в том, что на кредитные карточки и евро-доллары ее там не продают, поскольку это запрещено правилами Таможенного союза. Есть такая контора, куда вошли Россия, Казахстан и лукашенковская Белоруссия. Других желающих не нашлось. Не знаю, кому какие экономические выгоды это принесло, но вот товары в duty free гражданам из стран ТС теперь продают из-под полы. «Вы принесите свой пакет, я вам туда быстро все положу», — прошептала мне не разбирающаяся в вопросах евразийского сотрудничества продавщица в Астане.

Черная икра есть везде. Говорят, что самая вкусная — в Тегеране. Не знаю, не пробовал. Зато в 1972 г. при транзитной — из Ашхабада в Москву — посадке в сморщенном, с земляным полом аэропорту г. Красноводска (ныне Туркменбаши) мужчина в серой одежде предложил купить алюминиевый бидон с паюсной

икрой за пять рублей (молоко тогда стоило 16 и 32 коп., а авиабилет до Ленинграда 11 руб.). В кармане у меня лежала только трешка, про которую тогда ходил антисоветский анекдот — «маленькая, зелененькая, шуршит, но не деньги». На трешку продавец не согласился, и я остался без икры.

Но Тегеран удивляет отнюдь не икрой В конце 1990-х — начале 2000-х самое интересное происходило при подлете к столице Исламской республики и при вылете из нее. При взлете и при посадке салон наполнялся легким шуршанием. При подлете к Тегерану стюардессы и российские пассажирки принимались укутываться в платки (иранки к тому времени в них уже укрылись). Стюардессы делали это привычно, профессионально, многие пассажиры раздраженно и не совсем умело. В воздухе витал вопрос — почему мы должны соблюдать их традиции?

— Да потому, — попытался урезонить я свою уже немолодую, но еще не старую соседку, — что здесь в семьдесят восьмом — семьдесят девятом годах случилась исламская революция.

— Но я-то при чем, с какого я боку к их революции?

Тут Ту-154 нырнул носом, и мы устремились вниз.

Когда сели, наступала ночь. До города дорога долгая, часа два, и после самолета, конечно, больше всего хочется на боковую. Но не таков бдительный революционный Тегеран, чтобы ни за что ни про что вот так отпустить иностранцев, даже если они прибыли на весьма высокопоставленную конференцию, а жить будут в резиденции Министерства иностранных дел. У меня и моих коллег отбирают паспорта и ведут в VIP-зал, куда затем доставляются и наши чемоданы. Рассаживаемся вокруг низкого полированного стола в глубокие кресла. Разносят крепкий чай. Время замедлилось, а потом и вовсе остановилось. Что можно делать больше часа с паспортами иностранных гостей? Приносят вторую чашку чая. Слава аллаху, можно выйти на улицу и покурить. Пока ты куришь, тебя пристально рассматривают два случайно вышедших вместе с тобой человека. Три чашки чая, три сигареты — путь свободен. Освещенные грустной, словно она навечно привязана к аэропорту, луной, рассаживаемся по чопорным машинам. Аэропорты почти всегда покидаешь с чувством облегчения, но тегеранский особенно.

Был также и обратный рейс Тегеран—Москва. Тут шел обратный процесс. Бортпроводницы сбросили платки, едва загудели моторы на взлете. А иранки, не все, правда, стали избавляться от исламской традиции уже перед посадкой в «Шереметьево». И делали они это с явным удовольствием — и то сказать, было начало 2000-х, время правления либерального президента аятоллы Хатами, когда появилась надежда на избавление от исламского революционного синдрома. Судя по распространившемуся в салоне коньячному аромату, мужья персиянок на это точно надеялись.

Сложные у меня отношения с аэропортами. Но один раз аэропорт — амстердамский «Шипхол» стал для меня домом. Лечу в Эдинбург на конференцию со странным названием «Imaging Freedom, Negotiating Dominion», придуманную в тамошнем Университете Св. Андрея. Сначала все было хорошо. В «Шереметьево», как водится, встретил знакомых — Юру Вяземского (помните, «Умники и умницы»?) и жену его Таню, с которой учился в одной некогда

знаменитой, а ныне канувшей в Лету спецшколе № 2. Они — во Францию, у меня — пересадка в Амстердаме. Вышел и вдруг читаю: рейс на шотландский город Эдинбург — «cancelled». Подошел к высокой, во всем голубом голландке, спрашиваю, в чем дело. А она мне вопросом на вопрос: а вы не знаете? Облако грядет из Исландии...

— Какое еще облако?

— А такое. В Исландии вулкан — она произнесла непроизносимое слово — извергнулся. Из-за его дыма теперь никакие самолеты не летают.

— А когда полетят?

— Не знаю.

Никто этого не знал. Скоро отменили все рейсы, кроме как на Америку, Китай и Японию, и стало замечательно глухо. Застывший аэропорт. Никому не нужные самолеты. Железный хлам. Торчат их беспомощные куриные хвосты. Над аэропортом глазают яркое бессмысленное солнце. Оно врет, что все хорошо. Там, за его лучами, ползет на нас с вулкана Эйяфьядлайекюдль (это слово способны выговаривать только 0,005 проц. землян) гадкое облако.

Ужасики про падающие на Землю астероиды и наступление очередного глобального обледенения не так уж смешны. Какой-то вулканишка, ерунда, а Европа заглохла. «В связи с извержением вулкана в Исландии, — гундит на четырех языках радио, — все рейсы отменены вплоть до особого сообщения». Хрен его знает, когда это сообщение будет. Может, никогда.

Какие террористы, какие революции! Бог чихнул. Под этот чих попали мусульмане, христиане, куча буддистов, синтоистов и атеистов. Людская беспомощность перед Ним — зовите его хоть Аллахом, хоть Христом — налицо.

В амстердамском «Шипхале» собралась вся мировая антропология. Вы бывали в Вавилоне? Я в нем провел три дня. В большинстве своем люди просто улыбаются. В курилке какой-то ушастый мерзавец надывается — мол, мы отсюда вообще никогда не выберемся.

От бессмысленного гуляния по длинным коридорам наступает одурение. Куда идти? Естественно, в бар, Mufly bag, где кормят замечательными, с лучком колбасками. Из бара идти уже некуда и незачем. Однако я все же пошел — в никуда. Остановился на полдороге, выдрал ноги из ботинок, стянул носки, достал из чемодана и надел китайские тапочки из пекинского отеля «Гуандун». Сажу в пустом гейте. Лепота.

Подходит японец. В его Японию пока пускают. Он, бедненький, не туда забрел, ищет свой выход. Объяснил ему, куда идти, искренне порадовался за него — хоть он доберется до своей Страны восходящего солнца. Он мне — также искренне — посочувствовал. Как пел Окуджава, «я с ними не раз уходил от беды... как много бывает порой доброты в молчанье, в молчанье».

Моя беда, как я уже говорил, растянулась на три дня и две ночи. Большинству пассажиров, особенно безответным индийцам, малайцам, африканцам повезло куда меньше. Они отсидели чуть ли не неделю.

В такой обреченной ситуации особенно важна отзывчивость аэропортовых сотрудников. Их поведение было безукоризненным. На их лицах столько сочувствия, словно задержались их собственные срочные рейсы.

В первый день затянувшейся остановки бытовые вопросы решались стихийно, самодеятельно. Самые удобные кресла заняли африканские матери с детьми и индийские старички с хитринкой в глазах. Моим пристанищем стал

электрокар с широкими мягкими сиденьями. Я обрел его в пустом коридоре ставшего ненужным выхода на посадку. Присмотревшись к транспортному средству, решил, что лучшего пристанища на ночь не найти. Хотелось двух вещей: одиночества и выспаться. Я надел пижаму, подложил под голову портфель и, зажав в руке паспорт и бумажник, принялся спать.

К утру ситуация с вулканом осталась прежней, то есть безнадежной. Зато администрация приняла меры по налаживанию быта. В одном крыле аэропорта была организована ночлежка, доставлены матрасы, раскладушки — говорили, что ими поделилась местная армия и местное МЧС. Появились пункты раздачи (бесплатной, разумеется) пищи. «Шипхол» превратился в лагерь беженцев.

Днем явился ярко, по-концертному разодетый оркестр. Загремела веселая бесшабашная музыка. В то же время присутствие оркестра казалось намеком на то, что сидеть здесь придется еще долго. Очевидно, предстояло провести еще одну ночь в коридоре, пусть и не на электрокаре, а на эмчезовской лежанке. Душа ни там, ни там быть не могло, и это наводило на мысль поискать что-нибудь более стоящее — гостиницу, иными словами. Я нашел встроенные внутри аэропорта номера по цене 90 баксов за ночь. Однако ночи были куплены еще с утра, скорее всего ушлыми японцами. Мне достались почти за ту же цену четыре часа, с 14.00 до 18.00. Представьте себе купе, но с ванной. И все. Правда, кровать была на редкость мягкой. Или так просто показалось?

Ночевать я вернулся в коридор. Когда наутро сообщили, что метеорологи грозят еще сорока восемью часами неопределенности, я понял, что пора действовать: купил шенгенский транзит, вышел из аэропорта, дошагал до поезда на Берлин, в германской столице переночевал в отеле, который по совместительству оказался борделем, оттуда — поездом до Варшавы. В Варшаве сама собой сколотилась группа стремившихся на родину сограждан, застигнутых вулканом во Франции, Норвегии, Бельгии. Мы наняли три такси, добрались до Белостока, пересекли польско-белорусскую границу, где нас уже ждал заказанный заранее по телефону микробас, который довез меня до Москвы, к тому же почти до самого дома. Уже сидя на кухне, посмотрел на карту: «Мы пол-Европы, пол-Европы прошагали...».

В 1999 г. улетаем с моим другом Юрой Зараховичем, корреспондентом журнала «Тайм», из Казани. Сидим в VIP-зале, эдаком полированном обкомовских времен спецбуфете. Вечер, есть что выпить. Для несведущих: Казань — столица российской водки. Также как Дагестан — колыбель российского коньяка. И что интересно — водочно-коньячную традицию не переломили ни исламизация, ни радикализация, ни эхо грянувшей в 2011 г. «арабской весны». Шариат на российском Северном Кавказе уживается с коньяком. И, верю, уживется. Их симбиоз лишь укрепит цивилизационную идентичность кавказского социума.

Так вот. Сидим мы с Юрой зимней порой в казанском аэропорту. Попеваем советскую песню «нелетная погода, неле-о-гкая су-у-дба», попиваем водочку. Хорошо пошло, и такая задушевная беседа завернулась, и закуску принесли, и диван удобный, и уж, конечно, никто не запрещает курить. С одной стороны, самолета нет и неизвестно когда будет. Нервы должны быть на пределе. Ан нет. Наши нервы отдыхают и расслабляются вместе с нами. Долго сидели мы,

освоились, наслаждались здешним уютом. И каким же мерзавцем показался нам наконец прилетевший с опозданием часа на три Як-42 — такую песню испортил!

Что-то меня все время тянет на приземленное, пошлое. Можно подумать, что кроме еды, досмотра да курева нет других впечатлений. Есть, конечно. На всю жизнь запечатлелась главная достопримечательность аэропорта в Алматы — огромная евразийская луна, единственная реальность нашего никчемного неоевразийства. А какие утренние безумные звезды горят над бишкекским «Манасом» по прилете московского рейса! Им не мешает даже американская военная база, вокруг которой идет многолетний торг и которую местные президенты то обещают прикрыть, то в очередной раз откладывают это мероприятие до лучших времен. А какие горы вокруг аэропорта в Душанбе, а Арарат на подлете к «Звартноцу»!

Но романтика аэропортов, их бывшие «взлетные огни» гаснут. В Европе, Америке, Китае... У кого-то много летавшего однажды вычитал: сходит он однажды по трапу в парижском «Орли», чувствует, чего-то не хватает, и вдруг понимает — нет свиста сурка. Мне сурков в Париже слышать не доводилось, летать туда я стал сравнительно недавно, но в этот рассказ верю.

На фоне гигантомании так хорошо бывает на захолустных, с буфетным пирожным и двумя бутербродами российских аэродромчиках, уцелевших, как еще говаривал Грибоедов, со «времен Очаковских и покоренья Крыма».

Однажды в Вене я вдруг почувствовал, какое счастье, когда задерживается рейс, просто так сидеть в аэропорту и смотреть через глушащее звуки моторов оконное стекло, особенно если оно залито дождем. Безответственное детское счастье, когда ты ни в чем не виноват и у тебя нескончаемое свободное безответственное время. А еще — в предвкушении полета хорошо пишется. Наверное, это от необязательности — хошь думай, хошь пиши. А не хочешь — не делай ни того ни другого, просто вытяни ноги и закрой глаза.

Андрей Столяров

Герой нашего времени

Сначала немного истории. В мае 1862 года в Петербурге вспыхивают чудовищные пожары. Кажется, что огнем охвачен весь город: горят Московская и Ямская части, горят Малая и Большая Охта, горит здание Министерства внутренних дел, на Садовой улице во всю длину полыхает огромный Апраксин двор. Причину пожаров установить так и не удается. Версии выдвигаются разные — поджигают поляки, «лондонские пропагандисты», нигилисты, студенты, криминальные элементы...

Дело, однако, не в этом.

В те ужасные дни еще относительно молодой Федор Михайлович Достоевский бежит сквозь дым на Большую Московскую улицу, где проживает Н.Г.Чернышевский, врывается к нему в квартиру и, согласно воспоминаниям, буквально умоляет его остановить пожары. «Вы близко знаете людей <которые поджигают>... Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими».

При этом никакой административной должности у Н.Г.Чернышевского нет, никаким официальным влиянием он, разумеется, не обладает, в иерархии чинов Российской империи он вообще никто, но по мнению Достоевского (представителя столичной интеллигенции), имеет такой реальный авторитет, что стоит ему слово сказать, и пожары утихнут на следующий же день.

Как назвать подобного человека? Как определить его место на социальной шкале?

Нужную дефиницию нашла русская литература. Она сумела выделить статус, не значащийся ни в одной из административных номенклатур.

Это — «герой нашего времени».

Итак, «герой нашего времени» — это человек или, что также бывает, литературно обозначенный персонаж, который, не имея никакого официального статуса, пользуется, тем не менее, колоссальным влиянием в обществе. Он представляет собой социальный эталон, образец для подражания, является тем, с кого многие хотели бы «делать жизнь». Он выражает собой «дух эпохи», ее доминирующее мировоззрение, ее основные поведенческие стратегии.

Причем, «герой нашего времени» — это вовсе не единственный образ, являющийся общим для всех. Как правило, существуют две четкие группы, которые конкурируют между собой за умы и души людей.

Столяров Андрей Михайлович — прозаик, а также автор многочисленных статей по аналитике современности философского трактата «Освобожденный Эдем» (2008). Публикации в «Дружбе народов»: «Новая земля и новое небо» (№ 4, 2014).

Во-первых, это герои официальной культуры. Их создает, продвигает и рекламирует власть. Это ее идеологические константы, ее опора, основа ее социального бытия. Наиболее показателен в данном отношении советский период, когда власть сумела выстроить всеобъемлющую систему таких персонажей: для детей и подростков — Павлик Морозов, для юношества — Павел Корчагин, для взрослых — Валерий Чкалов и Алексей Стаханов, для членов КПСС — коммунист (из одноименного фильма). Следует подчеркнуть, что эти герои — носители высоких нравственных ценностей (коммунистических идеалов, значимость которых сомнению не подлежит) и ради них готовы пожертвовать всем, даже жизнью.

А во-вторых, это герои контркультуры. Они появляются в зоне свободного творчества (социального или художественного) и оппонируют существующему порядку вещей. Причем их протест не обязательно выражается политически, он может иметь и сугубо экзистенциальный характер: известные из школьной литературы Онегин, Печорин, Базаров отвергали не столько власть, сколько жизнь, не устраивающую их по ряду причин. Однако здесь наличествуют и герои открытого сопротивления, в народной версии — это Степан Разин и Емельян Пугачев, а в версии образованных классов — это сначала Владимир Дубровский, а позже — герои «Народной воли» и революционеры начала XX века. Причем воспринимались они тогда именно как герои: Илья Репин написал портрет Дмитрия Каракозова, который стрелял в царя, а суд присяжных в апреле 1878 года оправдал Веру Засулич, стрелявшую в петербургского градоначальника Ф.Ф.Трепова. Заметим, что эти герои также являются носителями высоких нравственных ценностей (идеалов свободы, равенства, справедливости) и также готовы ради претворения их отдать жизнь.

У каждой группы героев — своя функция. Герои официальной культуры легитимизируют настоящее. Своим примером, выраженным, как правило, в литературе, в кинематографе, в средствах массовой информации, они утверждают, что существующая реальность — это лучшая из всех форм политического и социального бытия и что она имеет привлекательную историческую перспективу.

В свою очередь, герои контркультуры настоящее категорически отвергают. Они утверждают, что существующая реальность уродлива и невыносима, что она имеет пороки, препятствующие нормальной жизни людей, и что она должна быть трансформирована в нечто совершенное иное.

Таким образом, герои контркультуры легитимизируют будущее, и коллизия между этими двумя временными статусами, воплощенными в конкретных поведенческих образцах, вероятно, и составляет основное противоречие любой социальной культуры.

В действительности герой нашего времени не представляет собой чисто идеологическую конструкцию, возникающую как бы «из ничего». Он опирается на внятную онтологическую основу, которую, на наш взгляд, следовало бы назвать *этнической аватарой*.

Попробуем контурно очертить это понятие.

В самом общем виде этническую аватару можно определить как идеализированный персонификат. Это представление этнического сообщества о самом себе, коллективный гештальт, понятный всему сообществу, обобщенный образ члена сообщества, который является для данного сообщества эталоном.

Можно также сказать, что аватара — это персонификация национального (этнического) характера, предъявление нации (этноса) в виде образа (персонажа), который воплощает ее базисные черты. Выделение нацией (народом) «себя» среди множества «других» этносоциальных культур.

В бытийной механике нации аватара играет чрезвычайно важную роль.

Во-первых, она создает и поддерживает целостность своего этнического сообщества. Любой член сообщества вольно или невольно, сознательно или бессознательно сравнивает себя с наличествующей моделью, и, если требуется, производит коррекцию личности, поведения, целей, чтобы соответствовать ей. В результате в сообществе возникает функциональное (динамическое) единство, которое мы воспринимаем как идентичность. Об этой особенности идентификации писал еще Зигмунд Фрейд, считавший, что «идентификация стремится к сформированию своего "я" по образцу другого человека, который берется за "идеал"»¹. А Невит Сэнфорд, развивая данную мысль, полагал, что идентификация в отличие от сознательного подражания есть процесс в основном бессознательный, интуитивный. И наиболее существенным в этом процессе он считал то, что «идентификация стремится к тождеству; другими словами, субъект старается вести себя точно так же, как и объект»². То есть аватара — это эталон идентичности, работающий как аттрактор (оператор) консолидации.

А во-вторых, аватара задает основной поведенческий репертуар — типовые реакции и локальные эксклюзивы, свойственные данному этническому сообществу. Фактически она отвечает на очень важный экзистенциальный вопрос: почему я так поступаю? Или: почему я *должен* так поступать? И функциональный ответ здесь очень простой: потому что я — русский. Или: потому что я — немец. Или: потому что я — итальянец, англичанин, поляк, француз. Или: потому что я — гражданин этой страны. Вот модель моего сообщества — я ей соответствую. Тем самым аватара непрерывно воспроизводит национальный характер, утверждая специфические для него нравственные, культурные и социальные нормы: «русские не сдаются», «англичанин никогда не будет рабом», «немцы не боятся никого, кроме бога».

Причем здесь следует подчеркнуть, что типовые поведенческие реакции, продуцируемые аватарой, не возникают спонтанно, то есть сами собой, исключительно за счет внутренних побуждений, — они в значительной мере являются ответом личности, нации в целом на изменения внешней, прежде всего социальной среды. В том числе — и ответом на вызовы будущего. То есть именно аватара согласует (или, по крайней мере, пытается согласовать) историческую традицию, упорядоченную культурой и стремящуюся законсервировать общественное бытие, с инновациями — явлениями, которые самозарождаются в современности и требуют принципиально иных поведенческих реакций и образцов. Согласование режимов сохранения/преобразования или, иными словами, культурной наследственности и культурной изменчивости — одна из важнейших функций этнической аватары, которая таким образом регулирует динамическую устойчивость нации.

В общем, аватара является центральным оператором любого сообщества. Представляя собой персонифицированное настоящее, настоящее как восприни-

¹ Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «я». — М.: 1926. С. 49.

² Sanford N. The Dynamics of Identification. // Psychological Review, № 2, 1955. P. 100.

маемый чувственно «художественный пейзаж», она связывает прошлое с будущим, «ставшее» со «становящимся», керигму и догму¹, если пользоваться метафизическим языком, и тем самым обеспечивает (или — не обеспечивает) существование нации. Это, по выражению одного из исследователей, «совокупное этническое», «грамматика социального поведения», формирующая народ в качестве «личности»².

В известном смысле этническую аватару можно также рассматривать как некий сверххарактер, который определяет «лицо сообщества», то есть и специфику текущего национального бытия, и форму культурного реагирования нации на вызовы внешней среды.

Теперь обратимся к примерам. Посмотрим, какие аватары возникали в истории и какова была их роль в жизни соответствующих национальных сообществ.

Наиболее демонстративной здесь является советская аватар — образ советского человека, знакомый нам по сравнительно недавней эпохе. Фактурность и яркая привлекательность данного образа вполне объяснимы: эта аватар конструировалась целенаправленно, в течение нескольких десятилетий, с применением всех тех средств, которых ранее в распоряжении человечества не было: прессы, радио, телевидения. И потому мы достаточно просто можем определить ее антропологическую матрицу, или, говоря иначе, ее типовой канон.

Советский человек — это прежде всего строитель коммунизма, светлого будущего всего человечества. Он интернационалист: для него как бы не существует наций. Он безусловный коллективист: общественное для него выше личного. Он руководствуется принципами социальной справедливости: не должно быть ни богатых, ни бедных, все люди равны. И наконец, он социальный эмпат: всегда готов прийти на помощь тому, кто в ней нуждается.

Значительно раньше в английском национальном сознании возникли сразу две аватары — для внутреннего и для внешнего предъявления. Это «образ джентльмена» — представителя правящей британской элиты и «образ белого человека» — прогрессора, несущего цивилизацию и культуру отсталым колониальным народам.

Здесь также можно выделить типовой канон — набор главных характерологических черт.

Белый человек, например, — это существо высшего порядка по отношению к колониальным аборигенам: он относится к ним как отец к неразумным детям — воспитывая, поощряя, наказывая. Кроме того, белый человек никогда не отступает перед опасностью, он всегда, несмотря ни на какие препятствия, достигает поставленной цели, и он также всегда готов прийти на помощь другому белому человеку.

Очевидно, что это была расовая аватар, она строилась в основном на принципах этнического нарциссизма. И вместе с тем, энергетика этой внятно сформированной национальной модели, как нам представляется, сыграла не последнюю роль в становлении огромной Британской империи, «над которой никогда не заходило солнце».

¹ Догма — «внутренняя», непознаваемая часть бога. Керигма — «внешняя», проявляющая себя в мире и потому доступная для познания его часть. (Прим. автора.)

² Касьянова К. О русском национальном характере. — М.: 1994. С. 8, 22.

Можно также вспомнить начальную американскую аватару, которая обозначалась аббревиатурой WASP (по первым буквам английских слов): белый, англосаксонец, протестант. Ее типовой канон выглядит так: индивидуализм, протестантизм, пассионарная предприимчивость, стремление к успеху, личная ответственность за свою судьбу. Наличие такой аватары, которая, как представляется, возникала в значительной мере спонтанно, определило и лицо нации (американский национальный характер) и специфику складывающейся американской государственности.

Перечисленные этнические модели можно назвать *базовыми аватарами* — они образуют лицо нации в целом. Однако в любом развитом (дифференцированном) сообществе обязательно наличествуют еще и конкретные *сословные аватары*, интегрирующие собой отдельные социальные страты. Заметим в этой связи, что современное общество по-прежнему остается сословным, какие бы демократические глоссолалии не пытались затушевать данный факт, просто в настоящее время значительно меньше выражена родовая (по происхождению) заданность основных сословных границ и значительно более интенсивно осуществляется межсословный обмен.

Структурно-функциональные отношения при этом следующие: базовая аватара транслирует свои качества (свой канон) на сословный уровень, в значительной мере определяя его типологические черты, но «сословие» данный канон несколько трансформирует: одни качества акцентируются, другие могут быть редуцированы в зависимости от социальной ориентированности сословия.

Скажем, в царской России существовал образ русского крестьянина (синоним — «народ»), неизменный в течение многих веков. Его типовые черты были вполне очевидны. Русский крестьянин — это истинно православный христианин, готовый отдать жизнь за веру, вместе с тем он монархический патриот, готовый отдать жизнь за царя и отечество, он простодушен в том смысле, что как ребенок живет по законам природы, и кроме того он — носитель особой народной мудрости, недоступной представителям высших сословий.

Одновременно существовал образ русского офицера. Его типовой чертой также является ярко выраженный монархический патриотизм: русский офицер готов отдать жизнь за царя и отечество. Собственно, в этом и заключается его экзистенциальная цель. Однако сюда добавляется еще кодекс дворянской чести, определяющий конкретный поведенческий репертуар: честь для русского офицера дороже, чем жизнь. Зато православие в этом сословии явно отходит на задний план. Об этом свидетельствует основной корпус русской литературы, которая фиксировала типологию нации в соответствующих образцах: православие русского офицерства там наличествует как фоновая характеристика — оно есть, но лишь в качестве мировоззренческого бэкграунда.

Перечислим сословные аватары, сформировавшиеся в Российской империи в XIX веке. Это крестьянин, солдат, офицер, помещик, священник, чиновник. Позже к ним добавились — купец, мещанин, разночинец, интеллигент. Наличествовали также обобщенные аватары, выстраивавшие оппозицию «простолудин» — «дворянин». Все это существенно упрощало механику социально-бытовых отношений.

Основные аватары советской эпохи также были распределены по сословиям, правда, эти сословия, возрастные или социальные, в соответствии с базовой аватарой были предельно идеологизированы. Например: октябренок, пионер,

комсомолец, коммунист. Или: трудящиеся, служащие, интеллигенция, партийные и государственные деятели. Механика общественного бытия была проста и понятна. Одновременно существовали корпоративные аватары: учитель, врач, журналист, инженер, но профессиональный контент их был тоже в значительной мере вторичным и почти полностью поглощался каноном базовой аватары: это были *советский* учитель, *советский* врач, *советский* журналист, *советский* инженер.

Более того, культура каждой эпохи создавала конкретные позитивные образы (персонифицированные аватары), которые демонстрировали — каким должен быть и как должен поступать представитель того или иного «сословия». И опять-таки наиболее показательна в этом смысле эпоха СССР, где подобные образцы создавались целенаправленно. В этом случае, как мы уже говорили, эталонный ряд выстраивается сам собой: пионер — Павлик Морозов, комсомолец — Павел Корчагин, коммунист — персонаж одноименного фильма. И вдобавок — великое множество персонажей других литературных, эстрадных и кинематографических произведений.

Совокупность персонифицированных аватар образывала нечто вроде языческого пантеона, где за каждую сферу жизни отвечало отдельное божество, к которому при необходимости следовало обращаться. Желая стать летчиком должен был походить на Валерия Чкалова, желающий стать космонавтом — на Юрия Гагарина, рабочий — на Алексея Стаханова, солдат на Александра Матросова или Николая Гастелло. Таким образом социальный пейзаж оказывался четко атрибутированным: любой член сообщества видел пути, предлагаемые данной национальной реальностью.

Следует заметить, что наличие внятной иерархии аватар — это признак сформированного и устойчивого сообщества. Сословные аватары продуцируют идентичность локальных организованностей, а базовая аватара интегрирует их в единое общественное бытие. Она является для них как бы «точкой омега», в том смысле, в каком употреблял этот термин Тейяр де Шарден в «Феномене человека». Сообщество тем самым обретает необходимую целостность, тоже персонифицируется и начинает существовать как реальный субъект.

Герои нашего времени, с анализа которых мы начинали статью, как представляется, являют собой художественную возгонку соответствующих аватар. Причем это касается не только персонажей литературы, таких как Андрей Болконский, Пьер Безухов, Родион Раскольников и т.д., но и реальных людей, являющихся фигурантами реальной истории. Александр Солженицын, академик А.Д.Сахаров, Анатолий Собчак, — образы (герои соответствующей эпохи), которые тоже создаются и существуют по законам искусства.

Главный вопрос, на который нам предстоит ответить, — это каковы герои современной России? Кто сейчас является кумирами россиян и какие сословные аватары структурируют нынешнее российское общество?

С первого взгляда понятно, что героев официальной культуры, носителей высоких жизнеутверждающих принципов в сознании россиян сейчас нет. Современная российская власть оказалась не в состоянии их создать. Видимо, потому, что высоких принципов, привлекательного социального идеала нет у самой нынешней власти. Она слишком озабочена проблемой личного обогащения.

Однако мировоззренческие пьедесталы не бывают пустыми. Если на них

нет настоящих героев, выражающих собою активный нравственный смысл, то они заполняются актуальными идеологическими суррогатами. Современная Россия — яркий тому пример. Социологический мониторинг последних лет показывает, что приоритетными сферами деятельности для россиян, в том числе для молодежи, вступающей в жизнь, являются государственная служба и бизнес.

Героями нашего времени стали чиновник и бизнесмен.

Это удивительный парадокс. Оба названных персонажа, несомненно, выглядят отрицательными в глазах большинства россиян¹. Ни о каких высоких принципах речи здесь не идет. Ни с какими метафизическими идеалами данные персонажи несовместимы. И чиновник, и бизнесмен руководствуются лишь двумя непреложными заповедями: «будь успешным» и «не попадись». Или иными словами: гребь, сколько можешь, но при этом соблюдай правила теневой социальной игры. Это не столько герои, сколько антигерои нашего времени, они не столько легитимизируют настоящее, сколько дискредитируют и разрушают его. Правильней было бы назвать их не героями, а функционерами: герой ради принципов, провозглашаемых им, готов пожертвовать жизнью, а функционеру такое и в голову не придет. Функционеры выражают собой идеалы безвременья. И вместе с тем именно они являются сейчас эталоном для многих молодых россиян.

Еще одну аватару того же категориального ряда формирует сейчас страта, условно обозначаемая социологами как «офисный планктон». Правда, выделить фенотипические черты, канон этой аватары практически невозможно, ибо фундаментальным качеством данной страты является как раз отсутствие каких-либо видимых черт. Представитель офисного планктона — это «человек без свойств», социальный призрак, эфемериды, растворяющаяся в окружающей ее профессиональной среде. «Бледная корпоративная немочь», как характеризуют данный класс журналисты.

Вот, пожалуй, и все нынешние «ссловные аватары». Никаких других хоть сколько-нибудь внятных конструктов в национальном самосознании россиян сейчас нет. Используя марксистский язык, можно сказать, что в этносоциальном пространстве современной России нет ни базиса (фундамента из словесно-этнических аватар), ни надстройки (идеологических сущностей, обозначаемых как «герои нашего времени»). Причем бедность социометрического пейзажа, вероятно, свидетельствует о том, что российское общество существует сейчас в транзитном, этнически-расплывчатом состоянии. Зрелые этнокультурные формы в России так и не образовались. «Сообщество россиян» представляет собой не нацию, а некий неопределенный материал, не имеющий внутренне согласованной экзистенциальной структуры. То есть в будущем, которое проступает уже сейчас, в этой области возможно возникновение самых разных конфигураций.

Данный факт подтверждается и отсутствием базовой аватары. Что собой представляет современный россиянин, не может сказать никто. Никто также не может сказать, каков его социокультурный канон — типовые поведенческие черты, в совокупности составляющие «российскость». Более того, анализ текущей национальной реальности практически однозначно указывает, что в нашей стране возникает сейчас отнюдь не российская, а сугубо русская идентичность,

¹ Заметим, что россияне положительно относятся к *предпринимателям* — представителям мелкого и среднего бизнеса. Негатив проявляется в основном по отношению именно к *бизнесменам* — представителям бизнеса крупного и олигархического.

и, соответственно, формируется не российская, а русская базовая аватара. Причем уже проступают ее основные характеристики. Это, во-первых, этническое православие: русский — значит обязательно православный, а не православный — значит уже не русский. И, во-вторых, это патриотический милитаризм, то есть патриотизм, понимаемый почти исключительно как военное дело¹. Гражданская, созидательная составляющая патриотизма обычно во внимание не принимается. Очевидно, что подобная аватара, если она действительно сформируется, станет деструктивным фактором в многонациональной стране.

С другой стороны, множество «настоящих героев» начинает сейчас выдвигать российская контркультура. Всех их, независимо от идеологической ориентации и конкретных фамилий, можно обозначить условным именем «Алексей Навальный». Масштаб их деятельности пока не слишком велик, также не слишком обширен поддерживающий их социальный сегмент. Все они провозглашают высокие принципы, весьма притягательные для большинства россиян: «борьба с коррупцией», «борьба против лжи», «борьба за честные выборы» и т.д., и все они, по крайней мере декларативно, готовы на жертвы ради претворения этих принципов в жизнь. Они вступают в неравный бой с властвующими «драконами», и уже одержали ряд ощутимых побед. Идеалы и жертвенность — вот критерии подлинности героя. Ни о «чиновнике», ни о «бизнесмене», ни тем более о представителях «офисного планктона» такого сказать нельзя.

Налицо явная мировоззренческая асимметрия. Героев, утверждающих реальность, в сознании российского общества сейчас нет. Наличествуют только антигерои. Зато герои, отвергающие реальность, видимо, подлинные герои нашего времени, возникают один за другим.

Мировоззренческая асимметрия — очень показательный признак. В конце XIX — начале XX века герои официальной культуры в России также отсутствовали. Тогдашняя царская власть оказалась не в состоянии их создать. В сознании российского общества, по крайней мере части его, в сознании деятельностного «пассионарного меньшинства» доминировали имена героев политической контркультуры — Андрей Желябов, Софья Перовская, Вера Засулич, а также почти забытые ныне эсеровские боевики — Иван Каляев, Егор Сазонов, Степан Балмашев.

Аналогичная ситуация сложилась и в СССР к началу 1980-х годов. Как ни пыталась тогдашняя советская власть создать официальных героев, например, из строителей БАМа, ей это не удалось. Однако имена Александра Солженицына и академика Сахарова знали «все».

В первом случае последовала Февральская революция, обрушившая царскую власть, во втором — перестройка, которая также революционным путем разрушила застойную социалистическую реальность.

Наверное, это закономерность.

Наверное, это диагноз, по которому можно классифицировать смену эпох.

И в самом общем виде звучит он так.

Реальность, которая не может создать поддерживающих ее героев, — это реальность мертвая, она исчерпала свой экзистенциальный ресурс. Власть, которая не может создать своих героев, — это мертвая власть, она не имеет серьезных жизненных перспектив.

¹ Подробнее о формировании в современной России русского национального государства см.: Столяров А. Новая земля и новое небо. // Дружба народов, № 4, 2014.

Диагноз, конечно, не слишком оптимистичный.

Однако других диагнозов у истории нет.

А теперь честно признаемся: вынося приговор нынешней российской власти, обвинив ее в отсутствии идеалов, которые были бы привлекательными для россиян, назвав ее «мертвой властью», сделав вывод, что у нее нет перспектив, мы несколько поторопились. События последнего времени (имеется в виду присоединение Крыма) вкупе с некоторыми высказываниями и действиями предшествующего десятилетия, показывают, что и привлекательные идеалы, и высокая цель у российской власти имеются.

Причем сформулировать их очень просто.

Это — обретение Россией статуса великой державы. И это — отчетливое геополитическое противостояние Западу, прежде всего — Европе и США.

Слегка поясним смысл этой доктрины. Под российской державностью понимается создание сильного в военном и экономическом отношении государства, с интересами которого вынуждены были бы считаться и постиндустриальный Запад, и индустриализирующийся Восток. Заметим, что ни о каких гражданских правах и свободах в этой доктрине речь не идет. Они в данном случае отходят на периферию. В свою очередь, под геополитическим противостоянием понимается то, что исторически Запад всегда был цивилизационным оппонентом России. Он всегда угрожал нашей стране — то в виде Наполеона, то в виде Гитлера, то в виде агрессивного блока НАТО. Примирение здесь невозможно: любую временную слабость России Запад использует, чтобы сокрушить и в дальнейшем поработить русский народ. Россиянам западные «ценности» ни к чему. У России — свой исторический путь, и она обязана его отстаивать.

Данные цели президент страны В.В.Путин обозначил еще в 2005 году, назвав распад Советского Союза «крупнейшей геополитической катастрофой <двадцатого> века», а затем подкрепил в Мюнхенской речи 2007 года, где было сказано о многополярности современного мира, о неприятии диктата какой-либо одной страны (под которой, естественно, подразумевались Соединенные Штаты) и об отстаивании Россией собственных интересов.

Это были не просто эффектные заявления. Провозглашалась идеология, которой Россия намеревалась руководствоваться в своей внутренней и внешней политике. Она произвела колоссальное впечатление на общественное сознание Запада. Многие аналитики заговорили тогда о возвращении ко временам холодной войны. Причем эти прогнозы овеществились даже скорее, чем можно было предполагать, когда Россия, воспользовавшись хаосом, возникшим на Украине, внезапно, в результате молниеносной акции присоединила Крым. Рубикон был перейден. Красная линия пересечена. Последовали осуждение «агрессора» и санкции против него. Новая фаза холодной войны между Россией и Западом стала реальностью.

Однако среди самих россиян идея державности нашла очень благодатную почву. Об этом можно судить, например, по электоральному пейзажу страны.

Произведем простые расчеты.

После снятия ограничений с регистрации политических партий их появилось в России великое множество. Глаз радовался цветущему многообразию.

Вместе с тем, всю эту декларативную пестроту можно легко свести в четыре больших идеологических репера.

Репер первый: «Державность и стабильность». Это репер президента, премьер-министра, «Единой России» и ее политических клонов.

Репер второй: «Державность и коммунизм». Это репер практически всех коммунистических и социалистических партий.

Репер третий: «Державность и русскость». Это репер всех русских националистических партий.

Репер четвертый: «Либерализм и свобода». Это репер всех партий, которые в той или иной мере отстаивают либеральные принципы социального бытия.

Причем и результаты выборов, и результаты независимых социологических исследований показывают, что за четвертый репер, то есть за либерализм, голосуют в лучшем случае 10 процентов от общего числа россиян. А 90 процентов активного электората выбирают державность, которая представляет собой эвфемизм имперскости. Даже в протестную зиму 2011 — 2012 годов на митинги и демонстрации выходили вовсе не либералы, а люди самых разных политических убеждений. Объединяло их лишь возмущение по поводу грубых и многочисленных нарушений в процессе выборов.

Это же подтверждают и социологические опросы по теме присоединения Крыма: одобряет данную акцию 91 процент россиян (против — лишь 5 процентов)¹. Показатель необычайно высокий. Если учесть, что собственно русских в России сейчас 81 процент, то получается, что «державность» стала наднациональным фактором идентичности — она объединяет всех россиян вне зависимости от их этнической принадлежности.

Примерно так же обстоит дело и с противостоянием Западу. Перестроечная эйфория насчет того, что теперь, когда советский тоталитаризм рухнул, «мы все будем дружить», очень быстро прошла. Число россиян, негативно относящихся к Западу, в течение истекшего периода устойчиво, хотя и неравномерно, росло и достигло в настоящее время пиковых величин: согласно опросу Левада-центра в марте 2014 года негативно относятся к США 61 процент, а к Европе 53 процента граждан России. Вряд ли этот уровень существенно снизится в ближайшие годы. Риторика открытой вражды, к которой во время «битвы за Украину» прибегали официальные представители обеих сторон, уже осела в подсознание россиян и еще долгое время будет акцентировать соответствующие стереотипы. Тем более, что и у державности, и у антизападничества в России существует отчетливая историческая основа. Можно даже считать, как полагают некоторые исследователи, что нынешняя российская идентичность является превращенной формой советской идеологической идентичности и что мировоззренческая мифология современного российского общества базируется в основном на ценностях позднесоветской эпохи, фундаментальными реперами которых были именно державность и противостояние Западу.

Во всяком случае, становится очевидным, что российская базовая аватара, образ современного россиянина формируется ныне на основе именно этих двух признаков.

Державность и антизападничество образовали устойчивый российский

¹ ФОМ и ВЦИОМ опубликовали официальные данные опросов россиян о присоединении Крыма. // Гражданские силы.ру. — <http://gr-sily.ru/news.html?id=8177>.

канон. А с ним сопряжен и выражающий данные качества идеологический персонификат.

Он вполне однозначен.

Подлинным героем нашего времени стал президент России В.В.Путин.

Может показаться, что здесь мы противоречим самим себе, поскольку ранее мы определяли героя нашего времени как человека, не занимающего никаких официальных постов, а как-никак В.В.Путин в настоящий момент является президентом страны.

В действительности противоречия нет.

В истории бывают периоды, когда нация (государство) находится в жестоком кризисе. Настоящее ее проблематично, будущее туманно, со всех сторон надвигается грозовой фронт угроз. Тогда в стране может появиться (или не появиться) лидер, благодаря усилиям которого (подлинным или мнимым) данный кризис оказывается преодоленным.

Такой лидер и становится героем своего времени.

В качестве примера можно привести генерала де Голля, породившего во Франции целую эпоху «голлизма», а также менее однозначных исторических лидеров — Наполеона (бонапартизм), Перона (перонизм), Франко (франкизм), Мао Цзэдуна (маоизм) или лидеров уже вовсе негативного профиля, таких как Сталин (сталинизм) или Гитлер (фашизм), которые общественным сознанием своих стран, тем не менее, признавались в свое время «героями». А многими признаются «героями» до сих пор.

Владимир Путин принадлежит к героям именно этого ряда. В сознании большинства россиян государственные заслуги его несомненны. Именно Владимир Путин выстроил в свое время жесткую властную вертикаль, предотвратившую, как считается, распад России, который был весьма вероятен после распада СССР. Именно в легислатуру нынешнего президента экономика России стабилизировалась, а затем начался ее бурный рост, благодаря чему мы теперь имеем вполне приемлемый уровень жизни. Именно при Владимире Путине Россия обрела ощутимый международный авторитет («встала с колен»), и с ней начали считаться лидирующие мировые державы. И наконец — как кремовые розочки на пирожном — сначала фантастическая победа российской команды на Олимпиаде в Сочи, чего, надо отметить, никто не ждал, а затем — не менее фантастическая операция по присоединению Крыма. Было продемонстрировано, к тому же у всех на глазах, что, во-первых, Россия способна осуществлять сложные мегапроекты и осуществлять их на высоком техническом уровне, а во-вторых, что Россия сохранила способность в критической ситуации мобилизовать все силы и вопреки всем препятствиям добиться успеха. И это тоже — несомненная заслуга Владимира Путина.

В результате последних событий рейтинг его взлетел на необыкновенную высоту. В апреле 2014 года действия российского президента одобряли 83 процента россиян¹. Ничто так не вдохновляет народ, как образ сильного лидера, творца национальных побед. И ничто так не консолидирует нацию, как образ врага, готового растерзать страну.

¹ Опрос: В верности решений Путина уверены 83 процента россиян. // Взгляд. — <http://www.vz.ru/news/2014/5/9/685982.html>.

По матрице, по антропологическому канону этого безусловного героя нашего времени и формируется сейчас новая российская аватара.

Причем не следует думать, что создание базовой аватары и, следовательно, формирование новой российской нации это некая конспирологическая технология, в тайне изобретенная нынешними политическими манипуляторами. Сознательное конструирование наций и этносов началось очень давно и не прекращалось практически в течение всей мировой истории. Собственно, когда Моисей, согласно преданию, сорок лет водил древнееврейский народ по пустыне, то это и было, говоря аналитическим языком, совершенно осознанное и целенаправленное этносоциальное проектирование. Было выделено определенное этническое сообщество: евреи, находящиеся в плену, далее оно было полностью изолировано от влияний других этнокультурных сообществ, затем была проведена возрастная селекция: ушли носители языческой, старой традиции и, наконец, на основе заповедей, принесенных пророком с горы Синай, на основе принципиально нового этнического канона был сформирован совершенно новый народ, который и вошел в землю обетованную.

Уже в наше время, в XX веке, были сконструированы такие новые нации как «советский народ», с очевидностью отличающийся от классических европейских и азиатских народов, или «израильтяне», которые тоже достаточно сильно отличались от диаспоральных евреев, или «кемалистские турки», выделенные из населения Османской империи, или «арийская раса» в Германии во время правления Гитлера.

Вообще, немцы — очень показательный случай быстрой и результативной этнокультурной трансформации. Всего за сто лет с середины XIX до середины XX века они прошли следующие этапы метаморфоза: Михель («картофельный немец», как немцев называли в тогдашней Европе) — бисмарковский немец (периода возникновения Германии как национального государства) — кайзеровский немец (периода Первой мировой войны) — арийский немец (периода фашизма) и наконец современный немец (примерно со второй половины XX века).

Такая же достаточно быстрая и целенаправленная трансформация была совершена американцами в 1960 — 1970-х годах: в это время был осуществлен переход от расового общества, основанного на аватаре WASP (белый, англосаксонец, протестант), к мультикультуральному обществу, предполагающему равенство всех этносов и культур. Правда, заметим, что это потребовало трансформации политического мировоззрения: одновременно был совершен переход от классической демократии, защищающей интересы преобладающего большинства, к демократии либеральной, которая отстаивает в том числе и интересы меньшинств.

То есть сознательное конструирование аватары, персонифицированного эталона сообщества, который далее начинает работать как аттрактор идентификации, и связанное с этим конструирование нового этноса (новой нации) вполне возможно и занимает не такое уж долгое время.

Представляется весьма вероятным, что при использовании нынешних, чрезвычайно мощных медийных ресурсов новая российская нация будет по основным параметрам сформирована уже в течение ближайших нескольких лет.

Попробуем суммировать сказанное, выведя для этого материал в результирующий формат.

Генерал де Голль в свое время заметил, что глава французского государства должен олицетворять собой «некую идею о Франции», иначе он не сможет быть подлинным лидером нации. У самого де Голля последовательно были две таких «французских идеи». Прежде всего — освобождение Франции от фашистской оккупации в период Второй мировой войны. А затем — превращение Франции из империи в национальное государство. Придя в 1958 году к власти с лозунгом «Алжир останется французским», он сумел переломить и в стране, и в самом себе этот психологический тренд и тем самым избавил Францию от трагических и разорительных колониальных войн.

В этом смысле президент В. В. Путин, олицетворяя собой идею державности, историческую и архетипическую идею России, привлекательную для большинства россиян, тоже, безусловно, является лидером нации или — в терминологии данной статьи — несомненным «героем нашего времени». Герои, создаваемые нынешней контркультурой («обобщенный Навальный»), проигрывают ему по всем параметрам.

Вместе с тем одна и та же идея, сколь бы давней и устоявшейся она ни была, может быть выражена в разных проектных координатах и, соответственно, порождать различные политические и социальные практики.

Культурологи уже давно говорят о двух типах сознания в психологическом пространстве любой нации. Это *традиционное сознание*, сознание историческое, складывавшееся на протяжении многих веков, и *сознание модернизированное*, сознание Нового времени, которое иногда называют сознанием инновационным. Данный вопрос подробно исследован в превосходной книге И. Г. Яковенко «Познание России: цивилизационный анализ», и потому, отсылая читателя к ней, мы изложим только необходимую суть.

Разница двух этих типов сознания принципиальная.

Традиционное сознание ориентировано в основном на прошлое. Критерием здесь является соответствие национальной традиции: все, что этой традиции соответствует, объявляется истинным, выражающим «заветы отцов», а все, что не соответствует ей, — ложным и даже опасным для нации. Более того, отклонения от традиции рассматриваются данным сознанием как воплощение зла, а в религиозных, например, православных, координатах — как порождение дьявола, искушающего души людей. Именно этим, кстати, объясняется устойчиво негативное отношение россиян к Западу. Находясь на протяжении значительной части своей истории в ситуации догоняющего развития, Россия большое количество инноваций, особенно политических, социальных, но также культурных и бытовых, импортировала из Европы, и потому Европа (Запад вообще) представляла в сознании традиционно мыслящих россиян как inferнальное зло.

Модернизированное сознание, напротив, ориентировано в основном на будущее. Критерием истинности здесь является не традиция, а новизна. Только она придает явлению или событию основной сущностный смысл¹. Все новое

¹ Виролайнен М. Н. Культурный герой Нового времени. // Виролайнен М. Н. Речь и молчание: Сюжеты и мифы русской словесности. — СПб.: 2003. С. 116.

полагается нужным и позитивным, а все прежнее — архаическим, мешающим жить и подлежащим вытеснению в небытие.

В рамках сознания традиционного обычно реализуются экстенсивные модели развития. Это понятно: оно стремится воспроизвести привычный круговорот вещей. И потому в советское время, например, гордились не качеством произведенной продукции, а обезличенными миллионами штук, единиц, тонн и пудов, по тиражированию которых СССР был одним из мировых лидеров. Модернизированное сознание, в свою очередь, склонно к интенсивным моделям развития — здесь непрерывно идет борьба за уменьшение сырьевых и операционных издержек, борьба за повышение качества — в том числе политических и социальных структур.

Множество очевидных фактов свидетельствует о том, что в России сейчас утверждается сознание традиционного типа. Это и автократическая система власти («суверенная демократия»), свойственная именно традиционным сообществам, это и ортодоксальное православие, стремящееся поставить любое проявление мысли под «духовный контроль», это и экстенсивная, в целом доиндустриальная, модель экономики, ориентированная не столько на вертикальный прогресс, сколько на механическое расширение добычи сырья.

Державная идея, которую реализует сейчас «герой нашего времени», также сформирована в системе традиционных координат: сильное в военном отношении государство, утверждающее себя через геополитическую экспансию.

Заметим, что эксцессы традиционного сознания наличествуют и в Европе. В частности, Европейский союз, как только представилась соответствующая возможность, тоже осуществил поспешное «территориальное расширение», приняв в свой состав ряд бывших социалистических стран, за что и расплачивается теперь экономическим кризисом. Однако для Европы это только эксцесс, а для России — доминирующая реальность. И очень отчетливо проступает она в высказываниях российского президента, назвавшего всех несогласных с ним «национал-предателями» и «пятой колонной». Это тоже — показательный вокабуляр. В сознании традиционного типа «иной» (в данном случае — несогласный) рассматривается не как «другой», а преимущественно — как «чужой». Граница между этими статусами непреодолима: с «другим» договариваться и сотрудничать можно, а с «чужим» какое-либо сотрудничество и договоренности исключены. «Чужой» — это всегда враг, «воплощенное зло», представитель «демонических сил», стремящихся к разрушению. Само появление в традиционном пространстве «чужих» — сигнал об опасности.

Таковы, как нам представляется, основные параметры «героя нашего времени». И таковы основные параметры формирующейся по лекалам его современной нации россиян.

Возможно, это закономерный процесс. Согласно исследованию И.Г.Яковенко, в российской реальности устойчиво воспроизводится ментальный и социальный синкретизм — некая целостность представлений, почти не поддающихся трансформации. «Православие, Просвещение, коммунизм, либерализм входят в российскую реальность, проходят сквозь нее и безболезненно отпадают, не изменив базовых характеристик исходного космоса. В России не умирает никакая архаика. Она скорее оттесняется на периферию, уходит в поры

общества, становится комплиментарной, нежели изживается и уходит напрочь. Ничто не умирает до конца, и именно поэтому никак не может родиться новое качество»¹.

Исходя из этого, можно считать, что не столько «герой нашего времени» формирует сейчас сознание россиян, сколько синкретическая неизменная сущность России сформировала «героя нашего времени».

Нынешняя российская ситуация — это историческая неизбежность.

Против синкретизиса не пойдешь.

Однако заметим, что даже неизменное синкретическое ядро может быть по-разному акцентировано. Державность, например, может быть воплощена как в экстенсивной стратегии имперского расширения, опирающейся, в свою очередь, на экстенсивную сырьевую модель, так и в интенсивной стратегии опережающего экономического развития, направляющего движение нации не вширь, а вверх. Примером здесь может служить Япония, сумевшая, правда лишь после разгрома во Второй мировой войне, преобразовать архаическую имперскую энергетику в современный прогресс.

Россия вполне может идти данным путем.

Правда, для этого ей потребуются совсем другие «герои».

¹ Яковенко И. Г. Познание России: цивилизационный анализ. М.: 2012. С. 614.

Ольга Балла

Звероуловлен буду

События нового романа Алексея Варламова уместились в три переломных года русской истории: с 1914-го до 1917-го. От последнего предвоенного лета до прихода к власти большевиков. Далее разверзается бездна, заглядывать в которую автор уже не отваживается. Он прерывает повествование на самом ее краю, но всеми доступными ему средствами дает читателю почувствовать: за краем — мрак, и этот мрак — не столько даже социального (социальное для него, в конечном счете, глубоко вторично), сколько метафизического порядка. «Мысленный волк» — роман о борьбе света и тьмы — и о победе тьмы.

Книга — даже не столько анализ причин, по которым эта последняя оказалась сильнее и восторжествовала, сколько хроника этого торжества и духовная, душевная, эмоциональная его физиология. Поэтапная история падения людей в объятия тьмы — вполне добровольного, а не только потому, что их втягивало, — хотя да, втягивало, и весьма активно. Втягивались все они прежде всего потому, что сами были искренне рады обманываться. Варламов детально, в убедительных внутренних монологах, показывает, как русскими душами и русской жизнью завладевали — именно

изнутри — бесовские силы. «Мысленный волк» — это они.

«Никто не знает, когда и где зародился мысленный волк, из каких пропастей и бездн небытия возник зверь, способный принимать любые обличья и пробираться внутрь человеческого существа. Иные из святых отцов полагали, что мысленный волк и есть сатана, другие считали его порождением дьявола и блудницы, третьи распознавали в нем одного из самых темных, злобных и лстивых духов, но каждый благочестивый сын Церкви читал в последовании ко Святому причащению молитву, составленную святителем Иоанном Златоустом: *да не на мнозе удайся общения Твоего, от мысленного волка звероуловлен буду*. Однако не каждому древняя молитва помогала, не все умели быть чистыми в своих помыслах, ее творя.» Получается, что из героев книги никому (почти никому?) это и не удалось, да не каждый и старался: все многообразие представленных в романе лиц — это разнообразие путей к падению. Причем тут есть узкие персональные тропки, которыми бредут к своим тупикам в одиночестве — и есть широкие торные пути, которые прокладываются влиятельными людьми для многих.

В пределах одного ветвящегося сюжета, как под крышей одного дома, в котором — как и на одном уровне значимости в глазах современников — они при жизни, по всей вероятности,

никогда бы не сошлись, Варламов сводит персонажей, важных, может быть, не столько для русской истории, мысли, слова и чувства (то есть да, важных, но в чрезвычайно разной степени) — сколько, надо полагать, прежде всего для него самого, для собственного его понимания того, что происходило тогда в России: Михаила Пришвина, Александра Грина, Василия Розанова, Григория Распутина. Ряд неровный, да, и способный показаться едва мотивированным, если не знать, что все это (за исключением Розанова) — те, о ком Варламов писал вполне документальные биографии для книжной серии «Жизнь замечательных людей». Художественный текст, понятно, дает возможности высказаться о каждом из них куда полнее и разнообразнее, включая не только бывшее, но и предполагаемое, домысливаемое и несбывшееся. Видимо, потому ни один из этих исторически существовавших людей не называется собственным именем — каждому подобрана своя форма криптономии (чем определяется выбор формы в каждом из случаев — читателю остается только догадываться: степенью ли соответствия биографических обстоятельств героя и прототипа? чистым ли авторским произволом?). Грин обозначен полупрозрачным криптонимом (Савелий Круд), в котором угадывается имя героя — летающего человека Друда из «Блистающего мира». Распутин обходится без всякого имени вообще — к нему, зато совершенно недвусмысленно, отсылают лишь намеки, вроде упоминаний в газетах о «распутнице» и «распутстве». Кстати, именно ему среди всех исторических персонажей отдается наибольшая авторская симпатия — вплоть едва ли не до сочувствия и любования. (Впору даже сказать, что, при всем заметном стремлении Варламова избегать черно-белых красок, этот безымянный Распу-

тин из всех исторических персонажей — едва ли не единственный положительный.) И только Розанову оставлены первая и последняя буква его подлинной фамилии: Р-в. (Еще один герой Варламова из серии «ЖЗЛ», Алексей Толстой, места среди главных персонажей не удостоился и мелькает несколько раз на втором плане — зато под собственным именем, хотя и в облике довольно карикатурном: «В эту историю тотчас же влез граф Алексей Толстой, который совал свой могучий нос во все дырки, но графа в палату не приняли: сказали, что у него чересчур большие ноги, сомнительное происхождение да не получившая развода у прежнего мужа жена-еврейка. Граф жестоко обиделся на столичных жидоедов и уехал в Коктебель, где перепортил в отместку всю писательскую деревню».)

И совсем особая история — с Пришвиным, которому досталось имя, не просто никак не напоминающее его собственное: Павел Матвеевич Легкобытов. Это имя в буквальном смысле чужое: принадлежавшее совсем другому, известному и влиятельному в свое время человеку.

Его тоже звали Павлом — правда, Михайловичем. Более того, «исторический» Пришвин был с «историческим» Легкобытовым даже знаком: то был соратник и соперник Алексея Щетинина (также попавшего в роман под именем «Щетинкин»), основателя хлыстовской общины чемреков (у Варламова — «чевреков»). Сместив Щетинина с лидерских позиций в общине, «исторический» Легкобытов создал, в основном из прежних ее членов, новую секту, названную им «Начало века». Эту-то секту тесно общавшийся с ее членами «исторический» Пришвин считал «самой интересной во всем свете» (подумывал даже, не перейти ли в нее) и несколько лет писал о ней и связан-

ных с нею событиях повесть с тем же, что и у секты, названием — «Начало века», где Легкобытов описан под собственной фамилией, — правда, так ее и не закончил.

Впрочем, варламовскому герою от «сильного человека земли» (так называл настоящий Пришвин настоящего Легкобытова) досталось только имя — и ни единого из содержаний, включая духовные искания и их биографические формы (настоящий Легкобытов в свое время бросил работу и семью, чтобы скитаться по свету в поисках истинного бога). Взяв это имя и пересадив его на биографическую почву писателя, Варламов получил — при множестве сразу узнаваемых пришвинских черт — человека, на Пришвина если и похожего, то разве так, как похожа карикатура на портрет. Этот соименник капитана хлыстовского корабля вышел фигурой, грубовато составленной из едва стыкующихся между собою черт и душевных движений, обломков света и тьмы, соединяемых не слишком исследуемой логикой. Назначенный было в диалогическую пару второму ведущему персонажу романа, Василию Комиссарову, в диалогический ему противовес, этот персонаж своей тематической линии не выдерживает — тем более, что она не слишком и обозначена. Как, впрочем, и у призванного оттенять его, спорить с ним Комиссарова.

Та или иная степень карикатурности и грубости есть чуть ли не в каждом персонаже романа — кроме одного. Точнее, одной. И о ней надо говорить особо. Это — девочка Уля, дочь Комиссарова, задуманная и «зачувствованная» явно интереснее, чем она оказалась в результате осуществлена. И того еще более: при том, что она — самый центральный персонаж повествования, в чем ее собственный смысл — остается неясным.

Да, она — единственная, в чем облике ни единого раза, на протяжении всего романа, не мелькнет ни единая шаржированная или огрубленная черта. Уля выписана тончайшей кистью, нежнейшими красками (что лишний раз подтверждает ее важность для автора). Более того: при всей ее несомненной сложности и слабости она, кажется, — единственная, к кому не пристает тьма, пронизывающая ткань романа. Она может пугать Улю, прямо ей угрожать, но собственной ее душой она, похоже, не задевает ни разу (хотя обманываться, в полном соответствии с духом своего времени, рада и эта не слишком обремененная критическим умом девушка: ее захватывает и патриотический угар первых дней войны, и революционная эйфория февраля 1917-го). И еще того более, из всех, способных погубить ее, ситуаций Уля чудесным образом спасается — из всех, включая самую последнюю, когда никакое спасение, казалось бы, уже немислимо. Ее, изнасилованную солдатами и готовую броситься с крыши, уводит от самоубийства внезапно появившаяся — на этой крыше — «нищенка» (уж не мать ли, оставившая Улю в раннем детстве? «Пойдем, — говорит она, — отсюда, доченька, пойдем»). Уводит, по всей вероятности, прочь из русской истории — в иной, лучший мир, из которого и пришла.

Судя по тому, что роман и начинается с Ули, и ею же, неожиданно и едва мотивированно, истерзанной и почти уничтоженной, он и обрывается (именно обрывается — ни одна из начатых в романе сюжетных, биографических линий не доведена до чего-то, что может быть уверенно сочтено логическим завершением), вообще, по пристальности, подробности и постоянству внимания к ней — с этой героиней у Варламова, кажется, были связаны какие-то важные и сильные интуиции.

«Больше всего на свете Уля любила ночное небо и сильный в нем ветер. В ветренном черном пространстве она во сне бежала, легко отталкиваясь ногами от травы, без усталости и не сбивая дыхания, но не потому, что в те минуты росла — она невысокая была и телосложением хрупкая, — а потому что умела бежать, — что-то происходило с тонким девичьим телом, отчего оно отрывалось от земли, и Уля физически этот полубег-полуполет ощущала и переход к нему кожей запоминала, когда из яви в сон не проваливалась, но разгонялась, взмывала, и воздух несколько мгновений держал ее, как вода. А бежала она до тех пор, пока сон не истончался и ее не охватывал ужас, что она споткнется, упадет и никогда больше бежать не сможет.» С первых же строк понятно, что это — героиня необычная и обещающая очень много.

Сюжет, как уже было сказано, ветвящийся — но у него есть внятный, ясно прослеживаемый ствол, и ствол этот — история Улиного взросления, пришедшегося как раз на описанные в романе годы, и даже с корнями — Улиными биографическими корнями: ее младенчеством и ранним детством. Все остальные герои романа то появляются, то исчезнут, то выйдут на передний план, то отодвинутся на далекую периферию — а Уля присутствует всегда.

Однако парадоксальным образом именно она, явно предназначенная быть проводником чего-то существенного, оказывается лишена собственных содержаний; а обещание ее необычности, открываемых ею возможностей так и остается неисполненным. Она прозрачна. Варламов поочередно подносит ее, как увеличительное стекло, как прояснитель, к тому или иному из персонажей книги — и тот на время выступает из тьмы, раскрывается, как может, во взаимодействиях с Улей, — а потом автор вдруг это стеклышко убирает, и

выхваченный было из тьмы снова отступает туда — и растворяется там. Так растворился сам Григорий Распутин, живее всего показанный именно тогда, когда с ним общалась Уля. Так откатился в темноту Улин любимый мальчик, пасынок Легкобытова Алёша, в начале повествования выписанный очень подробно — далее, по мере того, как присутствие его в романе сворачивается, личностные его черты комкаются, сводятся к нескольким знаковым деталям — и, наконец, вовсе к одной: к «густым ресницам» — ими напоследок махнет из тьмы один из мучителей Ули, из насильовавших ее в «невской тюрьме» солдат, который отнимет у нее волшебный сапфир-талисман, подарок Савелия Круда. Так на глазах наливается тьмой даже Улин отец, Василий Христофорович Комиссаров, вышедший волею обстоятельств из небольшого круга Улиного света. В начале книги персонаж вроде бы внятный, рациональный, реалистически-основательный, с обозримым комплексом душевных и телесных особенностей и даже в своем роде симпатичный, механик, чувствующий и любящий механизмы, как живые существа, к концу он превращается в начальника тюрьмы — в часть большевистской смертоносной машины, в слепое чудовище, неведомо для себя становящееся причиной гибели собственной дочери.

Любопытно (и надо еще думать над тем, в какой мере это — умысел), что — при всей убедительности и точности того, как показаны внутренние движения и события героев — психологичность романа обманчива. Вернее, она указывает на что-то совсем другое. Ничего похожего на устойчивые характеры, системы свойств и мотивов здесь нет и в помине — любой человек может обернуться каким угодно (самой собой остается разве что прозрачная Уля, и то благодаря тому, что

собственных черт, кроме узнаваемых внешних — веснушчатости — у нее и нет). От Легкобытова бросает то в жар, то в холод; то же и от Улиной мачехи, Веры Константиновны. Люди здесь текучи и непредсказуемы. Уже начинаешь представлять себе героя, едва ли не отождествляться с ним — как вдруг оказывается, что это лицо вовсе не такое уж лицо, — скорее, одна из временно надетых масок, которая вскоре будет снята и заменена другой, столь же непрочной. Вполне допускаю, что эта особенность показанного в романе мира — сама по себе продуманное метафизическое высказывание.

Тем более, что обманчива реалистичность этого текста вообще. Через непрочную, зыбкую ткань вполне, вроде бы, реалистично прописанной повседневности то менее, то более заметно просвечивает иной мир. Иногда — в критические моменты жизни героев — он вторгается в посюстороннюю реальность и распоряжается их жизнями властно, непредвиденно и по собственному усмотрению. Вторгается грубо, прямолинейно и декларативно, превращая текст в прямую проповедь, едва ли не в лубок-агитку (и это при том, что Варламов вообще мастер тонкого, чуткого текста, умеющий говорить разными голосами, воссоздавать интонации других времен и культурных состояний). По счастью, таких участков в романе не очень много, зато один из них — в самом конце (когда изнасилованная и готовая умереть Уля вдруг видит не что-нибудь, а возносящийся над городом крест — и ищущий ее гибели сатанинский волк рычит, скалится, но отступает).

Все это, думается, потому, что «Мысленный волк» — лишь по видимости роман. По существу, это — выговоренная в художественной форме персональная историософия Алексея Варламова. Теолого-историософский, исто-

риософско-теологический трактат: попытка высказаться о духовных и метафизических корнях русской истории — да, пожалуй, в некоторой степени и о том, как вообще устроен мир. Романную, образную форму рассуждения об этих предметах автор всего лишь избрал как, видимо, наиболее для себя удобную — как гораздо более, чем теоретическое рассуждение, богатую возможностями и чуткую к подробностям авторского замысла и воображения. Уже отмеченные рецензентами «роковые страсти», раздирающие героев, «любовные треугольники» и прочие драматичные биографические обстоятельства многочисленных, с весьма разной степенью подробности описанных персонажей этого довольно густонаселенного текста — не более, чем инструменты историософствования. Не в любви и не в страстях тут дело — но в том, что процарапывается сквозь их непрочную ткань, что использует их, чтобы осуществиться.

Историософская мысль автора — в том, что прекрасную, чистую, святую Русь погубили занесенные извне и без всякой критичности воспринятые тлетворные силы.

«Ах, если бы запретил государь своим повелением Нитща! Не было б тогда смуты пятого года, не надо было бы Думу бездельную учреждать, свободу никому не нужную давать — все ведь, все это от тевтонца пошло, а сколько всего еще будет. Теперешнее — это только начало. Безумцы, безумцы, самоубийцы, тати в своем доме, разорители семей, растлители дочерей и детоубийцы — вот вы кто. Никакому злодею, вору и душегубу, никакому ненавистнику России не удалось так глубоко пролиться ядом в русское сознание, увлечь своим безумством и подготовить плацдарм, на который высадился из мертвой головы Федерико Нитща, вылез из черепа безумного

тевтонца через пустые глазницы, уши, ноздри и рот зверь, умевший одновременно быть особью и стаей, сжиматься до размера микроба и возрастать до бегемота, самый страшный завоеватель, который когда-либо приходил на русскую землю, — вылез и замер от восхищения.

Она лежала перед ним — фантастическая, огромная, богатая, прекрасная и беззащитная страна. Он видел ее всю, все ее города, храмы, изгороди, плетни, фонари, ее бедные избы и пышные дворцы, ее огромные реки, озера и поля, ее ключи, тайники, гнезда, болота и ягодные места, и на какое-то мгновение ему даже сделалось жал-

ко ее. Но это была та жалость, что лишь усиливала в звере похоть, и с алчностью, какую он не испытывал прежде нигде и никогда, со всем скопившимся в его существе сладострастием, какое человеку не снилось, мысленный волк вцепился в Россию и стал рвать ее на куски.»

Так рассуждает один из героев — Василий Комиссаров, — персонаж, которому вроде бы и доверять особенно не стоит, судя по тому, в какое чудовище он превратился к концу романа. Автор не добавляет к этой мысли — и не противопоставляет ей — практически ничего.

Елена Сафронова

Одеяло, нож, ласточка

Новая книга стихов Вадима Муратханова называется «Узбекские слова», а входят в нее стихи на русском языке. Содержание книги — качественный, литературный русский текст — контрастирует с названием слишком явно, чтобы оказаться случайным. Загадка? Кокетство? Или безыскусное следование за контентом: центральное место в подборке авторских стихов Вадима Муратханова (помимо них в сборник входят и тексты поэтических

переводов) занимает цикл «Узбекские слова» (с посвящением «памяти Юсупхана Муратханова»).

Узбекские слова — какие они? Спроси любого читателя, пожалуй, ответит согласно первой ассоциации: красочные, яркие, радостные, кричащие и праздничные, как восточный базар! Не так ли воспринимается нами узбекское слово «дастархан», которым и Вадим Муратханов оперирует?

Однако «узбекские слова» Муратханова совсем не таковы. Это восемь слов — *курпача, боорсок, пул, батыр, сув, пичок, асир, айвон* — служащих заглавиями стихотворений. Из этих

Вадим Муратханов. Узбекские слова. Стихи и переводы / Литературный клуб «Классики XXI века». — М., 2013.

нейтральных слов, как из кирпичиков, выстраивается принципиально обратное «восточному празднику» настроение.

К некоторым из узбекских слов тут же, в заголовках, даны переводы: одеяло, деньги, вода, узник, терраса. «Боорсок» и «батыр» остались без разъяснения — видимо, автор считает, что нет смысла «разжевывать» их читателям, и так все их значения знают. На мой взгляд, задумка Вадима Муратханова для «Узбекских слов» сложнее, чем дать «колоритное» восточное слово с переводом. Если это и переводы, то не текста, а целого поэтического мировоззрения — если не самой жизни, как бы не казалось банально такое определение:

Курпача (Одеяло)

Толстая гармошка,
свернувшаяся до потолка,
научи меня небу.
Подними меня выше крыши,
выше груши, урюка и одноглазой телевышки,
откуда можно всех пересчитать.

Пул (Деньги)

Дедушка хрипло откашливается,
отрывает голову от подушки.
«Фахриддин, — зовёт он младшего внука
именем старшего, —
вот деньги, сходи на базар, купи мяса».

«Здесь слишком мало, —
кричит Рустам в мохнатое ухо, —
мясо стоит пять тысяч».

«Э, нет, не обманешь», —
дедушка пальцем грозит...

Батыр

Горел. Два раза был порезан.
Ходил с простреленной рукой. И говорят, на нём
немало тёмных дел.

Вечерами на бревне от старого тутовника
сутулятся, усталый и больной.
Интересно, помнит он
про нашу детскую драку?

Это стихотворения из серии «остановись, мгновение» — внешне лаконичные, но скрывающие за своей краткостью бездны: как и в каждом жизненном мгновении, сколь бы «проходным» нам оно ни казалось, заключен глобальный смысл бытия, заключено мгновенное изменение целого мира. Насколько трагичным и неправым может быть это изменение, Вадим Муратханов запечатлел в стихотворении «Пичок (Нож)», подчеркнуто лишенном эмоциональности:

Махмуд сидит на корточках,
держится за бок,
десяти шагов не дойдя до дома.
Будто снова, как в детстве,
сел покурить с друзьями,
пока мать занята лепёшками.
Только б не вышла —
опасливый взгляд на ворота.

Странно: лезвие входит совсем ненадолго
в недоступный внутренний воздух.
Но мяч уже не скачет,
и вмятина от удара
исчезает не сразу.
Воздух внутри всё больше похож
на тот, что снаружи.

И даже стихотворение со смачным названием «боорсок» (кстати, я только в ходе работы над рецензией узнала, что это род пончиков из кислого теста, жаренных в жире), где якобы описывается пиршество — «дастархан» — на деле не праздничное:

Солнце плавит стекло портрета.
Красным карандашом обведена дата
в календаре 1976 года.
день, когда с неба падали боорсоки.

Возможно, ключом к пониманию — не рассудочному, а интуитивному, эмоциональному — цикла «Узбекские слова» служит посвящение. Цикл «поминальный», он — точно письма на тот свет, точно зарисовки, которыми поэт хочет «обогреть», ободрить одинокую душу. Но разлука его с адресатом, над которой человек не властен, диктует

особый смысл и тон этих «весточек». Для поэта они имеют метафизическое значение: не зря в стихотворении «Ни вина, ни гурий не надо...», не входящем в этот цикл, он признается:

Но чем дольше из памяти рву
детства выгоревшую траву,
тем сильнее боюсь подмены
и большее жить наяву.

Однако, при всей элегичности, порой скорбности, местами трагичности «Узбекских слов», они создают у читателя не только сочувственное настроение. Я бы сформулировала чувство, зарождающееся при прочтении этих стихов, с помощью культового для русской поэзии образа — «печаль моя светла» (а Муратханов, похоже, обозначает подобное ощущение как «смирение сухое»). Ему *больно* жить наяву, потому он живет в мире условной реальности — эта реальность художественно усовершенствована относительно материального пространства.

Рядом с естественной человеческой эмпатией, болью от чужой боли, после чтения «Узбекских слов» неизменно возникает эстетическая радость от упоения текстом, где все слова гармоничны, точны, стоят на своих местах, и невозможно представить их в другой последовательности, в обратном порядке, в иной тональности. Вадим Муратханов постоянно демонстрирует исключительную чуткость к слову — посмотрите, как он рисует последствия мельчайшего бытового происшествия — случайно сбито ласточкино гнездо с потолка — в стихотворении «Айвон (Терраса)»:

Не с того ли всё началось?
Что-то стало не так.
Что-то больше не даст
приподняться на цыпочки
и взглянуть сквозь узкое отверстие
на покатое дно, покрытое пухом,
нежным помётом и сухими
комочками глины.

Точно в знаменитом рассказе Рея Брэдбери «И грянул гром», где раздавленная в далеком прошлом бабочка породила такой «детерминированный хаос», что в настоящем изменился язык, правительство и структура власти, оброненное — и тут же приклеенное назад обрывком клеенки! — ласточкино гнездо деформирует окружающий мир, а поэт даже бессилён описать масштаб изменений — и беспомощно разводит руками: «Что-то стало не так».

Вадим Муратханов не из тех поэтов, кого можно назвать «оптимистами», тем паче «трибунами». «Громогласье», фонтан эмоций, наслаждение бытием, проявления бурной радости, конкретные высказывания, лобовые утверждения — не для него. Тут напрашивается иной эмоциональный ряд, иной круг сравнений: пастельная гамма, минорный лад, сумеречный час, даже мистический «параллельный мир», либо обиталище бестелесных душ — порой упомянутые настолько определённы, насколько вообще этому автору свойственна определённость и «прямые линии»:

Вывернут сегодня наизнанку
внутренний зелёный мир.
Не друзья ли детства спозаранку
шелестят, не ведая квартир?

Я достигну градуса покоя,
Буду молчаливее на треть.
Гаснет день и умирает стоя,
не переставая шелестеть.

Пока вы не отвыкли от дыхания
и речи близких в памяти свежи,
нет ни души вокруг. Киномеханик
бесплатно крутит прожитую жизнь.

Вот входите вы с робостью ребёнка
в пустынный зал на сорок мест.
Стрекочет и потрескивает плёнка,
пока смотреть не надоест.

Но в этих пределах настроения, интонации и веры — размытых, расплывчатых, точно детали осеннего пейзажа

в стихотворении «Долго на осень глядя в окно...» — «точкой неясной, рыжим листочком» — Муратханов остается при-
вержен четкости поэтического слога:

Здесь минус двадцать пять на солнце — потому,
должно быть, мне так просто одному,
хрустя кристаллами застывшей боли,
пересекать заснеженное поле.

Словно в космос, из временного уюта
пассажир шагнёт — не вернешь обратно.
Ты один доживёшь до конца маршрута
за ту же плату.

Тесный сруб не меня ли ждёт
на краю лакированных вод?
Там сосна переходит дорогу,
и всё длится её переход.

Ту же точность выражений, кажется, идеально соответствующих интонации и содержанию текста, сохраняют переводы Вадима Муратханова, которым отведен второй раздел книги. Кстати, этот раздел «по-своему» отвечает на вопрос, почему книга называется «Узбекские слова». По чести признаться, имена большинства поэтов, чьи стихи перевел Муратханов, не были мне известны: Абдулла Арипов, Алиджан Сафаров, Бабур Бобомурод, Турсунбай Адашбаев, Ахмад Ташходжаев, Белги, Фахриёр, Хуршид Даврон, Кутлибека Рахимбаева, Рауф Парфи и Вафо Файзуллах. Но подстрочников в книге нет — только русский перевод. Переводы узбекских поэтов Вадима Муратханова в очередной раз делают понятной, даже очевидной простую истину, что у просвещенного человечества, на деле, несмотря на разность этносов и культур, один и тот же язык — язык *межчеловеческих* отношений, соответствующих нравственному кодексу.

Разве нуждаются в каком-то дополнительном истолковании, например, строки Абдуллы Арипова (хотя в нашем обиходе связано с падающей звездой другое поверье)?

Сорвётся в небе ночном звезда —
К кому-то день не придёт уже.
И отзовётся чужая беда
Лёгкой печалью у нас в душе.

Порой мне случается в поздний час
Внезапно о матери вспоминать.
И кажется: небо должно упасть,
Когда умирает мать.

Или ночная «жанровая сценка» Турсунбая Адашбаева:

Уснул кишлак. Блестит луна,
Как чашка медная, над ним.
И песню на один мотив
Поёт ручей, неутомим.

А за оградой козёл
Жуёт во сне, но сон глубок.
Закир-ака домой пришёл
Подвыпив — спит без задних ног.

Бехзод храпит — как говорит:
«Пилким пыр-пыр» — вот это да!
И дедушка мой спит, и вверх,
На небо смотрит борода.

Узбекской поэзии свойственно не только традиционное стихосложение, но различные авангардные искания, в том числе верлибры. Переводу всех этих опытов Вадим Муратханов воздаёт должное. В собственном творчестве он «амбидекстр»: одинаково легко слагает и силлабо-тонические стихи, и дольники, и верлибры — впрочем, может быть, эта легкость лишь мерещится? Ведь видишь, как правило, не процесс работы, а результат, кажущийся итогом счастливого вдохновения или вообще волшебства...

И все же к переводам Муратханова так и тянет отнести слово «легкость». Легкое дыхание стиха — почему бы и нет? Легко слагается, скажем, на русском языке символистская картина мира Белги, закольцованная в таинственное рондо:

одиноким лампы колеблется свет
в чёрных волнах теряя дрожащий след

вырастает корабль в ночи горой
 странный мир вокруг нет не станет мной
 <...>

или галька звёздам вверяет боль
 нет всего лишь звуки в ночи бог с тобой

одиноким лампы колеблется свет
 в чёрных волнах теряя дрожащий след...

Легко — по контрасту — звучит
 «тяжесть пустых рук» у Фахриёра. Лег-
 ки даже чеканные белые стихи Хурши-
 да Даврона:

Бродить по городу в вечерний снегопад,
 из света в тень, в карманах грея пальцы,

из тени в свет, чтоб на губах
 снежинки таяли.

...Кому-нибудь дорогу уступить,
 кого-то поприветствовать — и тут же
 забыть о нём. Пусть только снег идёт,
 чтоб заблудился ты — и не заметил.

Неожиданный вывод напрашивается,
 когда закрываешь последнюю стра-
 ницу книги Вадима Муратханова. Быть
 может, «узбекские слова» — эвфемизм,
 обозначающий красивый текст?..

Мне нравится такое толкование.

Виктория Лебедева

Вавилон должен быть разрушен

Новая книга Андрея Грицмана на-
 звана по одноименному эссе о Нью-
 Йорке, и выбор названия говорит в
 первую очередь о том, что по основно-
 му роду литературных занятий автор
 действительно поэт, поскольку явно
 тут сделана уступка более звучному
 против более точного: гораздо честнее
 было бы назвать сборник по имени
 другого эссе, «Поэт в межкультурном
 пространстве». Собственно, эта тема и
 является в сборнике центральной.

Какую главную для себя мысль пы-
 тается донести Андрей Грицман до чи-
 тателя? Прежде всего, что глобализа-

ция — это нестрашно. По крайней мере
 глобализация литературная. По Гриц-
 ману глобализация не только не вредит
 развитию современной литературы, но
 обогащает ее. Многократно в сборнике
 проговаривается мысль о том, что род-
 ным языком для поэта является в пер-
 вую очередь язык его внутреннего по-
 этического мира, а уж только потом
 все остальные, на каких он думает и
 говорит. Оттого государственные и язы-
 ковые границы сразу теряют всю свою
 важность. Писать на неродном языке —
 это ни в коем случае не измена родно-
 му, для автора «важно то, что язык
 поэтического произведения должен
 соответствовать обстоятельствам, ок-
 ружающим поэта, пейзажу, данному
 периоду его жизни». Каждая отдельная

Андрей Грицман. «Поэт и город»: Эссе
 и рассказы, интервью и рецензии. — М.:
 Время, 2014.

ситуация, каждый информационный повод для стихотворения диктует поэту, на каком языке будет написано стихотворение, не наоборот. И каждый поэт, когда начинает писать на неродном языке, обогащает его — при условии, что он действительно поэт. «Поэт-иностранец неминуемо привносит интонации родного языка в свой поэтический английский — на нем лежат тени метафор из потустороннего мира другой культуры», — пишет Андрей Грицман.

По сути, поэтическому миру не нужны никакие границы. Напротив, нужны такие литературные фигуры, уровня Бродского и Набокова, которые сгладили бы их, а авторы становились бы гражданами мира и их произведения — общекультурным достоянием, равно доступным как англоязычному, так и русскоязычному, и всем другим мирам. Пространство между разными литературными мирами — вовсе не черная дыра, поглощающая всё и вся, оно обязательно должно быть заполнено. И, возможно, именно авторы, живущие и работающие вне родины, эмигрировавшие и попавшие в иную языковую среду, способны это пространство заполнить.

Сама структура сборника говорит о том, что автор не приемлет четкого разделения — даже когда речь идет о литературных жанрах. В этой книге найдется всё: стихи, переводы, эссе, короткая проза, интервью, стенограммы круглых столов и даже, в последнем разделе, рецензии не Андрея Грицмана, а на Андрея Гримана, принадлежащие другим авторам.

Короткая проза, внешне не выходя за пределы прозаической формы, вдруг приобретает ритм и рифму, как в рассказе «Ветер в долине»: «Вот он и говорит: мать, говорит, bullshit! На эмигрантской фене ботает невзначай. Тут Тахана заветная заведомо не мер-

казит. Из Форта Ли доносится запах крепкого индийского чая. Где я не жил только: везде и нигде, нигде. Выдох летит навстречу Всевышнему в никуда. Только одна надежда, что кто-нибудь в бороде смотрит в прицел оптический на дальние города». Рассказ «Лепрозорий», помещенный автором в раздел короткой прозы, на три четверти состоит из стихов. От прозы тут небольшое вводное слово вначале. Но если прочесть его вслух, а точно ли и эта четверть — проза? Послушайте: «Так живут прокаженные: варится суп, капуста из соседней деревни, крепкий запах в сениях застоявшейся жизни. Осень стоит над Загорском, синяя осень в прожилках зимы. Листва улеглась, но жива донной жизнью существ, не способных вернуться и ждущих морозов». Тоже, выходит, не совсем проза. И, может, даже меньше проза, чем нижеследующие «Отрывки из писем», «Поезд № 1» и «Улица». Для сравнения — последняя строфа из «Поезда № 1»:

В этих полях я — один из них, и, хотя
полоса отчуждения
черна, опалены тысячью летящих окон,
бликами судеб,
там, далеко за ней, ты ждешь меня,
сидя рядом со мной,
в пустом трамвае, идущем к вокзалу,
к ларькам, киоскам
и к статуе с протянутой рукой,
встречающей уже невидимые
поезда дальнего следования.

Где тут граница? А нет никакой границы.

Вот и эссе неожиданно становится прозой и наоборот, внутри публицистических текстов вдруг начинают звучать стихи — не как цитата и не как иллюстрация основной мысли, а на полных правах. На стихи автор переходит, когда обычные слова кончаются и его переполняют эмоции, как в эссе «Последняя Атлантида. Конец Нового Орлеана», которое заканчивается не-

большой подборкой стихотворений. Казалось бы — эти слова можно записать не в строфу, они не зарифмованы и не ритмизованы так очевидно, как приведенный выше прозаический отрывок, но нет — не в строфу записать никак не получается:

...Смотри, всего-навсего через год
всё, что приходит на ум:
дамбы, плавни, болотные потолки,
сухие очереди АК-47, пронизывающие
осязаемый, влажный ночной воздух,
изувеченные трупы элегантного
блистающего сталью прилавка «Starbucks»
с вырванной повисшей кассой
и разбитыми витринами.

И в каждом разделе, в каждом жанре, почти в каждом тексте автор упорно, как некогда Катон Старший в

сенате говорил «Карфаген должен быть разрушен», призывает к тому, чтобы поэты, пишущие на нескольких языках, не боялись своего инородства и не ощущали за собой вины за уход от языка, данного при рождении. Чтобы не чувствовали себя аутсайдерами. Возможно, язык поэзии — это и есть тот общий и каждому понятный праязык, который был утрачен.

Неважно, с «акцентом» ли написаны стихи, на родине или за ее пределами, на родном ли или на одном из выученных позднее языков — главное, чтобы это действительно была поэзия. Ведь «для поэзии это существование как бы «над культурой или языком» особенно актуально».

Лев Аннинский

Свет и семя

С его уходом, кажется, ушла эпоха, общим духом всесветлости осеменявшая нас. В его имени — Светлан — нас окликала Болгария, в фамилии — Семенов — откликалась Украина; самые яркие десятилетия его жизни прошли в Эстонии, его «очаровал эстонский язык», в его передаче доносилась

до русских людей неповторимая мелодия «эстики», а эстонцы ощущали масштаб бескрайней русской души; в нем жила какая-то врожденная контактность, просветление через общение, естественная человеческая солидарность; она, эта солидарность, противостояла остервенению: в советскую эпоху — тупости идеологического официоза, в эпоху распадов — националистической агрессии; режимы менялись — душа оставалась, стихи оставались, спокойное достоинство оставалось, свет

Светлан Семенов. Самостояние: К 75-летию со дня рождения. // Библиотека журнала «Таллинн», № 24. — Таллин: Изд-во «Aleksandra», 2013.

единства брезжил, сопротивлялся сумеркам, жил...

С его уходом эпоха словно канула в тень прошлого, отошла, завершилась.

Через семь лет после его кончины таллинское издательство «Aleksandra» выпустило книгу его текстов «Самостояние». Название книги — это девиз, пароль бытия, залог духовной устойчивости, ориентир света во тьме перемен.

Книга составлена неутомимой Нэлли Абашиной-Мельц и включает три больших раздела. «Поэт, переводчик» (Светлан Семененко признан как проникновенный поэт и великий переводчик); «Литератор, критик» (автор ярких статей в эстонских русскоязычных изданиях, который «от удачной статьи в газете или от информационного материала, вывешенного в Интернете, получал не меньшее удовлетворение, чем от хорошо написанного стихотворения»), и наконец, — «Журналист» (активный сотрудник таллинских газет и журналов в пору, когда над газетами и журналами нависали угрозы то слева, то справа в зависимости от смены властей).

Начну с того, как уживаются в одном человеке поэт и переводчик.

Уживаются — не без драматизма.

Установка Светлана-переводчика ясна и непротиворечива: переводить надо только то, к чему лежит душа. Тот, кто видит в переводческом деле лишь технологию, — пусть обогащает своими работами филологические архивы и справочники. Светлан переводит только то, что признает родным.

Попробуем это почувствовать.

Вот два перевода одной строфы из Хенрика Виснапуу. Стихи известные, когда-то их перевел Игорь Северянин, в 1974 году Роберт Винонен перевел заново, а полтора десятка лет спустя — опять же заново — Александр Левин. Сравним.

Перевод Винонена, 1974 год:

Навсегда я молод, навсегда хмельён,
Ты — мой вечный голод,
Ты — моё вино.
Сдвинем наши чаши и увидим дно!
Вкус вина мне люб,
Но я жажду губ.

Перевод Левина, 1990 год:

Мне судьбой дано юным быть всегда,
и голодным быть,
и хмелеть легко.
Мы вином нальём кубки до полна:
лишь одно любить
я хочу вино!

Какой лучше?

На мой непросвещенный взгляд, лучше — первый. У Левина все глаже, классичнее, традиционнее. У Винонена легче, острее, озорнее... ну, в общем, современнее.

Спрашивается: какой перевод вернее?

А на этот вопрос не будет однозначного ответа. Дело даже не в том, что именно переводчик вносит от себя — это тоже непредсказуемо. Дело в том, что ищет в оригинале меняющаяся эпоха. Вот это и диктует она переводчику. Меняется время, и из стиха извлекается иное, чем прежде. Более того: в настоящий стих и автор талантом забрасывает — кроме внятной мысли и ясного чувства — еще бездну нюансов, в которых и сам он не всегда волен. Его оригинал станет отсвечивать новыми гранями в зависимости от того, что захотят увидеть в нем новые читатели. Этому спросу и отвечает перевод, великая поэзия переводится в принципе бесчисленное число раз, — она вечна!

Новый переводчик ищет ответа на новый спрос... Где ищет? В своей душе! И в незатихающем гуле времени.

Светлан Семененко хорошо слышит этот гул. И даже пытается в своих стихах от него защититься... или им овладеть... или и то, и другое разом.

Больше того, само сопряжение разнонаправленных тенденций приковывает его внимание, само двоение реальности завораживает. Анализируя работу Михаила Лотмана «Мандельштам и Пастернак», он видит в «несовместимости» двух этих поэтических миров мистически неотменяемую истину культуры: за исключением Пушкина, единолично царившего в русской поэзии, наша ситуация всегда держалась на противопоставлении «двух ключевых фигур (Ломоносов — Тредиаковский, Карамзин — Шишков, Толстой — Достоевский и т.п.)». Я бы добавил сюда пару: Маяковский — Есенин: в наше время Светлан мог бы выстроить в пару Бродского и Кузнецова. Но дело не только в конкретных фигурах, а в неотступной приверженности Семенову сопоставлению полюсов в каждую эпоху, то есть в том, как мир распадается в его сознании на взаимоисключающие пары.

Такая дихотомия определяет и его собственный выбор стиля. «Задумано два поэтических сборника... — один в обычном, классическом духе, а второй — неординарный, в гротескном, несколько даже кичевом компьютерном оформлении, которое должно будет соответствовать и внутреннему содержанию — раскрепощенному, включающему элементы пародии, трепа, стеба и тому подобного...»

Этот второй стилистический вариант — дань новейшей ситуации. Раскрепощение! Игра ролей! Смена масок! Свобода самовыражения!

Про свободу, между прочим, сказано: «Люди, ее получившие, не знают, что с ней делать».

Противостоять этому «гротеску» можно только — храня верность «обычному классическому духу».

Секрет поэтической энергетики Семенову в непрерывном переглядывании общеупотребительного «гротеска»

(постигаемого от ума) и потаенной глупины «самостояния» (заложенного в душу).

Вот как оценивают это *самостояние* проницательные русские критики.

Ирина Роднянская: «Разорванность фрагментов состоит именно в том, что смысл обретается где-то за пределами вещи».

Александр Зорин: «Поэзия... как бы не сфокусирована, вся она в размытом спектре блуждающего экспрессионизма... При настроенческой смутности целого — чистота и изящество деталей... Потребность внутренней свободы расковывает поэта. Стихи напоминают прерывистую, усложненную, но искреннюю речь, суть которой заключена не в выводе, а в самой речи, в самом потоке, в паузах, догадках, намеках».

Чужое впитывается в свое. Свое и чужое охвачены общим светом. Не сливаясь. И не распадаясь.

Вот два полюса этого сдвоенного мироощущения — в стихах двух любимых эстонских лириков, переведенных Светланом и приведенных им в паре:

Матс Траат

Самое лучшее время

Самое лучшее время с утра до полудня
когда тени все укорачиваются
а солнцу все шире обзор...

Логично. Ясно. Однозначно.

Пауль-Ээрик Руммо

Утешение

...Закат щедрей, чем восход.
Многое мимо пройдет.
Ночи останутся с нами.
Их черно-белая суть
верней до сознания дойдет.

Нелогично? Неясно? Неоднозначно?
Да, да, да! И все-таки эта разорван-

ность, эта кажущаяся прихотливость, эта смутность намеков — интереснее мне, чем самое-самое ожидаемое солнечно-утреннее время.

Потому что это самое время — трагически неоднозначно, и Светлан это чувствует. Где-то он вскользь бросает фразу: об «особой прелести тоталитарной эпохи»... По логике я эту прелесть принять не решаюсь. Принимаю — по нелогичности, оставляющей человеку выбор: поплыть по течению, подчиниться, раствориться в железной колонне или сумасбродной тусовке — это уж кому что достанется: кому тусовка, кому отсидка... Хармса, например, «эта кровожадная система уничтожила», а с «Галичем, ставши уже менее кровожадной, она поступила куда более милостиво — она лишь пожевала его и выплюнула, то есть вынудила эмигрировать (в конце июня 1974 года)».

Ну, и где точка спасения между этими полюсами, этими жерновами, этими исчадьями эпох?

Нет точки. Есть течение жизни, в которой эти точки меняются, чередуются, перехватывают маски. Как уследить? Как успеть поставить «нота бене»?

А вот как:

Nota bene

Тошно видеть дервиша.
Лучше встретить дауна.
Дервиш ходит в рубище.
Down — в чистом платище.

С таким чувством юмора можно задавать истории вопросы, не ожидая немедленных ответов. Например, вопрос: обрусеть или обэстониться должны были «полуверцы» из народа сету, населявшего Причудье при появлении там русских? Здравый ответ: ни то, ни другое! Ничего не надо делать срочно и насильственно, а надо ждать, пока люди сами решат, кто они. Но это вопрос двухвековой давности. Труднее, когда

проблема такого же плана встает сегодня: должна ли власть независимой Эстонии немедленно закрывать русские школы? Поэт мог бы и отшутиться, но Светлан должен обсуждать эту тему уже как журналист...

Где взять опыт?

Юхан Вийдинг в «Потрясении» делится опытом:

«Гулял.

Когда? В январе 1995 года.

Где? В центре Таллина... Увидел на каменной стене предвыборную листовку, на которой значилось: "Эстония — для эстонцев". Вздрыгнул, замер на месте, уставившись в одну точку, и почувствовал, что теряю сознание, или равновесие, или и то и другое вместе...»

Вот и сохраняй САМОСТОЯНИЕ в таком положении...

Взаимодействие наций приобретает в наши дни оттенок опасности. Чувствуя это, Светлан избегает, например, рассуждений о национальном характере эстонцев (хотя иногда это так и просится: «еврейский юмор — не только еврейский, он обязательно еще чей-то: русский, польский, литовский, грузинский, испанский, американский (если он есть) и т.д.». Вместо сомнительного американского тут несомненно ждешь эстонского... а его нет. Полвека пропуская через душу «эстику», Светлан так и не решается порассуждать о «рациональном крестьянском мышлении» эстонцев — а примечательный вышел бы диалог с иррациональным, всеотзывчивым мышлением русских...

Почва для диалога уходит из-под ног вместе с «оккупационным режимом», и не вдругобразишь, что идет ему на смену. «Раньше был диктат власти предрежащих, хозяев процесса, а теперь чей?» — «Тут дело в том... кем ты сам считаешь себя — хозяином своего времени или его жертвой».

Но как стать «хозяином», если это понятие кренится: старая номенклатура исчезла, новые власти «знать не знают, что такое номенклатура, а между тем уже возникла новая». А от нее куда деваться? Как спасти эстонцев от тисков нового режима, если спасать надо их не столько от режима, сколько «от самих себя»? Как и русских. А если спасется индивид в своем независимом существовании (где он мало кому нужен), то как спасется поэт, если «личная судьба поэта воспринимается непременно в контексте неизмеримо более широком, в контексте судьбы страны, народа»?

С судьбой страны как-то еще можно примириться. Тем более такому записному западнику, как Светлан Семенов. Про Эстонию понятно. Но Россия?..

«Сможет ли Россия (и если сможет, то когда) интегрироваться в свободный мир, в европейское (и мировое) пространство? — вопрошает Светлан. — Лишь при этом условии советские 60-е годы утратят свои рудименты в нынешнем обществе и станут наконец предметом истории».

Мне бы ваши заботы, господин учитель... Да можно ли представить себе, что будет твориться дальше в «европейском (и мировом) пространстве», если геополитическая ситуация в этом самом пространстве непредсказуемо меняется? И что делать с этим непредсказуемым пространством, если ты с замиранием сердца следишь за тем, что в Москве отчебучит «путч», а для остального мира этот «путч» не значит ровно ничего?

Андрес Лангеметс трактует этот вопрос куда решительнее, чем Светлан Семенов, который его цитирует:

«Эстония с восстановлением независимости обрела в лице Европы и всего остального мира что-то вроде паровоза, к которому можно прицепить конец и свою захудалую теплушку...»

Чтобы примириться с масштабами захудалой теплушки, надо искоренить из сознания масштабы «шестой части суши» — после распада Советской державы. И обрести уют на развалинах:

И семейный обрести уют
там, где сеют, жнут, баклуши бьют,
благовестом к службе созывают,
где воспримут вас и обвенчают,
а потом и славно отпоют.

Отпевание — горькая музыка. Под нее Светлан прощается с уходящей эпохой:

Музыка! Какая благодать!
Разве что приходится решать,
нынче слушать реквием или после,
между дел или уже в гробу.
Это вы заранее решайте.
А не выйдет — на себя пеняйте.
Не на гороскоп. Не на судьбу.

От судьбы не уйдешь. Но до последних мгновений все надеешься, что судьба обернется и вернет бытию утешающий в небытие смысл.

За считанные дни до смерти Светлан Семенов записывает:

«На фоне развившегося общественного катаклизма определенная часть эстонского общества, не только гуманитарии, решительно повернулась лицом к русским... выразила готовность **ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ** искать выход из кризиса, намечать новые пути, изобретать новые методы...»

Будет ли подхвачено семя, найдет ли благодатную почву, подыметесь ли?

Да. Но при одном условии.

Это условие — свет.

Елена Мовчан

Изысканность и простота

В одном из последних интервью (а может быть, в самом последнем — ноябрь 2010 года), «Соло на два голоса», отвечая на вопрос своей собеседницы, не мешает ли ей ее максимализм, Анаит Баяндур сказала: «Мой максимализм — это завышенная планка, требовательность... Мне нравится изысканность в людях, изысканность и простота». Эти два качества были присущи прежде всего ей самой. Я не встречала в жизни более необычного, неординарного и при этом абсолютно естественного создания, в котором сочетались вроде бы несоединимые свойства: мягкость и решительность, принципиальность, порой доходившая до резкости (этот самый максимализм), и терпимость вплоть до компромисса, женственная хрупкость и мужественная храбрость, реалистический подход к жизненным ситуациям и романтическое мировосприятие. И ко всему этому она обладала безупречным вкусом, тонким художественным чутьем, чувством прекрасного и чувством стиля, выражавшимся и в ее общении с людьми, и в ее безукоризненных переводах, и в самом ее внешнем облике.

Неудивительно, что книга, выпущенная в память о ней, несет в себе мощный заряд доброй энергии. Составленная сыном Анаит Арегом Баяндуром и его женой Шушан Торосян, она представила Анаит в двух ее ипос-

таях: как литератора и как общественного деятеля. Книга триязычна: здесь собраны ее выступления на тех языках, на которых они были опубликованы: русском, армянском, английском. Название «Статьи, интервью, эссе» не отражает полного содержания книги, так как в ней присутствуют также и придающие ей особый блеск рассказы Ованеса Туманяна и Агаси Айвазяна в переводе Анаит, и очаровательные фантастические истории, написанные ее подругой писательницей Розой Хуснутдиновой о семье, и воспоминания об Анаит людей, работавших и друживших с ней.

Но основу книги все-таки составляют выступления, связанные с ее общественной деятельностью, начавшейся в конце 80-х годов прошлого века. В 1990 году Анаит Баяндур была избрана депутатом Парламента Армении первого созыва и стала его представителем в Государственной думе России. В 1992 году она создает Армянский комитет Хельсинкской гражданской Ассамблеи и становится его сопредседателем. И с тех пор ее общественная деятельность не прекращалась до последних дней. Она делала и сделала очень много для предотвращения и устранения конфликтов, налаживания отношений между конфликтующими странами и народами. За заслуги в миротворческой деятельности она была награждена премией международного мемориального фонда Улофа Пальме.

Зная Анаит с двадцатилетнего возраста:

ста, наблюдая на разных этапах ее жизни, я не могла понять ее перехода из привычного мира искусства в мир большой политики. Студентка Литинститута, живая, умная, обаятельная, потом переводчик очень глубокой и очень трудной для перевода прозы Гранта Матевосяна, потом пропагандист армянской литературы и больше того, армянской культуры в России и русской культуры в Армении, — она всегда была в центре литературной и культурной жизни обеих республик. Ее мать, известную поэтессу Маро Маркарян переводили лучшие русские поэты — от Анны Ахматовой до Бориса Слуцкого, и Анаит здесь была — сначала как дочь Маро, потом как прекрасный переводчик и серьезный литератор. Ее отец Серго Баяндур был бессменным главным редактором армянского журнала «Советское искусство», и Анаит росла в мире художников, музыкантов, людей театра. В Москве ее близкими друзьями были Анатолий Эфрос и Олег Ефремов. Ее младший брат Ашот Баяндур был талантливым художником, и в кругу его друзей она чувствовала себя легко и естественно. Она была частью художественного мира двух культур, это была ее питательная среда, и потому таким странным виделся ее уход из этого мира и погружение в мир, казалось бы, принципиально иной. Теперь, прочитав эту книгу, я поняла причину такого кардинального изменения ее жизни.

Причина опять же кроется в характере Анаит. В цитированном выше интервью на вопрос, почему она ушла в политику, Анаит отвечает: «Меня это всегда интересовало». Безусловно, интересовало. Это интересовало нас всех. Живя в отгороженной от мира «железным занавесом» стране, где процветала цензура и существовало множество других запретов, почти вся советская интеллигенция была в той или иной сте-

пени диссидентской. Добавлю, однако, что в Армении общественный климат был несколько мягче, она была более открытой, поскольку в мире существует большая армянская диаспора и ее представители посещали свою историческую родину. Связи с внешним миром семьи Баяндур были еще шире. Стихи Маро переводились на европейские языки, она тоже переводила иностранных поэтов; приезжали в Ереван писатели и художники, и дом был открыт для них. Кроме того, армянская литература, как и литературы других народов СССР, обычно переводилась с русских переводов, так что и сама Анаит как переводчик имела возможность более широкого общения. С одной стороны, это давало ей некоторые привилегии, с другой — было больше возможностей для сравнения, и понятно, что не в нашу пользу. Но она никогда не была близка к диссидентским кругам.

Взрывом, вырвавшим Анаит из привычного мира и совершившим переворот в ее жизни, стали карабахские события. Именно в связи с ними проявились те свойства ее натуры, которые вывели ее на новый путь: острое чувство справедливости, умение находить пути к достижению цели, темперамент и смелость.

Я помню Ереван в разгар событий (она тогда позвала меня, сказав, что именно здесь сейчас вершится история, и это нужно видеть своими глазами). Уже произошли первые столкновения, но еще не было арестовано руководство карабахского движения. Собирался митинг на Театральной площади. Я шла туда одна по улице Баграмяна мимо роскошного здания ЦК КП Армении, мимо Верховного Совета, и во всех переулках и закоулках вдоль этой улицы стояли боевые машины с вооруженными военными. Мы еще жили в Советском Союзе, хорошо по-

мнили Венгрию и Чехословакию, и мне, честно говоря, было страшно. Народу на площади и вокруг собралось очень много. Я стояла на трибуне рядом с Маро и Анаит. Маро выступала, и их бесстрашие рассеивало и мои страхи. В храбрости Анаит мне еще не раз приходилось убеждаться.

Когда комитет «Карабах» был арестован, она бросилась на его спасение, и вот тогда, помимо смелости (это было небезопасно — защищать политических преступников) и доброты (она собирала посылки для заключенных, предоставляла свою небольшую квартирку их родственникам, устраивала им нужные встречи) проявились ее способности общественного деятеля. Она умела привлечь людей к проблеме. У нее это получалось не только благодаря уму и тонкому чутью — пониманию людей, но еще и благодаря личному обаянию. Это необыкновенное обаяние Анаит помогало добиваться результатов и в ее дальнейшей, по сути дипломатической работе. Ее нестандартность привлекала. И нестандартность мышления, и нестандартность выражения мысли, ибо она воплощалась в художественную форму, поскольку Анаит никогда не переставала быть художественной натурой. И в этом мы снова убеждаемся, читая статьи и эссе, опубликованные в книге. Необычность — вплоть до экстравагантности — была и в ее внешнем облике. В ее костюме — даже вполне официальном, для выступления на международной конференции, например, — всегда должна была быть какая-то живая, яркая деталь: особенно нарядная блузка, оригинальное украшение. Она всегда выглядела изысканно, что, между прочим, также способствовало созданию особого имиджа страны, которую она представляла. Она знала это, и это тоже было стимулом в ее новой деятельности: ее Армения

должна была предстать перед миром в самом лучшем виде.

Она всегда стремилась к гармонии, и теперь ее целью стало помочь людям обрести гармонию в дисгармоничном мире. Об этом эссе «Личность и независимость», которое было опубликовано в «Дружбе народов» в 1992 году — в начале ее миротворческой деятельности. В мире, потрясенном межнациональными конфликтами, не может быть гармонии, и война — не способ ее достижения. В этом была твердо убеждена Анаит, об этом говорила во всех выступлениях на всех уровнях и прилагала все свои силы и способности для обеспечения мира хотя бы в одном регионе — на Кавказе. И многого добивалась. Она была общественным деятелем в истинном смысле этого понятия. «Понятие "общественный деятель", — читаем в воспоминаниях подружки и соратницы Анаит Елизаветы Фельдман, — предполагает высокий профессионализм, высокую культуру и интеллект, высокую ответственность за себя и свое окружение... Политик, побуждаемый интересами большой политики, бывает вынужден... сделать шаг вбок, а то и назад, выдвинуть лозунг, от которого, он знает, в дальнейшем откажется. Общественный же деятель, по определению, может позволить себе не изменять внутренней установке и следовать ей в любых обстоятельствах. Именно так поступала Анаит Баяндур».

Все авторы воспоминаний говорят о ней с уважением, с любовью, с восторгом, с нежностью, все пишут о том, как заряжала она своей энергией, как умела убеждать, заражать своей увлеченностью. Об этом пишут люди, которые работали вместе с ней, ее друзья и соратники из Армении и Грузии, из Франции и Голландии, из Азербайджана и Англии. «Мне она представлялась, — вспоминает Роза Хуснутдинова, —

маленькой девочкой с копной кудрявых волос, с ярко-синими глазами, живущей в некой пустынной местности, рядом с пещерой, в которой обитает чудовище. Это чудовище сторожит дорогу, по которой движется нескончаемый поток людей... Чудовище ненавидит людей, старается их погубить. И вот появляется крохотная девочка, зовет его поиграть, она прыгает, смеется, танцует перед ним, кричит: "Поймай меня!", "Догони меня!", загадывает загадки, которые чудовище не может отгадать. В конце концов девочка обводит чудовище вокруг пальца, и оно на время забывает о дороге...»

Это все о ней. И маленькая девочка, вышедшая на борьбу со вселенским злом, пытающаяся заговорить его, и трезвый политик, обладающий интеллектом, профессионализмом и высокой культурой, — это она, Анаит Баян-

дур. Эта книга, в которой она и автор, и героиня, ей бы наверняка понравилась, потому что в ней есть то, что она так ценила: изысканность и простота. На обложке сверху автограф «Анаит Баяндур» — ее четкий, красивый почерк. Под ним фотография — необыкновенное растение: трилистник с тонкими прожилками, похожий на серебряное кольцо, которое она всегда носила. Пять разделов книги отделяют друг от друга графические работы Ашота Баяндур, женские образы которого напоминают ее образ. И наконец, вклейка с фотографиями, на которых Анаит с ее старыми и новыми друзьями, с ее любимыми авторами Грантом Матевосяном и Агаси Айвазяном, Анаит с ее лукавой улыбкой, с живыми искорками в глазах. И что интересно: рядом с ней все улыбаются.

Горячий мир

Рубрику ведет Лев Аннинский

Представляя читателям составленный им новый литературный альманах «Золотое руно», главный редактор Леонид Подольский о древнегреческом имени не вспоминает. И я его понимаю. Попробуй переварить эдакое допотопное чудище! Полсотни героев, все с амбициями; переклест походов и сражений; подвиги убийц и предателей; покалеченные души, изрубленные на куски тела... И все из-за денег! Золотое руно — шкура дорогостоящего барана.

К счастью, в нашей российской ситуации век назад эта шкура была оценена заново: перед Первой мировой войной несколько лет выходил в Москве ежемесячник «Золотое руно». Может, и не полсотни амбициозных участников, но от Блока и Брюсова до Мережковского и Балтрушайтиса состав авторов впечатляет. Впечатляет и цель: внести в жизнь светлое начало, столь необходимое в тревожную эпоху.

Нынешнее «Золотое руно» подхватывает цель: должен звучать голос правды и красоты! И еще задача: собирать под одной обложкой литераторов, пишущих на русском языке, где бы они ни жили.

Четыреста с лишним страниц (поэзия, проза, критика, эссе, хроника). Полсотни авторов! Я думаю, что альманах хорошо составлен и будет читаться, но углублять эту сторону дела не могу — по соображениям щепетильности: в альманахе нашлось место и для меня.

А сосредоточусь я — на прозе, конкретно — на прозе Подольского, опубликовавшего в своем журнале два рассказа и повесть. Чтобы оценки мои не показались читателям данью личной благодарности главному редактору, скажу сразу, что если повесть я принимаю всецело, то рассказы — не без внутреннего сопротивления. И объясню почему.

Первый рассказ рисует нам Перестройку. Герой рассказа, бывший фарцовщик, становится олигархом, потом коллекционером полотен и галеристом. То есть благодетелем художников. И вот он заказывает свой портрет такому странному художнику — блаженному бомжу, который денег за свои работы не берет, а славится тем, что видит грешников насквозь. В результате общения (портрет олигарха чернеет или светлеет в зависимости от греховности его мыслей) этот богачей воистину раскаивается, после чего блаженный живописец вслед на Христом возносится на небеса. Как и полагается в эпоху веры, сменившей диктатуру «дурачков-большевичков» — их так называет герой,

возвратившийся к вере и отныне посвященный в таинства. «Посвященный» — название рассказа.

Другой рассказ из этого блаженного опаматования переносит нас в самую дурацкую пору большевистской диктатуры и называется «Пленум ЦК». Герой рассказа, профессор (с детства наслушавшийся родительских разговоров) советскую власть недолюбливает. Однако делает при этой власти ученую карьеру (пробует даже свалить за границу, но там не находит работы). Сюжет выстроен на том, что герой вспоминает свои школьные годы, совпавшие с безумствами партии, клявшейся перестроить сельское хозяйство и догнать Америку по мясу, молоку и маслу... Теперь-то глупость тех планов очевидна, а тогда — и слова нельзя было сказать поперек: тотальная лож царила сверху донизу. Оголтелая учительница по прозвищу Большевичка так же верила в эту околесицу, как и главный ее творец, Хрущев, вроде разоблачавший Сталина, но сам не понимавший, какой он сталинист. Те дела уже подзабыты, их приходится объяснять, (что Подольский щедро делает в сносках: «ленинградское» дело, «дело врачей» и прочие дела), но мерзость миновавшей эпохи видна и без сносок, а проклинаясь она так яростно и артистично, как это и бывает принято, когда она официально схоронена.

Понятно ли, почему моя душа сопротивляется этим рассказам? И тому, где дотапывается советская эпоха, и тому, где превозносится эпоха, ее сменившая. Потому что и там, и тут Подольский пишет так, как ожидается, как принято, как должны думать «все». В одном случае всем хочется взлететь. В другом случае — хочется найти виноватых. Я этого типа солидарности со «всеми» принять не могу. Как не могу разделить в моем народе неисправимых большевиков и одолевших их антисоветчиков. Понять, что с нами произошло (и происходит, и наверное будет происходить) можно только если взаимно-непримиримые оголтелости осознать в их общем истоке. В единстве общей судьбы. Горькой, неизбывной, фатальной.

Попытка осознать эти наши душевные края в их неразрывности как раз и предпринята Леонидом Подольским в повести «Судьба».

Поэтому я ее приемлю.

Хотя связать сколько-нибудь логично черное с белым... или красное с белым, или белое с чем-то по-другому белым — по здравому смыслу невозможно.

Мелодия такой невозможности заявлена с первых страниц и выдерживается до последних строк. Полет и падение неразличимы. Вроде бы по прежней (из первого рассказа) схеме герой возносится в небеса и парит в облаках, но во сне это или наяву — не понимает. Меж тем душа его вязнет в черных воспоминаниях, почти таких же, как в том, втором рассказе, где мордовала учеников училка-большевичка. В повести рвут душу новые комсомольские заправилы, уже не сталинских, а послесталинских лет. То ли герой верит в эту их власть, то ли эту власть ненавидит, то ли удастся после школы поступить в военное училище, то ли нет: испортит школа характеристику... За что? Крестик надел. Потом снял — при всех, на комсомольском собрании, снял и бросил на пол — не помогло. Не дали учиться дальше — уехали в Афган.

Этот Афган неистребимый — интонационный эпиграф к повести. Призывают — солдат, готовят — убийц. Рефлекс убийцы — на всю жизнь. После очередной кровавой драки — зона. А в зоне все то же: не разберешь, где правые, где виноватые. Колонии для ментов и колонии для бандитов — врозь. Бандиты

догнивают среди туберкулезного сброда — менты почивают на нарах, ожидая скорого конца срока, охрана перед ними навьтяжку: не ровен час — завтра поменяется с ними местами. Получается, что в зоне — та же партноменклатура, что на воле. И тот же коммунизм строят, только... в робах.

И в Афгане наши интернационалисты коммунизм внедряют. «Коммунизм в парандже». Подольский расшифровывает ситуацию так: герой «сеет славянское пьяное семя в пуштунских дикарок», и остается в его памяти вой изнасилованной «дикарки» — «крик Востока — дикий, протяжный, непрерывный... как никогда не кричат русские женщины».

А русские женщины? Эти не знают, кричать ли им с горя от счастья: семья есть, живет муж с женой, а на стороне трахает кого попало... «Секса нет... Одна грязь». И любви нет. Вернее, есть, но любовь эта неотличима от ненависти. Чем больше жена мужу изменяет, тем больше муж ее любит. И, соответственно, ненавидит.

Эта адава смесь — что-то новое в понимании облика героя, неслыханное ни в советской, ни в русской классической словесности. То ли летит душа к свету, то ли штопорится в темень. Адская смесь. Жить не хочется, но и умирать вроде тоже. «Случайно появился человек на земле и живет случайно, без цели». А смысл? А «если смысл в том, что нет никакого смысла?»

Как, а разве на Куликовом поле сражаться — не было смысла? Однако вслушайтесь в мелодику слов, которая у Подольского окрашивает смысл: пращур героя, из крестьян, «бьется на поле русской славы вместе с господином...» А потомки его у потомков того *господина* оказываются *крепостными*... И что же дальше? От Смуты к Смуте — через бунты и диктатуры? «Эх, Русь, что случилось с тобой?.. Не разбилась ли ты о Двадцатый век?»

Интереснейший вариант того, как разбивается родное и склеивается разбитое: дед героя, заброшенный судьбой в Канаду, устраивается там работать у хозяев-украинцев. «Братья-славяне оказались "западнцы", с Волыни, униаты, не сильно любившие москалей... но деда Ивана приветили — земля его любила и скот...» Написано это Подольским до Майданских оргий, и как точно! Сколь ни топчи в душе москалей — переменись историческая ситуация — и опять родными спознаются! И такое возможно?! А как рок велит. Как судьба ляжет. Опять адская смесь.

И смерть подстерегает человека — не по черной или белой метке (красной там или белой, как убеждены были люди, убивавшие друг друга), а по темной метке судьбы. И никто не умирает внятной смертью, а гибнет «в какой-нибудь драке или аварии», или еще так: «задрали человека медведи, или он банально замерз». Или свалился с лесов, или изувечен циркулярной пилой — и «затерялся в краю вечной мерзлоты»...

А уж Отечественная война — это гибель, лиц не различающая. Как и плен. Выжил человек в лагере немецком — получил срок в лагере советском. За что? За то, что *не умер там*. Потрясающая формулировка. «Русский апокалипсис идет за человеком по следу»... И следит за ним, испытывая: «дошел ли?»

Вот и пойми, чего хочет судьба, когда тасует черное и белое. И чего хочет Русь, когда зовет к подвигу, который человек готов совершить. Или толкает к покаянию в предательстве, которого человек не совершал. Тогда он должен прятаться, как враг. И «должен лгать, если Родина требует от него лжи!»

Адская лотерея лжи и правды пронзительно переосмысливается в эпизоде

комсомольского собрания, которое интересно сравнить с собранием времен «пленумов». В те времена оголтелая учительница (та самая — Большевичка) чуть не расстрелом грозит тем, кто посмеет высказаться против решений партии; расстрелом все ей и обернулось: муж, деятель районного масштаба, застрелился, да и сама Большевичка, оставив школу, то ли застрелилась, то ли неслышно состарилась в какой-то ветеранской богадельне. Все-таки кое-что переменялось с той поры. Учительница из повести «Судьба» родилась слишком поздно, чтобы бить раскулаченных, но от того же унаследованного страха «разоблачала Ахматову с Зощенко, безродных космополитов и врачей-вредителей, позже — Пастернака и Даниэля с Синявским», — знала что так надо, раз «велит партия». На сей раз обсуждают проступок ученика, который надел крестик и явился с ним в школу. И хотя на собрании крестик он срывает и бросает на пол (в чем много лет спустя покается, уже возносясь на небо), оголтелые обвинители требуют исключения из комсомола, а это уже ставит крест и на учебе, и на дальнейшей карьере. Так что же учительница? Яростно отчитав ученика, она призывает... объявить ему выговор... с занесением в учетную карточку!

Учетная карточка... это же спасение.

Что происходит дальше? Собравшиеся громко требуют исключения! Идеи-ные разоблачители орут громче всех, и все вроде бы с ними согласны... Но когда происходит подсчет голосов, выясняется, что подавляющее большинство проголосовало — за... выговор!

Спасли грешника!

Вот теперешняя загадка: идеологи орут непримиримо справа и слева (да-да, уже можно орать с обеих сторон), люди слушают, не спорят и тихо делают не то, о чем орут идеологи. Что это: притворство? Тайное сочувствие? Кто в зале? Приспособленцы, лгуны себе и другим? Циники, готовые на все, только бы выжить?

Нет! Это люди, понимающие, что если большинство (страна, народ!) ходом вещей и велением рока обречены на какое-то общее дело, — вываливаться из этого сплотившегося большинства бессмысленно. То есть смерти подобно. Приходится в этом общем действе участвовать. Гася при этом оголтелые крайности. Но отвечая — по горькой неотвратимости — тому, что в этой ситуации требует рок. Русь. Родина. Судьба.

Вот какие теперь времена. И какие люди. Не спорят, но и не дают перегрызть горло...

А может тут так получается: с волками жить — по-волчьи выть?

Все-таки нет. В смертельные моменты — да, приходится. И выть тоже. Когда с обоих краев звереют волки. А потом этих волков зажимает народ в тиски. Тот же народ.

«Вот он, народ! — признается Подольский. — Народ — это стая. А стая слушается вожakov. Разорвет, не пожалеет».

Может, разорвет. Может, пожалеет. Несчастного, который надел крестик, а потом сбросил, — пожалеет. А вот волков, скинутых со своих постов при очередной смене власти, — не пожалеет! Потому что в круговой коловерти истории судьба грозит повернуться и так и эдак. И отвечать будет тот, кто громче всех орал и яростнее всех грыз чужие глотки.

Но ведь и там бывает искренность и убежденность. Где теперь это все? Где светлые дали, о которых вожаки верещали, вещали и орали справа, слева? Где облака, в которые от их воплей так хотелось вознестись?

Тут Подольский делает финальный стилистический ход, от которого я — если и не возношусь, то подпрыгиваю от восторга.

Финальная фраза повести:

«Вокруг были облака. Белые, пушистые».

Пушистые?! Люди, знающие современный тусовочный жаргон, поймут, почему при этом слове я пришел в восторг. Белое еще надо постичь, чтобы пережить. Дело ведь не в тех или иных стилистических находках. Дело в том, что у Подольского осваивается, исследуется, взвешивается совершенно новый тип поведения среднего человека. Не идеального и не оголтелого — нормального.

Имея в опыте такой вариант душевной ориентации, можно попытаться осмыслить целое — объять все то, что с нами происходит, эпическим дыханием.

Тут уж судьбой одного-двух героев не обойдешься. Нужно удержать в сознании огромное количество фактов современной прихотливо текущей истории... замершей перед непредсказуемым скачком?.. И прошлой истории, уже проехавшейся по нашим душам. Подольский такие факты держит на прицеле и иногда в сносах опять растолковывает их читателям. Чем РПЦ отличалось от ИПЦ, кто такой старец Амвросий и откуда берутся мораны. Это — в дополнение к «делу Сланского» и прочим делам эпохи «врачей-убийц». А сколько всего копится в нынешней современности, которая никуда не ушла... Один перечень чего стоит!

«...Лучший в мире министр обороны... С такой армией мы и воевали в Чечне. Солдатиков не жалко — было. Пьяный министр без рекогносцировки послал на тот свет целую бригаду. И что? Как с гуся вода. Паша-мерседес... С Дудаевым можно было договориться. Не захотели. Ельцин держал фасон. Норов показывал. Наша власть как пьяный в кураже. Бьет себя в грудь: "Ты меня уважаешь?" Мы — великие, у нас атомная бомба... Билл Клинтон... "забылся на минуточку..." А на самом деле — мурло. В том-то вся проблема, что — мурло. От них и народ обмурлился. Я иногда смотрю на народ и думаю: "А ведь такому народу и вправду нужен партком. А еще лучше — Сталин". Хотели осчастливить весь мир, а сами... сколько гадостей делали друг другу. Взять хоть Чеченскую войну. Чисто коммерческий проект. То Шапошников отдает оружие, то Грачев... Против себя вооружали. А Гайдар распорядился перекачать в Грозный двадцать миллионов тонн нефти на миллиард долларов. Хоть убейте, не поверю, что все делалось просто так, из одной дурости... А чеченские авизо... Подельники сидели в высоких московских особняках. В очень высоких. Первичное накопление... Потом, прямо во время войны, начали восстанавливать Чечню. Утром строили, вечером бомбили. Концы в воду, а деньги по карманам. Одним — смерть, было, другим — праздник. Внаглую».

Знаете, откуда этот перечень? Из новогоромана Подольского «Инвестком» — глава опубликована только что в альманахе «Муза»...

Кто-то ведь освоит бездну фактов, в обвале которых мы живем. Кто-то перейдет эту бездну. Кто-то напишет эпос, где будут осмыслены холодная война и горячий мир рубежа Двадцатого и Двадцать первого веков.

И увидит смысл в нашей судьбе.

Не исключено, что это сделает Леонид Подольский.

Summary

Our Golden Pages

Alexander Revitch had been publishing his translations in «DN» from 1959 and his own poems — from 1984, always preferring to be the author of our magazine. Republished here is a selection of his works.

Vitalij Semin's novel «The Breastplate OST» is reread by Evgenij Ermolin.

Andrej Zhitinkin. A Short Novel Composed of Tedious Passages

This novel by the well-known theater producer is composed out of «tedious passages» indeed. One of them immediately strikes the eye: if the surname of the author — Zhitinkin — consists of 9 letters, the surname of the protagonist — Zhitinskij — contains 10. The other «tedious passages» are derivatives of the main one. But on the second thought what is the life of a producer if not the multiplication of «tedious passages» both in the life and on the stage? And what is the stage if not an extract from the «tedious passages»?

Poetry

First at our pages — some fragments of Ravil Bukharaev's historical poem «The Shadow of Tamerlan» written by the author at the age of 21.

We go on publishing English poetry: in this issue — D. H. Lawrence in the translations of Andrej Pustogarov.

Poems of the winners of «The Third Baltic Open Championship of Russian Poetry 2014» and the new poems of Natalya Mamlina will hopefully also be interesting for our readers.

Andrej Stolyarov. The Hero of our Time

Every time puts in the forefront its own ideal of the hero. What the nowadays ideal is like? The author of the article comes to the conclusion that the traditional-type consciousness is now gaining a foothold in Russia: the idea of the military powerful state which is being consolidated through geopolitical expansion.

Alexei Malashenko. The Runway Lights of Airdromes

The notable, peculiar only of this place, this people, this country can be «spied» everywhere: in the street crowd, in an office, restaurant or stadium. Alexei Malashenko who thank to his work and scientific activities happened to flight all over the world has gathered a collection of airports' peculiarities and shares his amusing memoirs with the readers.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

[дружбанародов.com](http://druzhbanarodov.com)

на его странице в Живом журнале

<http://drujba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале

<http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

<https://itunes.apple.com/ru/app/druzhba-narodov/id893172883?mt=8>

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»